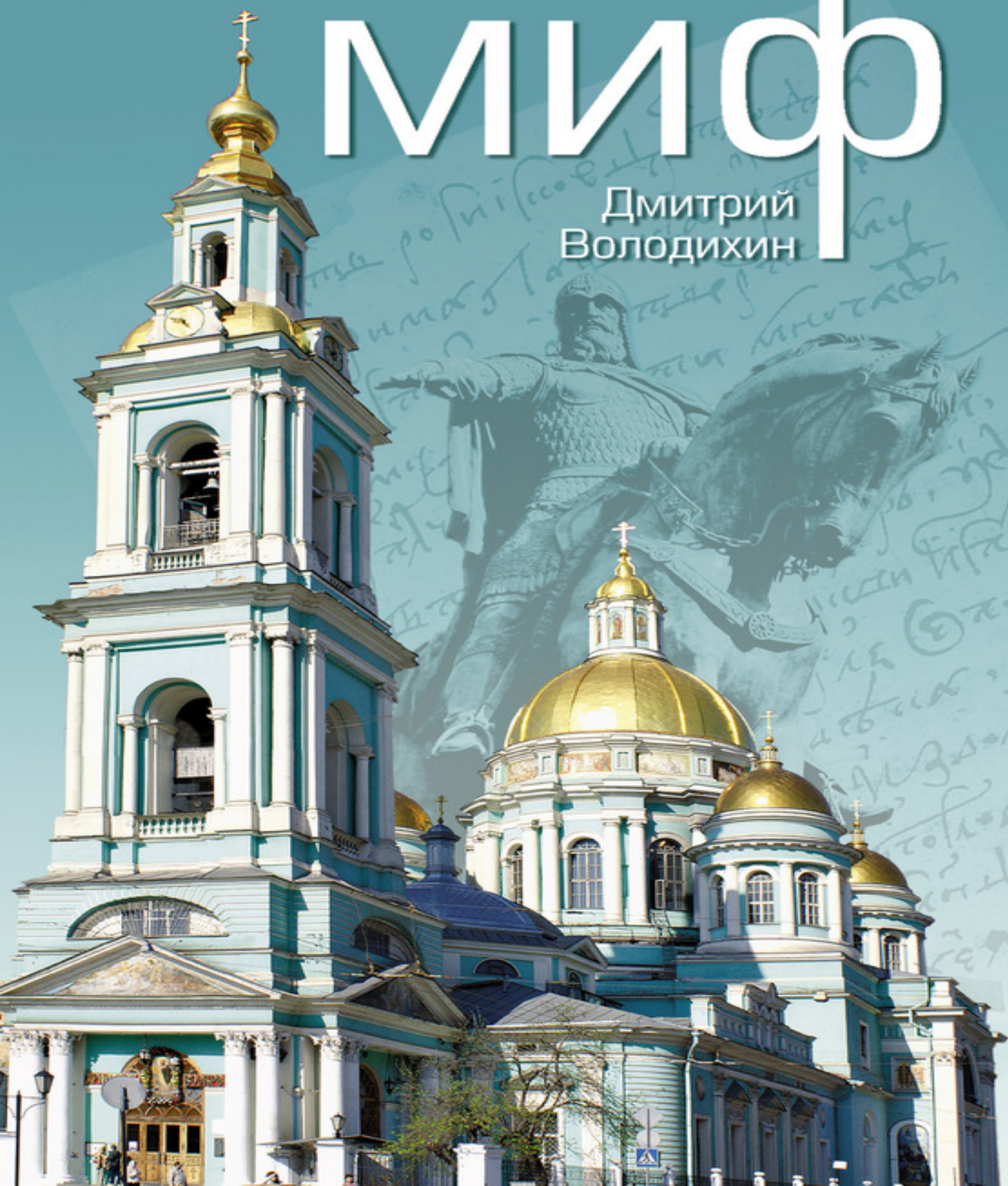


Московский МИФ

Дмитрий
Володихин



Annotation

Некоторые города имеют отчетливый отпечаток «царственности», им как будто назначено свыше править странами и народами. Таковы, например, Рим, Париж, Константинополь и Москва. В этом предназначении кроется тайна: какая-то особая благодать, которую в Средние века находили в людях, а именно в монархах, и пытались объяснить чудесными свойствами «царской крови». Основное свойство «царской крови» для города – создавать вокруг себя мифы. Эти мифы иногда современны настоящему, а иногда на несколько десятилетий или даже столетий «опаздывают», и тогда в них описывается прошлое города. Москва всегда продуцировала таинственные образы: царицы на троне, Третьего Рима и Второго Иерусалима, столицы русских купцов, столицы мирового большевизма, и теперь, кажется, постепенно рождается образ столицы мирового православия.

Книга повествует о московской реальности – исторической, культурной, архитектурной, бытовой, а также о ярких образах, которые в умах современников и потомков эту реальность преобразовывали в нечто совершенно новое.

-
- [Дмитрий Володихин](#)
 -
 - [Лицо Москвы](#)
 - [Архей Москвы. Пятнистый зверь в сосновом раю](#)
 - [Порфироносная. «Третий Рим», «Второй Иерусалим» или «Дом Пречистой»?](#)
 - [Путем покаяния. Москва в Смутное время](#)
 - [Жажда академии](#)
 - [Москва бунташная](#)

- [Посадское барокко. Душа Москвы, воплощенная в камне](#)
- [«Мысленный собор». Образ Москвы у славянофилов](#)
- [Елоховский собор как припоминание московских древностей](#)
- [Марфо-Мариинская обитель и русский стиль в архитектуре Москвы](#)
- [Червонное сердце](#)
- [Москва единственная](#)
- [Раблезианство грязи. Москва Гиляровского](#)
- [Московский пирог vs конструктивизм](#)
- [Площадь трех вокзалов. Империя и запахи](#)
- [Две Москвы](#)
- [Приложение 1. Размышления о смене столицы](#)
 - [Нужна ли другая столица?](#)
 - [Нижний Новгород как принц-консорт](#)
- [Приложение 2. Три эссе о Санкт-Петербурге](#)
 - [Реквием офицеру](#)
 - [Город-призрак ищет новый миф](#)
 - [«Отпрыск России, на мать не похожий...» Санкт-Петербург как символ Империи](#)
- [Приложение 3. Маленькая родина](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)

- [49](#)
 - [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
 - [72](#)
-

Дмитрий Володихин

Московский миф

© Володихин Д. М., 2014

© ООО «Издательский дом «Вече», 2014

* * *

Лицо Москвы

У всех городов есть пол, есть лицо и образ, связывающий имя города и его душу воедино. Москва – женщина, Вологда – женщина, Нижний и Ярославль – мужчины. Но дело тут не в названии. Например, полночный странник Архангельск – женщина, и по тягучим рекам, острым заливам и темным озерцам Беломорья разбросаны ее седые платки.

Старая Москва многим открывалась, и многие видели истинное ее обличье. В пору кровавую и святую, когда Русь Владимирская гибла и на смену ее титаническим государям поднимались Сергей Радонежский, Стефан Пермской и Дмитрий Донской, кем была Москва? Только-только минул возраст ее девичества, диковую лесную красавицу посадили на трон, и власти она пока не знала, власти она едва-едва принялась учиться. Любила молодая Москва дружинников, кланялась монахам и боялась ордынских ратей... А потом нрав ее переменялся. Мощь вошла в ее плоть, власть вбита была в нее смертным боем...

При первых царях наших Москва обратилась в истинную Порфирогениту – Багрянородную. Научилась не бояться никого, кроме Бога и предательства. Ощетинившись бердышами стрельцов, правила суровой рукой и презирала иноземцев. Сибирь, татарщина и Смута канули на дно ее приказных сундуков. Заезжие чужаки восхищались ею и боялись одновременно... Русь словно сконцентрировалась в ней, и XVII век, эпоха первых государей из династии Романовых, явил в облике Москвы – архитектурном и бытовом – русскость, как будто положенную под увеличительное стекло.

Вот явился Петр в кургузом кафтанчике, увез власть московскую в полные края. И обратилась Москва в

дородную княгиньку, устало попивающую кофий после муторного путешествия в Карлсбад. Вились неспешным ручейком мысли: дочерей женить надо; в старом поместье господский дом обветшал, починять пора уж... Старый муж ее, какой-нибудь заслуженный генерал «времен очаковских и покоренья Крыма», хоть и с забавами в голове человек, а супругу свою уважал, позволял ей верховодить в доме; лишь по ветхости лет страсти ей даровать он не мог. Барыня любила покрамольничать и всё ворчала: дескать, в Питере за какое бы дело ни взялись, а ничего, кроме лиха, не выходит. Не почитать ли Вольтера на сон грядущий?

А веком позже на месте княгиньки была уже вдова купеческая, из доброй православной семьи, статями подобная тяжелой осадной пушке, почтительная с Богом, хваткая в делах, нравом же переменчивая: то злая, то добрая, то щедрая, то скупая. Она любила всё русское. И русский стиль мерещился ей в нашей оевропевшей архитектуре, а сундуки, набитые червонцами, давали силу кроить в старинном духе из невнятного марева мечтаний прочные кирпичные кафтаны для вокзалов и Городской думы... Купчиха позволяла нищим живописцам и поэтам погрызть пряничка медового, привечала нищих, больных, убогих, щедро выкладывала копеечку на храм. И звон малиновый на закатной поре Империи всё ж раздавался в опальной столице, покоя сердца, питая славянофильские грёзы. Златокупольная Русь допетровская поднималась из тины прошлого, и прозрачные воды омывали ее позабытый лик...

В недоброй памяти осень 17-го хоронилась купчиха-Москва под платьем мещаночки, лишний раз не желала носу высунуть из дому, чтобы не попасть в перестрелку. Прятала на чердаке от комиссарских обысков-погромов раненого юнкера, поила-кормила вихрастого мальчика, собственноручно перевязывала, сердцем над ними

оттаяла, а потом схоронила глухой ночью в дальнем конце двора, под голубятнею...

Ах, тяготилась она двадцатыми! Разрешили торговлишку, лавочки-лоточки, будочки-рыночки, воздуха дали глотнуть злодеи – да! Но соки вытягивали все подчистую, да и никак не давали жить по старине – неужемно старались к древним плечам прирастить новую голову. Неюное тело ее помолодело и окрепло от необходимости выживать, непрерывно и много трудясь. А в тридцатых дородная матрона, сильная, резвые годы давно проводившая, надела похабные трусики и вышла на физкультурный парад, краснея от смущения. Раз-другой пройдясь, со стыда ушла под землю – рыть метро, вышивать бронзой по мрамору в мглистых норах.

Зато в 41-м широкая кость Москвы, старинная ее мощь и непокорный характер не подвели. Была она тогда матерью шедших на смерть батальонов, и в повелительном жесте ее руки вновь чудилось древнее право порфирородной владычицы.

После войны немолодая эта женщина праздновала бабье лето и лицом своим сделала Веру Алентову, ту, чьим слезам сначала не поверила...

Так вот, в 91-м она умерла.

Осталось на громадном ее кладбище много силы, много власти, много денег, много памяти о прошлых триумфах. Но душа московская истончилась, размылась. Местные знали: над городом витает сущность старой царицы. Да еще не утратило силу старое правило: приезжие либо становятся частью Москвы, либо уезжают восвояси, либо плачут много, горько и безутешно, ничуть не вызывая милосердия у ближних.

Ушло то неуловимое тепло, тот свет невидимый, без которого любой город мертвеет.

Должна была прийти другая женщина, другое лицо, другой образ; их ждали, но сани с юной царицей все никак не показывались на заснеженной дороге.

Зато самозванок явилось много.

Это очень трудно выразить в словах! Должно быть нечто, скрепляющее бессмысленный хаос домов, улиц, площадей, мостов, заводов, гаражей, железных дорог и детских площадок. Должно быть нечто, придающее смысл и значение существованию всего этого. Где оно? Где оно?

А ведь Москва – это даже не страна, это целый континент. Медведково отличается от Щербинки, как Норвегия от Намибии. Тут не о районах впору говорить, а о регионах. Вот древний Кремль, насмерть испохабленный политиками, музейщиками и туристами. Вот мощна всея Руси, цветущая и пахнувшая в пределах Садового кольца. Вот скопища милых маленьких дворишков московских, вот просторные хрущевские спальни, вот чудовищные промзоны, стальными зубами вгрызшиеся в потроха столицы, вот унылые пустыри окраин, вот великие проспекты Юга, вот Запад, изнывающий от зависти к серебряноборскому парадизу, вот Север, устало прижимающийся к Лосиному острову, а вот пролетарский Восток... И под землей хлещут черные водопады на стыках электрического Лабиринта. Вот олимпийская держава, а вот – цэпэкэошная, и рядышком с ней – университетская. Бастионы вокзалов, стальные канаты магистралей, повсюду человеческая крупа...

Москва – город городов, исполненный древней силы, обезумевший от усталости, травленный безбожной интеллигенцией и героином. Ей тесно и беспамятно. Она прекрасна, словно кариатида, из-под тяжких ног которой утекает неверными струями серый асфальт. На протяжении десятилетия, или чуть меньше, это колоссальное тело, этот континент мышц жил в состоянии вялотекущей шизофрении. Или, точнее, в состоянии утраченной души.

Кто только не пытался вдохнуть жизнь и разум в титаническое строение! Не хочет ли Москва возродиться в виде бизнесвумен? И синюшные нарывы банков, выросшие повсюду и везде, манили образом дешевой эзотерики, арбатского тантрического секса под расстроенную гитару и возможностью отдохнуть от нелепого отечества в шезлонге под дорогостоящим солнышком прекрасного далёка. Нет. Можно ведь и блузку сшить из стодолларовых купюр, но носить ее будет как-то... неудобно. А может, поставить на что-нибудь правдолюбивое, свободомольное, с совиными очами и пачкой обвинительных актов в кармане? Кстати, недавно западные социологи научно доказали историческую вину русского народа за всё... Нет. И это не прошло. Невозможно строить из квинтэссенции разрушения. Не может играть роль скрепляющей силы вечное подполье. Пятая колонна осталась без работы... Что ей делать, когда Империя пала? За что ей ждать денег и похвал? Или изобрести какую-нибудь кремлевскую женщину, некрасивую и покорную тому Левиафану, само существование которого в древнем сердце России попустил Господь за грехи русского народа? А? Женщину-политика? Все равно ж Москва – столица, пусть ее образом будет страшненькая, но волевая чиновница. Нет. В Москве много чиновников, но это не город чиновников; министерства в нем тонут. Или... что-нибудь посовременнее, пошумнее, в блёстком наряде, ритмично повизгивающее на сцене о похабной любви и прекрасном распутстве? Ох, да ведь это же мечта для девушек-зверюшек...

Только одна колыбель способна еще растить, кормить и баюкать душу московскую до того, как придет она в возраст совершеннолетия. И эта колыбель выстлана пуховой периной древних обитателей.

Монастыри – вроде огромных якорей, удерживающих пеструю, беснующуюся Москву в нашей

реальности. Иногда мне кажется: не будь их, и пустился бы огромный наш город в пляс по России от Тулы до Вятки, носило бы его, как обезумевшего пьяницу, сильного и бесшабашного, пока не нашлось бы смертельного шильца для его тела.

Монастыри! Монументальный, в землю вросший могучими корнями Данилов. Аристократичный Новодевичий в ожерелье знаменитых могил. Изысканный Спасо-Андроников. Суровый, страшно изувеченный Симонов... Печальный великан Донской. Великие просветители – Заиконоспасский да Высокопетровский.

И еще – воины поменьше, пригвоздившие многоцветную московскую стихию к земляной чаше Руси. Нарядный балаганчик Василия Блаженного на Красной площади, совсем рядом – простой и упрямо стойкий Казанский храм, поставленный на княжеской крови, а через Кремлевскую стену от них – старший брат и патриарх среди церквей московских Успенский собор... Воздетый перст Вознесения в Коломенском. Тихий приют Троицы в Голенищеве. Каменное узорочье Рождества в Путинках. Расписной короб Николы в Хамовниках. Красна девица Михайловская церковь в Тропареве. Неустрашимый боец Симеон Столпник на Поварской, одинокий во вражеском окружении. Скорбное надгробие Всехсвятского храма на Кулишках. Наивный, но щедрый купеческий дар Богу – Троица в Никитниках. Наконец, тяжкая боярская броня Христа Спасителя на Остоженке...

Есть ли что-нибудь в Москве лучше, прекраснее, гармоничнее монастырей и храмов ее? Есть ли во всем городе что-нибудь важнее их? Уберите Кремль, Арбат, лукавую вязь метрополитена, уберите даже доброго университетского исполина с Воробьевых гор, – и сердце города все еще бьется, жив город! А пропадет Данилов, да Донской, да Новодевичий, и опустится

тьма, и будет туман, и Москва обратится в каменное болото.

В фильме «Духов день» есть такая сцена: шеренга солдат, штыки примкнувших, стоит по грудь в море и не двигается. Стражи не поддаются текучему холоду нашей жизни, не погибают и не наступают, просто выдерживают натиск недоброй серой массы... Так и церкви в Москве: редкой цепью хранителей стоят они, в беспокойное небо вонзив штыки крестов.

Наверное, дают душе отдохнуть и старые приусадебные парки: Кусково, Царицыно, Архангельское, Кузьминки, Останкино, Коломенское, Покровское-Стрешнево. Да еще улочки с добротными старыми домиками: когда-то спорили они – дворянский особняк с графскою короной на фасаде и модернистское обиталище промышленника. Теперь между ними крепкий мир и общее трудное дело выживания в холодной стихии архитектурного убожества, щедро налитого в московский кубок двадцатым веком. Мало их. Мало парков, мало улочек-переулочков с живою московской стариной. Они – суть напоминание о прекрасном прошлом нашем, они пристанище поэтов и мечтателей.

Изящный сумасшедший, век XVIII, бездумно и роскошно промотавший старомосковские копеечки, денежка к денежке собранные столичными казначеями от времен святого Даниила-хозяина и до времен болезненного умницы Федора Алексеевича, парками своими, добрыми старыми усадьбами тянется к нам и шепчет: «Россия! Это было так много! Казалось, никогда не иссякнет!» Но всякое серебро когда-нибудь заканчивается. Монастыри – другое дело, в их бездонных колодцах не прошлое плещется, а вечность. Отмокать от суетливого мегаполисного верчения можно и в парке, но жить... жить надо так, чтобы рука то и дело касалась церковной стены.

С недавнего времени Москва – еще и город литературных обществ, кружков, клубов, семинаров, иных ассоциаций умников, которые снимают кино, пишут стихи и прозу, занимаются философией, публицистикой, политологией, журналистикой. Нынче Москва – город салонов и недосалонов, а порой и «больше-чем-салонов». Город маленьких братств по мысли и духу, способных вырабатывать первоклассный интеллектуальный продукт и, кроме того, создавать почву, из которой потом может вырасти нечто по-настоящему великое. Это еще не Серебряный век, а всего лишь век Биллоновый, но это все-таки повод для добрых надежд, и посмотрим, каким итогом увенчает грядущее нынешние зыбкие предвестья.

Что ж тогда лицо нашей Москвы после того, как та немолодая властная женщина умерла?

...Безымянная мать, лет тридцати – сорока, русоволосая, спокойная, повидавшая всего, волей не обделенная, но и не призванная повелевать, приводит свою дочь к монастырским вратам.

– Смотри! Все, что ты видишь, – твое.

И дочь смотрит внимательно, византийская лазурь в ее глазах отражает прихотливую резьбу башенок, мощные обводы стен, ослепительное созвездье куполов... Томительный колокольный стон льется девочке в уши. Торжественная, чистая мелодия тревожит душу ее.

– Да, мама...

Вот Москва. Вот новая царица, с косичкой и бантиком, пухлощекая, такая же русоволосая и такая же спокойная славянка, как мать. Подрастет чуть-чуть и заберет все, что ей принадлежит по праву рождения.

Москва нынче девочка...

Архей Москвы. Пятнистый зверь в сосновом раю

Волга вытекает из маленького источника и долго течёт по Тверской земле, ничуть не выделяясь шириной среди прочих путей воды. И лишь через тысячи километров от истока она становится великой рекой. Так же было и с Россией. В «верховьях» колоссальной державы стоит небольшой деревянный городок Москва, форпост на окраине Владимиро-Суздальского княжества.

Истоки московской мощи теряются в тёмных дебрях XII-XIII столетий – времени неблагоприятного для Руси и немирного.

Москва загадочна.

Почему – Москва? Сейчас это мегаполис, один из самых знаменитых городов мира, столица колоссальной страны. Но почему именно она приняла на себя роль царицы русских городов и земель? Отчего не Тверь, не Новгород Великий, не Владимир, не Ростов, не Суздаль? Все они, помимо разве только Твери, намного превосходят Москву древностью, все они сделались богаты, когда о Москве и помину не было, все они успели примерить венец княжеского стольного города задолго до того, как в Москве появился собственный князь...

Первые полтора века своей истории Москва пребывала в ничтожестве. Богатое княжеское село. Затем – маленький опорный пункт, выставленный Владимиро-Суздальскими князьями против Рязани, будто слабая карта, выложенная на стол в игре с большими ставками.

Очень долго Москва творила себя, но помыслить себя даже не пыталась. Высокоумные книжники заведутся тут лет через двести после того, как «град Москов» вообще начали замечать. Бóльшую часть этого времени тут не вели собственных летописей. А потому от глубочайшей древности московской остались лишь смутные предания да те отрывочные свидетельства, которые оставляли соседи, – те, кто свое летописание завел давным-давно. И разве теперь скажешь наверняка, действительно ли предания московского архея дошли до эпохи книжной, передаваясь из уст в уста чрез много поколений, а потом уже были записаны, или же московские средневековые интеллектуалы сами домыслили прекрасные легенды о рождении великого града в лесной колыбели?

Будто бы в чащобах, стоявших когда-то на месте Белокаменной, отшельничали святые люди и охотились князья. Некий мифический князь Даниил Иванович столкнулся в охотничьих угодьях со странным созданием («зверь треглав, пёстр пестринами, пречуден, красив»). «Пестринами» называли пятна. Суть их обилия, равно как и тайный смысл триглавия, разъяснил Даниилу Ивановичу заезжий грек Василий: «На сем месте созиждется град превелик и распространится царствие треугольное», которое наполнится людьми от многих народов. Следуя за сим изысканным творением Бога, князь добрался до отшельничьих хижин, полюбил глухую, но прекрасную местность и начал тут большое строительство. В иных легендах обошлось без пестрого триглавца. Там больше страстей, грехов, большой политики. Мешанина из действительных исторических фактов, судеб великих персон, живших в XII, XIII и XIV столетиях, а также буйной фантазии, служившей связующим раствором везде, где время отгрызло вершки и корешки от истинных сюжетов, предстает в виде романтической

истории князей Суздальского дома, борющихся с местным норовистым боярством. Мелькают имена князей Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Даниила Московского, княгини Улиты, бояр из рода Кучковичей. Уязвленная блудной похотью Улита натравливает юных любовников-Кучковичей на своего супруга Даниила. Тот подвергается нападению лютых врагов на охоте и прячется от них в «срубце» – погребальном домике, предназначенном для упокоения другого человека. Там князь лежит рядом с мертвым телом, хоронясь от погони. Но убийцы находят его, пустив по следу любимого княжеского пса. Открыв его убежище, душегубы поднимают несчастного князя на копья... Впоследствии их, конечно, казнят, а «красные села», им принадлежавшие, становятся владениями княжеского рода. Тут и возникает Москва.

Правду здесь очень трудно отделить от выдумки.

Действительно, на землях, где сейчас раскинулась Москва, в древности обитали племена, имевшие обыкновение помещать останки мертвецов в странного вида бревенчатые домики.

Действительно, бояре-Кучковичи являлись упорными и беспощадными противниками Суздальского княжеского рода. Именно они сделали заправилami у мятежных заговорщиков, погубивших князя Андрея Боголюбского.

Действительно, неподалеку от Боровицкого холма располагалась местность Кучково поле, а сам город иногда называли «Кучков». Очень вероятно, что в незапамятные времена лесистое междуречье Москвы и Яузы являлось вотчиной боярина Кучки (или Кучка), а потом его детей.

Действительно, князья московские обрели на своей земле богатейшие охотничьи угодья и славились неистовой страстью к охоте. В Москве при Иване Великом святой Трифон явил «чудо о соколе» – помог

отыскать драгоценную охотничью птицу, упущенную сокольников. Поэтому в русской традиции его изображают с соколом в руке. В память о чуде св. Трифона воздвигнута одна из древнейших церквей Москвы – Трифоновский храм в Напрудном (последняя четверть XV века). В белых кречетах, как видно, на заре Московского государства вообще видели какую-то мистическую силу и, возможно, – один из символов правящей династии. Соколиная охота всегда представляла собой аристократическое развлечение, занятие для людей, относящихся к сливкам благородного сословия. Утверждая высоту своего рода, московские князья велят изображать на монетах человека с соколом в руке. Чаще всего – всадника. Такое изображение отыскивается еще на монетах великого князя Василия I (1389–1425 гг.). Возможно, бывало оно и на монетах Дмитрия Донского – их сохранилось не столь уж много, рисунок разобрать порой весьма трудно. Но это уже из области предположений. А раньше великого князя Дмитрия Ивановича никто на Москве не чеканил собственной монеты. Возможно, человек с охотничьей птицей в руке являлся символом Московского княжеского дома от его основания, и лишь потом на смену ему пришел «ездец» – всадник с копьем.

Итак, у преданий о древности московской имеются кое-какие реальные основания.

Но.

Князья Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский жили в середине – второй половине XII века, а Даниил Московский, о котором еще пойдет речь, правил городом в конце XIII – самом начале XIV. Не перешагнуть ему во времена отдаленных предков... По отчеству был он Александрович, а не Иванович. Предания по-разному именуют князя, ставшего жертвой заговора: то Андрей, то Даниил. Убили князя Андрея в Боголюбове, а не в

чащобах московских. С жизнью он расстался через много лет после того, как на Боровицком холме появилась первая крепость. Что же касается Даниила Московского, то он и вовсе ушел на суд Господний мирно.

Народная память всё путает, всё мешает, всё хаотизирует. Истина и ложь сплавляются ею в нерасторжимое единство. Для нее важны сюжеты – притчи о страстях и прегрешениях – а имена людей и обозначения дат могут «подставляться» в эти сюжеты с необыкновенной произвольностью. Всё, что относится к сиюминутному, невозпроизводимому, не имеющему касательства к вечному повторению судеб, лишается в народной памяти особенного значения. Мелочи, детали. Заменить одну на другую – грех невеликий. Лишь генеральный смысл истории истинно ценен.

Так вот: смутные, расплывчатые образы, сбереженные памятью людской, сообщают о борьбе и трагедии, легших в фундамент великого города. Пролилась кровь; зло было наказано; восторжествовала справедливость. Лишь после этого ударили топоры «градодельцев». Москва вырастает из истории о разоблаченном и поверженном злодействе. Символ ее начала – победившая правда.

Но это – предания, образы. Что известно доподлинно?

Крупницы, самая малость. Князь суздальский Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким, пирует тут со своим добрым союзником, а девять лет спустя велит поставить первый московский кремль на Боровицком холме.

В ту пору лучший друг Юрия, князь Святослав Ольгович Новгород-Северский, терпел изгнание из своей вотчины. Его покинули прочие сторонники, он скитался с дружиной по лесным окраинам. Сын Юрия Владимировича, Иван, отданный в поддержку

Святославу, скончался 24 февраля 1147 года. В отчаянии Святослав явился к городу Лабынску в устье Протвы и там получил дорогие подарки, а вместе с ними ободряющее послание от Юрия: «Не тужи о сыне моем, ведь его Бог забрал. Другого сына тебе пришлю». Вместе двое союзников совершили поход: Юрий взял Торжок, а Святослав совершил удачный набег на Смоленщину^[1]. О последующих событиях летопись сообщает в подробностях: «Прислал за ним Гюрги (Юрий) и рече “Приди ко мне, брате, в Москов”. Святослав же еха к нему с детятем своим Олегом, в мале дружине, пойма с собою Володимира Святославича; Олег же еха наперед к Гюрги и дал ему пардуса^[2]. И приеха по нем отец его Святослав. И тако любезно целовастанся, в день пяток, на Похвалу святей Богородицы^[3], и тако быша весели. Наутрии же день повеле Гюрги устроити обед силен. И створи честь велику им, и дал Святославу дары многи с любовью, и сыновьям его Олегу и Володимиру, и мужей Святославле учреди^[4], и тако отпустил их. И обещался Гюрги сына пустити к нему, якоже и створи». С помощью суздальского войска, возглавленного сыном Юрия Глебом, его союзник вновь одерживает победы, а Глебу достается удел его брата, Курск. Таким образом, с «археем» Москвы связана удачная политическая комбинация.

В 1156 году по приказу Юрия Владимировича сын его Андрей поставил мощную деревянную крепость на Боровицком холме. С тех пор Москва сделалась *заметной* на политической карте Руси. Поэтому вполне справедливо, что с 1954 года в центре города стоит памятник Юрию Долгорукому. Пусть его и недолюбливают искусствоведы, зато он стал родным для жителей столицы.

Эта деревянная крепостица превратила захолустное селение в город и... стоила ему чрезвычайно дорого. Раз город, значит, воин. А воин всегда заметнее пахаря, бортника или охотника. Он не скроется в тиши лесов, ему предназначено стоять на охране рубежей. И он, проиграв битву, падет...

Первыми Москву спалили не татары и не поляки, а ближайшие соседи. Рязанский князь Глеб осенью 1177 года подступил с дружиной к городу, сжег его, а потом предал огню близлежащие села. Тяготы кровавого междоусобья еще не раз посетят Москву. И по прошествии многих столетий правители города выработают у себя привычку – уничтожать любую мятежность безжалостно и наверняка. Москва, жестоко страдавшая от своих же русских людей, впоследствии избавит всю страну от «вольностей», покупавшихся огнем и мечом. Иначе говоря, ценой истребления соседей и ограбления их земель... Что ж, город выстрадал это право.

Но города-воины имеют право на вторую жизнь, а то и на третью, четвертую... Так и Москва. Она возрождалась из пепла многое множество раз.

И после рязанцев.

И после татар, впервые погубивших город в 1238 году.

И после поляков, которые спалят ее в 1611-м.

Хорошее место. Река богата рыбой, лес – зверем, птицей, да еще медом диких пчел. Земля плодородна. А большие беды, сламывавшие судьбы городов древних и великих, иной раз обходили стороной московскую глухомань. Люди возвращались раз за разом на пепелища, брались за плотницкий нехитрый инструмент, ставили новые хоромы, новые церкви, мостили новые улицы. Жизнь побеждала. Москва – место, где из земли бьет наружу невидимый, но

сильный источник жизни. Тут люди энергичны, упрямы, разворотисты и отважны, тут всё скоро плодится, тут быстро заживают самые глубокие раны.

Может, здесь-то и надо искать причину удивительного возвышения Москвы? Не в каких-то великих торговых маршрутах, якобы шедших через земли московские – тут купеческих «магистралей» о древней поре вовсе не проходило. И не в лесах, якобы закрывавших город от чужеземных нашествий, – ничего они не закрыли ни от рязанцев, ни от татар. Проще: возлюбил Бог место красивое, дал ему богатство, за то и держались этого места насельники. А когда явился татарин с арканом и луком, больше досталось золотым градам на торных дорогах, меньше – малым их сородичам, милой Господу чащобе.

Москву сызмальства мало били. Били, конечно, жгли, грабили, но не до смерти. Не как Киев и не как Владимир. Москве повезло. До нее очередь не дошла – быть раздавленной. Мелка мошка, да цела.

И сила эта, чуть ли не животная, и везучесть московская, и сторожевой уклад здешней жизни – всё вещи немые. Более того, еще и безмысленные. Москва еще не оторвалась от древесного лона, породившего ее. Она еще не научилась размышлять о себе, задаваться вопросами: «Что я такое? Какою видят меня соседи?» Москва растет из земли, набирается сил, учится выносливости в бедах и страданиях. Книжная премудрость поселится здесь позже.

Намного позже.

«Если есть охота представить столицу такой, какой была она в самом начале, – пишет современный историк Алексей Лаушкин, – поезжайте в подмосковный Звенигород, ровесник Москвы. Его древнейшая часть – Городок – расположилась на высоком холме. Под холмом вьется Москва-река. С Городка открывается

дивный вид на просторные луга и дремучие леса за рекой. Посередине городища возвышается Успенский собор. Построенный в конце XIV века, он сохраняет черты владимиро-суздальской архитектуры XII-XIII веков... Такими же когда-то были окрестности Боровицкого холма, где впоследствии вырос Московский Кремль... Город поначалу был невелик. Там, где сейчас шумят бегущие от Красной площади улицы Китай-города – суетливая Никольская и чопорная Ильинка, – в конце XII века еще зрела волнуемая ветрами рожь да бегали промышлявшие на московских огородах зайцы из ближнего леса. Молодая Москва только начинала свой путь в неведомую даль времен».

Юность Москвы смолиста. Она прошла в сосновом раю. Если подняться на Боровицкий холм и оглядеть открывающиеся дали, один бор вставал за другим. И сам-то холм этот, как видно по названию, издревле был покрыт бором. Меж лесами открывались пряди неспешных, равнинных рек, разметавшихся по глухому болотистому краю, словно волосы красавицы, задремавшей на поляне. Заливные луга и косогоры обрамляли их неторопливый бег. Плыл над ними запах смолы, хвои, цветущих трав.

Аромат смолы усиливался, когда падали под ударами плотников великаны, зачарованные собственным отражением на речной глади. И зло шипела смола, когда пылали кремлевские стены, подожженные неприятельской рукой...

XII и XIII века приводили в Москву разных князей. Но все они видели в этой лесной дурнушке временное благо, не более того. Пересидеть на Боровицком холме скорбные коленца судьбы, дожидаться более выгодных обстоятельств да улететь из сосновой обители на поиски солидной добычи – вот мысли и действия

древнейших князей московских. Они тут больше гостили, чем княжили.

От начала Руси на протяжении многих веков князья наши были подобны стае ворон: перелетали с гнезда на гнездо, отыскивая для себя удел побогаче, клевали друг друга, не в силах смириться с богатством соседей, а когда самое уютное гнездо – великокняжеский стол – оказывалось вакантным, вся огромная стая с карканьем поднималась в воздух, устраивала побоище и вновь «переделывала» гнездовье. Кого интересовал укрепленный пункт в лесной глуши – Москва? Князья, которым доставалась эта земля, надолго тут не задерживались, отыскивая более почётные и богатые княжеские города.

Первая действительно крупная историческая фигура в московской истории, человек, способствовавший превращению «ручейка» в «реку», – князь Даниил Александрович (1261–1303). У него на глазах и отчасти его усилиями одна эпоха в судьбе Руси ушла в прошлое и сменилась совершенно другою. Его державная манера во многом определила стиль всей будущей московской политики.

В конце XIII столетия незавидный московский удел достался Даниилу – младшему сыну прославленного полководца Александра Невского, канонизированного Церковью. Его поставили княжить на Москве в младенческом возрасте. Лишь с 1277 года он – действительный полноправный властитель. Княжение Даниила принесло громадную перемену.

Собственно, именно при нём и появилось Московское княжество как постоянно существующая, неэффемерная политическая реальность.

Вся Северо-Восточная Русь тогда была страшно разорена Батыевым нашествием, данями и карательными экспедициями ордынцев. Старые города не могли дать ни прежнего почёта, ни прежних

доходов, ни прежней ратной силы. Люди уходили оттуда на запад – прежде всего в Тверь и Москву. Именно там набухали новые центры силы. Но старшие родичи Даниила Александровича, в том числе его братья, всё ещё пытались играть в старинную «воронью игру». Стольный город Владимир манил их призрачной древней славой, землями, с которых еще можно было выжать кое-какие средства, а также формальным старшинством, положенным великому князю владимирскому над прочими князьями Северо-Восточной Руси.

Даниил Московский избрал иную политику.

Он прежде всего был рачительным хозяином Московского края. Впоследствии его многие так и называли: «Хозяин Москвы». Он смиренно удовлетворялся той землей, которую Господь отдал ему под руку, не делал попыток сменить доставшееся ему княжение на другое, но упорно старался расширить владения, понемногу приобретая соседние города. В наши дни историки назовут эту стратегию «тихой экспансией». Очень точно! Пока братья-Александровичи истощали силы в междоусобицах, водили на Русь ордынские рати, ссорились из-за великого княжения, Даниил тихо умножал собственное достояние. На этой стезе он и проявил свой политический дар.

Удачно выбрав союзников, он присоединил к Москве Можайск.

Видимо, при нём же власть московского князя распространилась и на Дмитров^[5].

Самым удачным приобретением князя стал Переяславль-Залесский. Ради того, чтобы получить этот богатый город, Даниил Александрович пошел на сложную политическую комбинацию. Новгородцы, нуждавшиеся в князе – защитнике с сильной дружиной, предложили ему власть над городом. Это сулило

значительные выгоды: Новгород обыкновенно принадлежал великому князю, старшему на Руси, поэтому княжение в нём считалось весьма почётным. За него боролись и даже вели настоящие войны. Теперь великие доходы от тамошнего княжения достались князю московскому и какое-то время обогащали его землю. Но Даниил Александрович совершил неожиданный и очень характерный для его политического почерка шаг: он уступил новгородское княжение своему племяннику Ивану Переяславскому – и взамен приобрел прочный союз с ним. А впоследствии бездетный князь Иван завещал Переяславль-Залесский дяде. Конечно, нашлись охотники оспорить завещание, но Москва сумела защитить новое приобретение и дипломатическими методами, и вооруженной рукой.

Вместе с тем князь Даниил не был сторонником междоусобных браней. Он, бывало, выходил с полками, но предпочитал заключить мир. Русской земле, разоренной, обезлюдившей, каждое новое пролитие крови стоило исключительно дорого... Московский князь видел и очень хорошо понимал это, а потому воздерживался от братоубийственных столкновений. Видимо, именно от Даниила Александровича унаследовало эту нелюбовь к войнам большинство потомков – князей Московского дома. Общая их черта – уповать в большей степени не на военную силу, а на интригу и дипломатию. Они боролись за расширение Московского княжества хитростью, удачными «куплями» новых земель, выбором сильных союзников, а в поход снаряжались лишь по крайней необходимости. При всём том «своё» Даниловичи обороняли до последнего, и если теряли что-нибудь, то впоследствии непременно возвращали.

От Даниила Александровича пошла династия людей сильных, упрямых, прижимистых хозяев, искусных дипломатов. Тут что ни личность, то всё – яркий

человек. Лучшие из Даниловичей предпочитали точный расчет пустому ухарству, умели выждать и нанести удар в наилучших обстоятельствах, отыскивали наилучших помощников для осуществления своих планов, разумно использовали чужую силу себе на благо. Как прирожденные шахматисты, они играли в большую политику, высчитывая «ходы» на много лет вперед.

Другие княжеские семьи блистали подвигами. Древний дружинный дух, бродивший по Руси с отдаленных языческих веков, далеко еще не рассеялся. Бесшабашная лихость, удалство, богатая добыча и боевая слава милы были сердцу князей и их воинов. Историки особенно любят сравнивать династии тверских князей и московских, мол – вот герои, а вот пошлые скопидомы... Но тверская сила, неразумно растраченная тамошними князьями в боях и восстаниях, неизвестно сошла с исторической арены. Московский дом силу не тратил, а непрерывно копил... В итоге Тверь, славная и богатая, сошла с исторической сцены. Тверские государи принадлежали к древней породе дружинных вождей, храбрецов и «резвецов», людей рыцарственных, но нерасположенных думать о благе собственных владений. Государи московские, скорее, политики. Личная слава их мало интересовала; для них важнее было процветание семьи и всей земли.

Сила Москвы постепенно росла. Поднималась от Батыева разгрома богатая Московская земля – земля бортников, рыбаков, земледельцев. А голос князя Даниила обретал всё больший вес на княжеских съездах – когда решалась судьба всей Руси Владимирской.

Не обходилось без ошибок. В 1293 году князю Даниилу не удалось спасти свой город от разорения. Ордынцы совершали очередную карательную экспедицию по Руси, грабили и жгли города. Москва как

будто была ни в чём не повинна. Однако Даниил союзничал с великим князем владимирским Дмитрием Александровичем, а тот в свою очередь – с ханом Ногаем; в то же самое время соперник Дмитрия, городецкий князь Андрей, взял себе в покровители хана Тохту. Андрей призвал на своих неприятелей татар Тохты, возглавленных его братом Туданом (Дюденей русских летописей). Владения Даниила подверглись нападению, поскольку он числился во вражеском лагере. Даниил не предпринимал каких-либо активных действий против Андрея, а потому рассчитывал на милосердное отношение. Скорее всего, князю даже обещали обойтись с городом по-доброму, если он явит знаки покорности. Видимо, надеясь на это, московский государь велел открыть ворота перед ордынской ратью и... поплатился разгромом.

Впрочем, Москве удалось быстро подняться. Урок не был забыт. Историки считают, что около 1300 года Даниил Московский поставил новые, более мощные крепостные стены вокруг города.

У Москвы издавна сложились недобрые отношения с Рязанью. Собственно, прежде Москва служила своего рода козырем, который выставляли владимиросуздальские князья против неистовых рязанцев. Здесь отлично помнили, как рязанский князь Глеб сжег Москву и окрестные села... Впоследствии возрождённая Москва послужила опорным пунктом для вторжений на Рязанскую землю. Московско-рязанская граница нередко изменялась то в одну сторону, то в другую. При Данииле Александровиче перевес склонился в пользу Москвы.

В 1301 году московские полки под городом Переяславлем-Рязанским нанесли сокрушительное поражение рязанцам и пленили их князя Константина. Сильная московская рать разбила татарский отряд, то ли нанятый Константином, то ли присланный его

ордынскими союзниками^[6]. Это, пожалуй, самое громкое военное деяние Даниила Александровича. Но важнее военной славы, не особенно ценимой князем, были его политические последствия. Историки полагают, что Коломна, прежде «тянувшая» к Рязани, именно тогда встала «под руку» Москвы. А это был стратегически важный пункт на доске бесконечного противоборства двух городов.

Младший из сыновей Александра Невского получил второстепенный удел, но сумел сделать из бедного лесного городка столицу мощного княжества, одной из ведущих сил всей Руси. В 42 года он скончался, может быть, самым могущественным из русских государей того времени.

Судьба Даниила Московского не закончилась, когда прервалось его земное существование.

При жизни князь был благочестивым человеком и проявлял особенное внимание к нуждам Церкви. Археологи утверждают: именно при Данииле Александровиче в Москве был возведён первый каменный храм. Известно, что князь основывал на своей земле монашеские обители. Из числа крупных оплотов русского иночества Даниилу Александровичу приписывается основание московской Богоявленской обители. Но наибольшую известность приобрёл другой памятник его благочестию – ныне действующий московский Данилов монастырь, патриаршая резиденция (главный храм обители был освящён во имя преподобного Даниила Столпника). Здесь строитель Московского княжеского дома перед смертью постригся в монахи. Здесь же, в соответствии с завещанием Даниила, его и похоронили, – на общем монастырском кладбище, «идеже и прочую братию погребяху».

По другой версии, его погребли в кремлевской Михайло-Архангельской церкви.

Церковное предание сохранило рассказы о чудесах, происходивших на могиле князя через два века после его кончины. Однажды он и сам явился над могильным камнем юноше из свиты великого князя Ивана III, своего далёкого потомка. 30 августа 1652 года были обретены его мощи, оставшиеся нетленными после трех с половиной столетий пребывания в земле. Их перенесли в храм. Позднее Церковь постановила почитать Даниила Московского как святого. В 20–30-х годах XX века, когда монастырь переживал тяжёлые времена, святой Даниил вновь являлся прихожанам и благословлял их. В 1920 году была снесена часовня Даниила Московского на Даниловском валу, но спустя 78 лет её восстановили, и сейчас она стоит лучше прежнего – недалеко от станции метро «Тульская».

Близ часовни, на пересечении Люсиновской и Большой Серпуховской улиц, высится десятиметровый памятник Даниилу Александровичу. В левой руке князь держит храм, в правой – меч. На голове его – правительский венец с крестом. Подмосковное Нахабино украсилось церковью, освященной во имя святого Даниила.

Память святого Даниила отмечается Русской православной церковью 17 марта, а память обретения его мощей – 12 сентября. На иконах святой благоверный князь Даниил Александрович изображается в монашеском одеянии, поскольку незадолго до кончины он принял иноческий образ. Его считают небесным покровителем и оберегателем Москвы.

Быть может, когда Бог желает прославить какую-нибудь землю, он делает своим орудием человека нешумного, неспособного производить блестящее впечатление геройством или красивыми речами, но

искусно делающего назначенную ему работу. Таким и был святой Даниил Московский.

Митрополит Московский Платон в составленном им Житии святого Даниила говорит: «Сей-то первоначальный основатель положил начало нынешнему величию Москвы, проложив для этого тихими стопами только малую стезю. Ибо как и всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время; и как дерево, много веков растущее, начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распространяются далеко окрест, так и граду этому надлежало возрасти от малых, но твердых начал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завистующих и чтобы в первое время не потрястись и не пасть ему скорее, чем оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей великий град основатель, дав ему, хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние».

Порфироносная. «Третий Рим», «Второй Иерусалим» или «Дом Пречистой»?

Киевская Русь и Московская Русь – две разных страны.

Не совпадает территория. Различается государственный строй. Несопоставимы погодные условия.

В первом случае – близость к византийской высокой культуре, полные сундуки серебра, приходящего от торговли и транзитных пошлин, да еще плодородные равнины, которые не прокормят только ленивого. Во втором – бедный лесной угол, очень слабая торговля, скудные почвы, постоянный недород, бедность хлебом, деньгами, дружинами.

Киевская Русь умела мыслить масштабно, вести великие войны с соседями, распутничать и швыряться деньгами. Русь Московская, зажата между Ордой и Литвой, сэкономила на всем, высокий полет древнекиевского образованного класса долгое время был ей недоступен. О великом ли думать, когда следует готовить дань татарам, готовить отпор литве и из того, что осталось, готовить микроскопическую трапезу?

Между Киевом и Москвой – провал умственного ничтожества. Ранняя Москва – умственная пустыня. И лишь собрав силы, сосредоточив Русь вокруг себя, Москва зрелая, могучая, позволила себе интеллектуальную изощренность.

Очень поздно.

Очень, очень поздно.

Зато с каким великолепием...

В ту давнюю пору, когда митрополит Иларион создавал «Слово о Законе и Благодати», Русь умела мыслить себя как значимая часть безбрежной Христианской цивилизации.

С раздроблением Древнекиевского государства генерализующая сила русской исторической мысли ослабела. Самая черная эра в судьбах Руси – от Батыевой рати до поля Куликова – была не только годами разорения, унижения, распада, но еще и веком великой немоты. Дар возвышать мысль над обыденностью отнялся, как живое слово отбирается у насмерть испуганного человека его страхом. Мышцы ума чудовищно атрофировались... Способность осознавать общерусское единство и встраивать его интеллектуально в симфонию мирового христианства как будто погрузилась в дрему и не покидала царства снов ни при Михаиле Тверском, ни при Иване Калите, ни при Иване Красном.

Время от времени, вспышками, она пробуждалась. Так, память о великой победе на поле Куликовом родила эпическую поэму «Задонщина». По словам академика Д. С. Лихачева, «...во второй половине XIV и в начале XV века Москва неустанно занята возрождением всего политического и церковного наследия древнего Владимира. В Москву перевозятся владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. В Москву же переходят и те политические идеи, которыми в свое время руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной, и значительной, подчинив политику московских князей единой идее и поставив ей дальновидные цели, осуществить которые в полной

мере удалось Москве только во второй половине XVII в. Идеей этой была идея киевского наследства». После Тохтамышева разгрома и особенно в годы осторожного правления Василия I величественная концепция «киевского наследства», вероятно, имела над умами московских книжников и московских политиков лишь призрачную власть. Можно сказать, власть мечты, оживляющей рунированный ландшафт... Но поэт мог согреть ею измученные сердца русских людей. И вот автор «Задонщины» вещает: «Князь великий Дмитрий Иванович с своим братом, с князем Владимиром Андреевичем, и своими воеводами были на пиру у Микулы Васильевича. Ведомо нам, брате, что у быстрого Дону царь Мамай пришел на Русскую землю, а идет к нам в Залесскую землю. Пойдем, брате, в полунощную страну жребия Афетова, сына Ноева, от него же родися Русь православная. Взыдем на горы Киевския и посмотрим славного Днепра и посмотрим по всей земли Русской. И оттоля на восточную страну жребии Симова, сына Ноева, от него же родися хиновя – поганые татаровя, бусормановя. Те бо на реке на Каяле^[7] одолеша род Афетов. И оттоля Руская земля сидит невесела, а от Калкския^[8] рати до Мамаева побоища тую и печалию покрываша, плачущися, чады своя поминаючи: князи и бояря и удалые люди, иже оставиша вся дома своя и богатество, жены и дети и скот, честь и славу мира сего получивши, главы своя положиша за землю за Рускую и за веру христианьскую...

Снидемся, братия и друзи и сынове рускии, составим слово к слову, возвеселим Русскую землю и возверзем печаль на восточную страну в Симов жребий...»

Автор «Задонщины» протягивает нить исторической памяти между Москвой и Киевом, между исходом XIV

века и домонгольскими временами, между Северо-Восточной Русью и ветхозаветным делением земли на «жребии» сынов Ноевых. Из его повествования видно: заканчивается эпоха, когда книжные люди Руси не могли оторвать взгляда от земли, от непосредственного окружения, от своего клочка лесистой равнины и воспарить мыслью высоко над странами и народами и увидеть себя, свой город, свою державу в общем узоре ойкумены.

Русь понемногу начинает вновь мыслить себя как нечто, способное претендовать на серьезную роль во всемирно-христианской мистерии. Ей возвращается способность увидеть и оценить себя со стороны, с высоты птичьего полета. Эта способность набирает силу и концентрируется в Москве времен Ивана Великого. Москва, прежняя лесная золушка, впервые получает силу создать собственный миф – устойчивый образ, через призму коего ближние и дальние соседи будут воспринимать Великий город.

2

Что такое «Московская Русь»?

Не «Московское государство» – словосочетание, синонимичное понятию «Россия до того, как Санкт-Петербург превратился в столицу».

Не «Владимирская Русь» – Северо-Восточный лесной угол колоссальной державы Рюриковичей, неожиданно для всех покинувший второй план большой политики и получивший значение первенства при Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо.

Московская Русь – это и *время*, и *пространство* одновременно.

Время – приблизительно с конца XIII до середины XV века. Чуть менее двух столетий. В самом начале этого

времени Москва была ничем. Потом сюда пришел княжить Даниил Московский, и от него началось возвышение Москвы.

Но какое это было возвышение? Неуверенное, неровное, долгое время шедшее на грани падения и гибели. Ни при Данииле Московском, ни при его детях, ни при внуках его никто не поручился бы за то, что Москва будет первенствовать на Руси. И даже при его правнуках могучие соседи оспаривали ее первенство.

Вот на древний княжеский стол Московский восходит мальчик Дмитрий, в будущем – знаменитый Дмитрий Донской. Его правительству приходится выдержать жестокую борьбу за старшинство и лишь с большим трудом, применяя военную силу, удастся вырвать его у соперников... А после кончины Дмитрия Донского московское княжеское семейство войдет в полосу междоусобных свар, которые впоследствии выльются в настоящую гражданскую войну. Всё это время – от Даниила Московского до Ивана Великого – Москва остается *претендентом* на роль общерусского центра. Всего лишь претендентом! Но не признанным господином и властителем.

Таково беспокойное время Московской Руси.

А вот пространство... так просто и не скажешь.

Владения московских князей-Даниловичей то расширяются, то сужаются. Размеры земли, находящейся у них во владении, непостоянны. На протяжении нескольких поколений Даниловичи то вооруженной рукой, то хитроумной дипломатией, а то и с помощью денег медленно наращивают свою «отчину». И Дмитрий Донской выведет на поле Куликово великие полки, собранные с этой «отчины». Не только с нее, конечно, но с нее – в первую очередь. Однако до поля Куликова долгий путь. Целое столетие! В течение этого времени под рукой у Московского княжеского дома находилось не так уж много крупных городов. Их можно

пересчитать по пальцам одной руки: Дмитров, да Звенигород, да Коломна, да Можайск, да Серпухов. И к ним в придачу городки, когда-то считавшиеся значительными, а затем ушедшие в тень: Кремична, Сурожик, Руза.

Негусто...

Таково – в узком смысле – пространство Московской Руси. То «твердое ядро», с которого начнется великая держава.

Со времен Дмитрия Донского начинается стремительный рост Московской Руси. Но державных размеров она достигнет лишь век спустя – превращаясь в Московское государство, иначе говоря, в Россию. И если бы этот рост не имел под собою ничего, кроме военной силы, не стала бы Москва тем гвоздем, на котором Бог подвесил самую большую страну мира.

Московской Руси требовалась та духовная закваска, от которой хлеб ее мощи перестанет быть пресным.

В XIV столетии начинается один из самых главных, самых ярких в исторической судьбе Руси процессов: монастырская колонизация северных и восточных окраин страны. Но прежде всего иночеством наполнилась Московская Русь – бедный лесистый край, прежняя золушка среди областей Древней Руси. Земля, лишенная древней истории, древних традиций. Она очень долго оставалась бедна монашеством, бедна значительными обителями. Но за несколько десятилетий всё переменилось. Невеликая по размерам область вокруг Москвы неожиданно сделалась средоточием православного иночества всеевропейского значения. Духовная энергия выплеснулась из северного грунта, вознеслась сквозь крепко просмоленный воздух и прикоснулась к небу...

XIV век наградил Московскую Русь безмерно: пребывая на заре его духовной нищенкой, к исходу

столетия она сделалась богаче всех соседей звонким металлом святости.

Большую монастырскую реформу затеял святитель Алексей, митрополит Московский.

До середины XIV столетия большинство русских монастырей, как правило, содержались на средства основателя (ктитора). Такими ктиторами могли быть, например, великие и удельные князья, бояре. Конечно, они имели возможность оказывать самое широкое влияние на иноческую жизнь обителей. Независимые от ктиторов большие «общежительные» обители времен домонгольской Руси позабылись. Монахи жили каждый в своей келье, одевались и питались в соответствии с личным достатком. Основатели таких монастырей могли обрести там нешумное место для богомолья, для отдыха от дел на старости лет, да и для семейной усыпальницы.

Но в середине XIV столетия положение изменилось. Московская митрополичья кафедра возвратила судьбу русского монашества к изначальному руслу. В новых обителях (и прежде всего в Троицком монастыре игумна Сергия Радонежского) вводится общежительный, или, иначе, «киновиальный», устав иноческой жизни. Этот устав – строже «особножительного», процветавшего в русских обителях того времени. В соответствии с ним все имущество монастыря принадлежало иноческой общине во главе с настоятелем. Монахам не полагалось иметь собственного имущества. Трапезу они принимали за одним столом, одежда их никак не различалась. Все они оказывались равны перед властью игумна и «старцев» – располагавших наибольшим духовным авторитетом монахов. Община могла быть больше и меньше: до двухсот и более иноков. Но во всех случаях на долю монашества приходилось немало ручного труда («рукоделия») и забот о проживании всей общины.

Количество новых, киновиальных монастырей росло стремительно. В XV столетии обители с «особножительным», или, иначе, «келиотским», укладом уступили им численное первенство. А духовное и политическое влияние общежительных монастырей существенно превосходило влияние их предшественников. Монастыри были форпостами высокой культуры в диких, неосвоенных землях, первостепенными центрами живописи и книжности. Монастыри становились также центрами православного миссионерства, и они же могли сыграть роль крепостей – главных баз сопротивления неприятелю в военное время.

По воле митрополита Алексия было основано немало новых обителей. В их числе подмосковный (ныне московский) Спасо-Андроников монастырь, кремлевский Чудов монастырь, Серпуховской Владычный монастырь, стяжавшие впоследствии добрую славу.

Но для того чудесного взлета, какой пережило иночество Московской Руси, более всего энергии дало подвижничество преподобного Сергия Радонежского. Он – альфа и омега удивительной перемены, произошедшей на Московской земле.

История жизни Сергия трогает русское сердце отдаленным, но явственно слышимым зовом: оставь всяческую корысть, уйди из города, уйди в места дикие и пустынные, на остров посреди озера, в чащу, в пещеру, и там, в тишине, размышляй о Боге, взывай к нему, тогда Он ответит.

Святой Сергий родился в семье ростовских бояр то ли в 1314-м, то ли в 1322 году. Сергий удалился от суетной жизни. Он и старший брат Стефан, молодые монахи, поселились в глухой лесистой местности. На холме Маковец они выстроили деревянный храм во имя Святой Троицы. Не выдержав тягот неблагоустроенной

жизни, к тому же оторванной от городской культуры, Стефан покинул брата и отправился в Москву. Там он поселился в Богоявленском монастыре. А Сергию досталось место, где молчаливое сосредоточение на диалоге с Господом ничем не могло быть прервано. Вести о благочестивом человеке, избравшем опасную и скудную жизнь пустынника, разнеслись по округе. Вокруг деревянного домика Сергия выросла маленькая община учеников – всего 12 человек, как апостолов у Христа. В 1354 году епископ Афанасий Волынский поставил Сергия во игумны. Настоятель Свято-Троицкого монастыря на Маковце ввел там общежительный устав, столь необычный на Руси.

Так с маленькой лесной обители началась великая трансформация всего русского монашества. Духовный авторитет Сергия поднялся необыкновенно высоко. Время от времени он покидал свой маленький монастырь и отправлялся в дальние походы, увещевая князей Русской земли отказаться от междоусобных войн. Помимо общины на горе Маковец, Сергей дал жизнь еще Успенскому монастырю у села Стромынь (километрах в тридцати от современного Ногинска) и Благовещенскому – на реке Киржач.

Москва и Маковец – две огненных точки на карте Руси, соединенных тонкой световой линией. Русь униженная, смиренная, сжатая в тисках Божьих кар, к тому времени накопила в себе пыл веры и благодати, достаточный для переплавки старого, изоржавевшего металла в новый, чистый и звонкий. Только пыл этот пребывал в рассеянном состоянии. В одном месте вспыхнул большой огонь – на Маковце. Другое место подняло к нему хорошо просмоленный факел и подняло его высоко – Москва. К факелу отовсюду потянулись, полетели малые огни.

Отсюда, из Троицкой обители, расходятся по всей Северной Руси ученики и духовные соратники Сергия.

Они становятся настоятелями новых монастырей – как в дальних землях незнаемых, так и в красивейших урочищах Московской Руси. Едва заметные лесные тропы, коими прошли одинокие иноки, станут торными дорогами. Узор, выведенный по земляной чаше Руси их стопами, – невидимый, эфирный, – обратится в сеть тонких энергий, не поддающуюся разрушительному воздействию времени, войн и смут.

Список подвижников, засеявших Московскую Русь семенами великого иноческого делания, чрезвычайно велик.

Так, великий светильник русского иночества преподобный Савва основал неподалеку от Звенигорода Саввино-Сторожевский монастырь, который позднее станет знаменитейшим по всему Подмоскovie, помимо лавры самого Сергия.

Преподобный Григорий возглавил коломенскую Старо-Голутвину обитель.

Преподобный Мефодий стоит у истоков Николо-Пешношского монастыря, возникшего неподалеку от Рогачёва.

Преподобного Ферапонта Белозерского древняя Можайская земля вспоминает с благодарностью за прекрасную Лужецкую обитель.

Племянник святого Сергия, преподобный Феодор, заложил Симонов монастырь к югу от Москвы. Позднее он вошел в черту города.

Сергий же благословил князя Владимира Андреевича на строительство Высоцкого Зачатьевского монастыря в Серпухове и дал ему во игумены своего ученика Афанасия, большого «книжника».

По благословению того же Троицкого игумна и по вкладу храброго воеводы князя Дмитрия Боброка-Волынца под Коломной поднялась Богородице-Рождественская Бобренёва обитель.

Как говорил историк Церкви Георгий Петрович Федотов, «Троицкая Лавра... сделалась центром духовного лучеиспускания огромной силы». И впрямь, пути иноков, коих наставлял преподобный Сергий, – словно лучи святости, расходящиеся повсюду от солнца своего, Маковецкой общины.

Одновременно с Сергием во владениях московских князей подвизался воспитанник киево-печерского монашества преподобный Стефан. Этот инок весьма строго следовал монашескому уставу и отличался огромными знаниями. Близ нынешнего города Александрова, в 40 километрах от обители Сергия, он вырастил Стефано-Махрицкую обитель.

После кончины святого Сергия жар раскаленной веры, наполнивший его учеников, а через них и многие иноческие общины Московской Руси, не угас. Духовным водителем еще одного большого учителя иноков, преподобного Пафнутия Боровского, был воспитанник Сергия Радонежского – Никита Серпуховской. По воле Пафнутия появился Боровский Богородице-Рождественский монастырь – новая жемчужина, сияющая благодатью.

Сергий, Алексей, Стефан Махрицкий, Пафнутий Боровский и их ученики превратили Московскую Русь в духовное сердце Руси. Москва сильна была воинственными дружинами, политическим даром своих государей, хозяйственной крепостью, но всё это – слабый строительный раствор. Какие бы «кирпичи» им ни связывали, а постройка выйдет непрочной. Когда же недра Московской земли извергли жаркую лаву иночества, когда дух монашества, самоотверженный и подвижнический, стал растекаться с нею реками и ручьями, тогда вся Русь получила в виде сетки этих пылающих потоков лучшую скрепу изо всех, какие могут существовать.

Только после всего этого Москва в полной мере получила от Господа высокий дар – мыслить и говорить. Ученое монашество создало богатую умственную почву, которая наплатила юный московский разум, дала ему сил оторваться от земли и взлететь.

3

Когда Москва оказалась столицей объединенной Руси, ее государи стали смотреть и на главный город своей державы, и на самих себя совершенно иначе. Иван III величал себя «государем всея Руси», чего прежде не водилось на раздробленных русских землях. При нем введены были в дворцовый обиход пышные византийские ритуалы: вместе с Софией Палеолог в Московское государство приехали знатные люди, помнившие закатное ромейское великолепие и научившие ему подданных Ивана III. Великий князь завел печать с коронованным двуглавым орлом и всадником, поражающим змея.

На рубеже XV и XVI столетий появилось «Сказание о князьях Владимирских» – похвала и оправдание единовластному правлению великих князей московских. «Сказание» вошло в русские летописи и получило в Московском государстве большую популярность. В нем история Московского княжеского дома связана с римским императором Августом: некий легендарный родственник Августа, Прус, был послан править северными землями Империи – на берега Вислы. Позднее потомок Пруса, Рюрик, был приглашен новгородцами на княжение, а от него уже пошел правящий род князей земли Русской. Следовательно, московские Рюриковичи, те же Иван III и его сын Василий III, являются отдаленными потомками римских

императоров, и власть их освящена древней традицией престолонаследия.

Простота сущая? Да. Неправдоподобно? Да. Но ровно та же простота, ровно то же неправдоподобие, каким поклонились и многие династии Европы. Скандинавы свои рода королевские выводили аж от языческих богов. По сравнению с ними наш российский Прус – образец скромности и здравомыслия. Ну да, от императоров. Ну да, право имеем. Ну да, подтвердить нечем. Но у нас – сила. Желающие могут с нею поспорить... хотя бы на тему о Прусе. Пожалуйста. Мощь Москвы времен Ивана Великого позволяла сочинить хоть дюжину прусов – заводя с юной Россией связи, стоило остеречься от поносных слов о подобных персонажах... В ответ «московит» мог привести совсем не тот аргумент, что отыскивается на пергаменных страницах летописей, а тот, что ходит под стягами полковыми.

По тем временам родство от Августа – идеологически сильная конструкция. Пусть и нагло, вызывающе сказочная. Более того, даже хорошо, что сказочная. Дерзость приличествует государственной силе.

Далее, как утверждает «Сказание», византийский император Константин IX Мономах прислал великому князю киевскому Владимиру Мономаху царские регалии: диадему, венец, золотую цепь, сердоликовую шкатулку (чашу?) самого императора Августа, «крест Животворящего Древа» и «порамницу царскую» (бармы). Отсюда делался вывод: «Таковому дарованию не от человек, а Божиим неизреченным судьбам претворяюще и переводяще славу Греческого царства на Российскаго царя. Венчан же бысть тогда в Киеве тем царским венцем во святей великой соборной и апостольской церкви от святейшаго Неофита, митрополита Эфесскаго... И оттоле боговенчаный царь

нарицаешься в Российском царствии». В годы, когда Киевская Русь пребывала под рукой князя Владимира, Византией правил Алексей I Комнин, а Константин Мономах скончался еще в середине XI века. Поэтому вся легенда о византийском даре ныне ставится под сомнение.

Оправданно ли?

Отзвук каких-то реальных событий, связанных с внешней политикой великого князя киевского Владимира Всеволодовича, мог в источниках сохраниться и получить своеобразную трактовку в эпоху Московского царства.

Во-первых, Владимир Мономах, происходящий по материнской линии от византийского императора Константина IX Мономаха, имел шанс унаследовать от матери какие-то предметы, ранее принадлежавшие правителю ромеев (пресловутую «сердоликовую шкатулку», например, уж очень это знаковый предмет, не напрасно он запомнился).

Во-вторых, князь мог получить в дар от Алексея I Комнина некий высокий титул или же драгоценные вещи (в том числе и венец) из императорской казны. А может быть, церковные реликвии. Чрезвычайно оживленные и не всегда мирные связи между Киевской Русью и Византией в эпоху Владимира Мономаха – неоспоримый факт. Дары подобного рода Византия рассылала щедро, не исключая и венцы, притом некоторые из них дошли до наших дней. Отчего ж не отправить их на Русь? В подобном деянии византийской дипломатии нет ничего нелогичного.

Сейчас, конечно, невозможно с точностью определить, какие именно регалии получил Владимир Мономах, и случилось ли это на самом деле. Да и не настолько это важно.

Важнее другое: московский историософ XVI века перебрасывал «мостик царственности» из XII столетия в

современность. Тогда правитель Руси уже имел царское звание? Превосходно! Следовательно, нынешним государям России уместно возобновить царский титул – как и произойдет в 1547 году. Идея *царства, царской власти* медленно, но верно пускала корни в русской почве. Москва начала примерять венец царственного города задолго до того, как сделалась «Порфиноносной» в действительности.

4

Великокняжеские игры с генеалогией намного уступали по смелости, масштабности и глубине тому, что высказали церковные интеллектуалы. Государи обзавелись официальной исторической легендой о собственной династии. Им... хватило.

Но Церковь мыслила на два-три шага дальше.

Ученые монахи-иосифляне первыми начали понимать: Московская Русь – более не задворки христианского мира. Отныне ей и воспринимать себя следует иначе.

Незадолго перед тем произошли события, ошеломительные и для Русской церкви, и для всех образованных людей нашего отечества, и для политической элиты Руси.

Во-первых, благочестивые греки «оскоромились», договорившись с папским престолом об унии в обмен на военную помощь против турок. Митрополит Исидор – пришедший на Московскую кафедру грек, активный сторонник унии, – попытался переменить религиозную жизнь Руси. Очень скоро он очутился под арестом, а потом едва унес ноги из страны.

Во-вторых, Русская церковь стала автокефальной, то есть независимой от Византии.

В-третьих, в 1453 году пал Константинополь, казавшийся незыблемым центром Православной цивилизации.

И все это – на протяжении каких-то полутора десятилетий!

А затем, до начала XVI столетия, государь Иван III превратил крошево удельной Руси в Московское государство – огромное, сильное, небывалое по своему устройству.

На падение Константинополя в Москве, пусть и не сразу, вспомнили таинственные предсказания, издавна приписывавшиеся двум великим людям – Мефодию, епископу Патарскому, а также византийскому императору Льву VI Премудрому, философу и законодателю. Первый погиб мученической смертью в IV веке, второй царствовал в конце IX – начале X столетия. Традиция вкладывала им в уста мрачные пророчества. Христианство, «благочестивый Израиль», незадолго до прихода Антихриста потерпит поражение в борьбе с родом Измаиловым. Племена измаильтян возобладают и захватят землю христиан. Тогда воцарится беззаконие. Однако потом явится некий благочестивый царь, который победит измаильтян, и вера Христова вновь воссияет. С особым вниманием наши книжники вглядывались в слова, где будущее торжество приписывалось не кому-то, а «роду русему».

После 1453 года московские церковные интеллектуалы постепенно приходят к выводу: Константинополь пал – свершилась часть древних пророчеств; но и вторая часть свершится: «Русский род с союзниками (причастниками) ... всего Измаила победит и седьмохолмный [град] примет с прежними законами его и в нем воцарится». А значит, когда-нибудь Москва придет со своими православными полками на турок, разобьет их, освободит от «измаильтян» Константинополь.

Почва московская испускала жаркий сухой свет иноческой жажды всё понимать, всё объяснять, привязывая к Богу. Мысль поднявшейся к державным высотам Москвы постоянно напивалась им и оттого пришла в лихорадочное возбуждение.

Из медленного, но неотвратимого осознания какой-то высокой роли Москвы в искаленном, истекающем кровью мире восточного христианства, из очарования волнующими откровениями тысячелетней давности родился целый «веер» идей, объясняющих судьбу новорожденной державы и его стольного града. Чудесное превращение Московского княжества в единое общерусское государство вызвало у «книжных» людей того времени рассуждения не только о корнях и особой миссии московского княжеского дома. Они мыслили о смысле существования новой державы. Не напрасно же родилась такая мощь! Не напрасно милая лесная дикарка Москва неожиданно для всех оказалась в роли державной владычицы! Не напрасно вышла она из-под иноверного ига как раз в тот момент, когда прочие народы православные в него угодили!

5

Именно тогда появилась книга «Русский Хронограф», составитель которой показал Русь как музыканта, получившего сольную партию в оркестре Православной цивилизации.

В исторической литературе Древней Руси было два основных жанра. Во-первых, всем известная летопись, содержащая сведения о прошлом Руси. Во-вторых, хронограф – едва ли не более популярный у современников, чем летопись, но ныне мало кому известный. Он рассказывал о прошлом всего мира.

Древнейшие русские хронографические памятники – «Хронограф по великому изложению» и другие – включали известия по ветхозаветной истории, евангельский сюжет, кое-какие сведения об античных державах, а также биографию мировой христианской общины. Последняя излагалась в виде череды правлений православных монархов, но далеко не всех. В центре внимания была Византийская империя, затем Болгария и Сербия. Западные державы, в религиозном отношении подчиненные Риму, существовали там лишь в «фоновом режиме», на задворках повествования.

Что же касается Руси, то она вообще не фигурировала в ранних хронографах. Причина проста: сведения по всемирной истории наши книжники брали из византийских и сербских источников. А для Византии и Сербии Русь пребывала на периферии интересов, в тамошних исторических сочинениях ее упоминали мало.

В отечественной исторической мысли столетиями не возникало идеи вписать свою землю и свой народ в судьбу мирового христианства. Отчасти это можно объяснить относительной молодостью Руси как христианской страны. Отчасти же наших книжников завораживал прекрасный мираж Царьграда, который долгое время воспринимался как величайший культурный центр мира. Было очень трудно осознать себя чем-то самостоятельным, пребывая в тени величественной Византии. Русь в хронографах выглядела далеким северным отблеском великой Православной цивилизации. Не более того.

Кроме того, в период ордынского ига и удельной раздробленности требовалось незаурядное умственное усилие, чтобы вообще помыслить страну как единое целое...

Вот почему имя Руси почти не звучит на страницах древних хронографов.

В свою очередь летописцев очень мало интересовало всё находящееся за пределами Руси. Поэтому летопись от начала удельной эпохи до восхода Московской державы несла отпечаток своего рода культурной провинциальности. Летописцы представляли судьбу Руси с необыкновенной тщательностью, но сама мысль соединить летописание и хронографию, вписать Русь как активно действующий субъект в историю Православного мира созревала крайне медленно.

Буря событий, произошедших в середине – второй половине XV века, послужила катализатором.

«Русский Хронограф» составлялся скорее всего в Иосифо-Волоцком монастыре, между 1516 и 1522 годами. Предположительно, его творец – Досифей Топорков, племянник и ученик святого Иосифа Волоцкого. Он являлся убежденным и весьма деятельным иосифлянцем, прославился как крупный церковный писатель, великий знаток книжного слова.

Чтобы получить представление о «Русском Хронографе», надо переплести пальцы правой и левой руки, а потом крепко сжать их. Именно так перемежаются в нем известия мировой и древнерусской истории. Собственно русские известия начинаются со времен Рюрика и первых Рюриковичей – ближе к концу памятника. Но в дальнейшем они присутствуют постоянно и в значительном объеме.

Более ранние хронографы представляют собой набор известий, без особого порядка выписанных из разных источников и собранных подобно нестройной толпе на вечевом «митинге». «Русский Хронограф» – совсем другое дело. Досифей Топорков проводил тщательную литературную обработку его статей, добиваясь единого стиля, гармоничного звучания текста.

На протяжении всего периода с начала XIII и до конца XV столетия повествование о событиях, случившихся в Северо-Восточной Руси, проходит под чередующимися заголовками: то «Великое княжение Русское», то «Великое княжение Московское». В начале XVI века всем ясно: ведущей политической силой на Руси является государь московский, прямой наследник древних князей владимирских, в частности знаменитого Всеволода Большое Гнездо. Конечно, существуют еще независимая Рязань и Литовская Русь, но Москва первенствует самым очевидным образом. Однако в не меньшей степени ясно и другое: ни в XIII столетии, ни в первые десятилетия XIV века она политическим лидером всех русских земель не была.

Таким образом, составитель хронографа показывает: история блистательного ожерелья северных русских городов была преддверием триумфа Москвы и ее великих князей. В 70-х годах XV столетия, при Иване III, возник Московский летописный свод, четко сформулировавший точку зрения государей московских на русскую историю. Он оказал столь сильное влияние на всю последующую историческую мысль России, что даже сейчас авторы учебников, не осознавая того, плывут порой по фарватеру, открытому летописцами Ивана III... В 1495 году появился сокращенный летописный свод, уходящий корнями в этот монументальный памятник. Его-то и использовал Досифей Топорков как главный источник знаний по истории Руси.

Составитель «Русского Хронографа» скорбит о печальной судьбе других православных народов. Они попали под власть турецкого султана. Столь плачевное положение – следствие кары Господней за грехи всей Православной цивилизации. Тут Досифей Топорков не делит православных на греков, сербов, болгар и так далее, оказавшихся «более грешными», и русских, за

которыми числится, как можно было бы подумать, меньшее количество прегрешений. Этого нет и в помине. Виноваты все православные. Он пишет: Господь «...не до конца положил в отчаяние благочестивые царства: если и предаст их неверным, не милуя их, то отмщая наше прегрешение и обращая нас на покаяние. И сего ради оставляет нам семя, да не будем как Содом и не уподобимся Гоморре. Это семя яко искра в пепле – во тьме неверных властей; семя же глаголя – патриаршие, митрополичьи и епископские престолы...». Таким образом, беда греков и южных славян по сути своей – призыв к великому покаянию всех православных. И когда это произойдет, гнев Господень сменится на милость: «Православнии же надежду имеют, что после достаточного наказания нашего согрешения вновь всесильный Господь погребеную, яко в пепле, искру благочестия во тьме злочестивых властей возжет зело и поалит измаильтян злочестивых царства, якоже терние, и просветит свет благочестия и паки возставит благочестие и царя православныя».

Чем же отличается Русь, не только не попавшая под иго османов, но, напротив, относительно недавно освободившаяся от власти ордынцев? Особой государственной силой? Особым благочестием? Особой чистотой веры?

Досифей Топорков не заносится мыслями столь высоко. Более того, он даже не пытается толковать непознаваемую сущность воли Господней, исключившей страну из зоны великого наказания христианских народов. Он лишь подчеркивает сам факт: другие «благочестивые царства» – Византия, Сербия и прочие, – пали, а Русь уцелела. Не вооруженной силой, а молитвой спасена. Древние православные страны «...грех ради наших Божиим попущением безбожнии турки попленили и опустошили, и покорили под свою власть.

Наша же Росийская земля Божиею милостию и молитвами Пречистыя Богородицы и всех святых чудотворцев растет и молодеет, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, дай же расти и младенцы и разширяться и до скончания века».

Тем самым составитель «Русского Хронографа» сообщает соотечественникам: по милости Божией мы освобождены от страшной кары и ныне обрели особенную судьбу – лучше, чем та, что выпала на долю греков и сербов. Сохранение этой особенной судьбы зависит от силы упования на любовь Божию к Руси и от молитв о благом устройении дел ее Высшим Судией. Другого пути нет.

Это значит: Русь оказалась достойна не только войти в компанию великих православных царств, она получила преимущество над всеми ними.

Русь не выглядит чище, благочестивее, высоконравственнее Византии, Сербии или, скажем, Болгарского царства. Нет, вовсе нет. Просто над нею сжалилась Богородица – ведь Москва мыслила себя как «Дом Пречистой Богородицы», а главный собор города освящен был во имя Ее Успения. И это небесное покровительство Пречистой, по словам Досифея Топоркова, не исчезнет «до скончания века» – до Страшного суда.

«Русский Хронограф» приобрел на Руси исключительную популярность. Науке известно о существовании около 130 списков (копий) этого памятника, созданных в XVI, XVII и даже XVIII столетиях! Он мощно повлиял на более поздние русские летописи и хронографы. Немудрено: именно «Русский Хронограф» вывел отечественную историческую мысль с провинциального уровня на мировой. Именно в нем Русь впервые была представлена как великая православная держава.

Идеи мудрых книжников, живших при Иване Великом и его сыне Василии, напоминают зеркала. Молодая Москва, еще не осознавая вполне своей красоты, своего величия, капризно смотрелась то в одно, то в другое, и всё никак не могла решить, где она выглядит лучше.

Самое знаменитое «зеркало», в которое смотрелась тогда Москва, родилось из нескольких строк.

В 1492 году пересчитывалась Пасхалия на новую, восьмую тысячу лет православного летоисчисления от Сотворения мира. Разъясняющий комментарий митрополита Зосимы сопровождал это важное дело. Там об Иване III говорилось как о новом царе Константине, правящем в новом Константинове граде – Москве...

Вот первая искра.

Большое же пламя вспыхнуло в переписке старца псковского Елеазарова монастыря Филофея с государем Василием III и дьяком Мисюрем Мунехиным. Филофеем была высказана концепция Москвы как Третьего Рима. Русский ум воспринял ее с ленцой. И лишь по истечении продолжительного времени его растревожил смысл новой идеи. Надо помнить и понимать: она отнюдь не имела господства над мыслями тогдашнего «образованного класса» и очень долго обреталась на периферии.

Филофей рассматривал Москву как центр мирового христианства, единственное место, где оно сохранилось в чистом, незамутненном виде. Два прежних его центра – Рим и Константинополь (Второй Рим) – пали из-за вероотступничества. Филофей писал: «...все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя по пророческим

книгам, то есть Ромейское царство, поскольку два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть». Иначе говоря, «Ромейское царство» – неразруσιμο, оно просто переместилось на восток и ныне Россия – новая Римская империя. Василия III Филофей именует царем «христиан всей поднебесной». В этой новой чистоте России предстоит возвыситься, когда государи ее «урядят» страну, установив правление справедливое, милосердное, основанное на христианских заповедях. Но более всего Филофей беспокоится не о правах московских правителей на политическое первенство во вселенной христианства, а о сохранении веры в неиспорченном виде, в сбережении последнего средоточия истинного христианства. Его «неразрушимое Ромейское царство» – скорее духовная сущность, нежели государство в привычном значении слова. Роль московского государя в этом контексте – в первую очередь роль хранителя веры. Справятся ли они со столь тяжелой задачей?

По словам историка средневековой русской литературы А. М. Ранчина, у Филофея «...Москва является последним Римом, потому что приблизились последние времена, в преддверии которых число приверженцев истинной веры, согласно Откровению святого Иоанна Богослова, уменьшится. Именно поэтому эстафета передачи метаисторического Ромейского царства уже завершена. Но неизвестно, удастся ли и Москве – Третьему Риму исполнить свою миссию, свое оправдание перед Богом». Филофей, таким образом, вовсе не поет торжественных гимнов молодой державе, он полон тревоги: такая ответственность свалилась на Москву!

Идея Москвы как Третьего Рима долго не получала широкого распространения. Слова, сказанные в «Русском Хронографе», завоевали признание у русских

«книжников» быстро и прочно. А вот рассуждения Филофея не имели равной известности.

Лишь во второй половине XVI века их начинают воспринимать как нечто глубоко родственное московскому государственному строю.

Так, они проникли в величественное сказание о борьбе Москвы с осколками Орды – «Историю о Казанском царстве».

Когда повествователь доходит до победы, одержанной Москвою на Угре, и до запустения Большой Орды, он поет хвалу великому городу, связывая его с иными древними столицами христианских держав. «И тогда великая наша Русская земля освободилась от ярма... и начала обновляться, как бы от зимы на тихую весну прилагаться. И взошла вновь к древнему своему величию и доброте, и благолепию. Как прежде, при великом князе при Владимире преславном, дал ей премилостивый Христос расти как младенцу и увеличиваться, и расширяться и скоро прийти в возраст совершеннолетия... И воссиял ныне стольный преславный град Москва, второй Киев. Не усрамлюсь... назвать ее и Третий новый великий Рим. Просияв в последние лета яко великое солнце в великой нашей Русской земле, во всех градах... и во всех людех страны сея, красуйся и просвещайся святыми многими церквами... яко... небо светится пестрыми звездами, утвержденный православием незыблемо от злых еретиков, возмущающих Церковь Божию!»

При утверждении в Москве патриаршества была составлена «Уложенная грамота». Писавшие ее московские книжники вложили в уста патриарха Иеремии похвалу царю Федору Ивановичу: «Твое... благочестивый царю, Великое Российское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивое царствие в твое воедино собрася, и ты

един под небесем христианский царь именуеши во всей вселенной, во всех христианах...»

Конечно, и сам Иеремия, и всё греческое священноначалие Православного Востока едва-едва познакомилось с московской историософией; вряд ли они разделяли такой взгляд на Москву и Россию; но, во всяком случае, наши интеллектуалы приписали греку идею Москвы – Третьего Рима как нечто само собой разумеющееся.

7

Выше говорилось о «веере» идей.

Вот еще одна его «лопасть».

В допетровской России любили сравнивать Москву с Иерусалимом. Русские книжники и русские власти были твердо уверены: новая русская столица переняла особенную божественную благодать от Иерусалима, который был ею прежде щедро наделен, но впоследствии утратил. Теперь Москва – город городов, огромная чаша, где плещется эта благодать.

Историк искусства А. М. Лидов весьма точно выразился по этому поводу: «Идея о схождении Горнего града, в котором праведники обретут вечную жизнь и спасение, присутствует и в иудаизме, и в исламе. Однако в христианстве она приобрела совершенно особое, исключительно важное звучание – это в некотором смысле основа христианского сознания: обетование и ожидание Нового Иерусалима как конец пути и обретение счастья, гармонии, торжества справедливости. С этой идеей связана традиция перенесения образов Святой земли, попытки воспроизвести то особое сакральное пространство, в котором должно произойти сошествие Небесного града».

Так вот, в Москве желали уподобления Иерусалиму идеальному, образу Небесного Града, запечатленному в Иерусалиме «ветхом», историческом, но лишенному там должного вероисповедного наполнения. Достигнув такого уподобления, став совершенной христианской державой, Россия с Москвой в сердце слилась бы, по представлениям книжников того времени, с небесным прообразом Иерусалима.

Москву уподобляют Иерусалиму в летописях XV века. Святому Петру-митрополиту приписывают пророчество, согласно которому Москва в будущем «наречется Вторым Иерусалимом».

Но чаще всего Москву ведут по пути воиерусалимливания усилия зодчих.

Так, в середине XVI века Кремль украсился храмом Воскресения Христова со звонницей. Церкви дали имя центральной иерусалимской святыни для христиан^[9].

Образ «Второго Иерусалима», города со множеством светлых храмов, отразился в особенном, необычном облике Троицкого храма что на рву – его позднее называли Покровским собором и собором Василия Блаженного.

На рубеже XVI и XVII веков Борис Годунов задумал уподобить Московский Кремль Иерусалиму. Он указал возвести православную «Святая святых», иначе говоря, русский храм Гроба Господня – как во Святой земле. Началось строительство; но смерть царя остановила воплощение дивного замысла, а разгорающийся пожар Смуты лишил его малейшей возможности счастливо завершиться.

В середине XVII столетия патриарх Никон выстроил под Москвой величественный Новоиерусалимский монастырь, все главные постройки которого символизируют места и здания в Иерусалиме-первом, связанные с евангельской историей.

Прежде всего, Никон начал возводить подобие Иерусалимского храма Гроба Господня, или, иначе, храма Воскресения Господня. Каждая постройка, каждая деталь оформления новой обители соответствовали реалиям пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме и расположению иерусалимских святынь – как его представляли себе в России XVII столетия. В соборе воспроизведены священные подобиya горы Голгофы, «пещеры» Гроба Господня, места трехдневного погребения и Воскресения Христа. Новоиерусалимский Воскресенский собор строился по разборной модели храма Гроба Господня из кипариса, слоновой кости и перламутра. Ее доставил в Москву патриарх Иерусалимский Паисий. А иеромонах Арсений специально произвел обмеры храма в Иерусалиме. Однако Новоиерусалимская церковь отнюдь не стала точной копией храма Гроба Господня. Она не являлась таковой даже в планах. В конце концов храм Гроба Господня представляет собой хаотичное наложение разновременных зданий и пристроек. Возводя свою «версию», наши зодчие приспосабливали архитектурные формы всемирно известной постройки к русским обычаям, улучшали, модернизировали, добивались единства стиля. Подмосковный собор должен был выглядеть лучше «протографа». И в эстетическом смысле он действительно превосходит свой образец.

Вся местность вокруг обители наполнилась евангельской символикой. Холм, на котором воздвигали собор, называли Сионом, а соседние холмы – Елеоном и Фавором. Ближайшие села обрели названия Назарет и Капернаум. Даже подмосковная речка Истра – там, где она протекала по монастырским владениям, – стала именоваться Иорданом. А ручей, обтекающий монастырский холм, превратился в Кедронский поток.

В создании Новоиерусалимской обители отразилась идея, близкая московским интеллектуалам еще с рубежа XV–XVI столетий, со времен Ивана III: действительная сила Православного мира постепенно уходит от греческого священноначалия и сосредоточивается в Москве.

Многочисленные греческие патриархи, митрополиты и прочие архиереи обладают превосходными библиотеками, умирающей, но все еще сносной системой училищ и большим духовным авторитетом. Однако они пребывают под гнетом турок-османов, поддаются влиянию Римско-католической церкви, они просто очень бедны, наконец. А Москва богата и независима. Москва спасает греческих архиереев и греческие монастыри от нищеты. Центр православного мира должен переместиться сюда! Соответственная «великая идея», или, вернее, целая интеллектуальная программа, получила выражение в камне.

Новый Иерусалим под Москвой – символический перенос духовного центра православия на новое место. Он словно извещал весь Православный Восток: благодать отошла от древних городов и ныне почиет на землях московских.

8

Имелся во всей этой историософии один изъян.

Русский паломник шел в Царьград или на Святую землю, томимый жаждой облобызать древние святыни, помолиться у чудотворных икон, отстоять службы в храмах, которые старше самой Руси. Тамошние власти его интересовали очень мало. Что такое император византийский в конце XIV века? Фигура слабая, небогатая, великому князю московскому не чета. А уж для XV века и сравнения быть не может! Слишком оно,

это сравнение, окажется не в пользу рассеивающегося цареградского миража. Но вот святыни – это серьезно. Их сила и слава не ослабевают.

В понимании нашего церковного мудреца, Москва как новый Рим или новый Иерусалим должна была превратиться в такое же скопище святынь, как столица василевсов и столица древнего Израиля. Станет она такую – чего ж еще желать? Теперь и ездить не надо в такую даль – всё будет под боком!

Подобное понимание в каком-то смысле абсурдно. Нынешний Лондон становится известен большинству российских школьников по знаменитому учебному тексту, где сказано, что сей город – The Capital of The Great Britain, – средоточие «контрастов» и обиталище Тауэра, Биг-Бена, Трафальгарской площади. Допустим, кто-то назовет Москву «новым Лондоном». Сам того не понимая, он попытается произвести в умах миллионов людей, когда-то проходивших оный текст, странную метаморфозу. «А что, Тауэр и Биг-Бен к нам тоже перенесут?»

Умы сопротивляются...

Вот и в XVI веке коллективный разум русского интеллигентства, как видно, гордись новой ролью Москвы, отчего-то... противился ей. Третий Рим? Второй Иерусалим? Отчего ж, красиво! Но как-то... не на первом месте.

9

В 1560-х годах возникает грандиозный памятник богословско-исторической мысли – Степенная книга. Там русская история изложена по «граням» (степеням) «царского родословия» – от правителя к правителю. Россия показана как Новый Израиль, а подданные московского государя как народ богоизбранный,

который когда-нибудь освободит Константинополь, низвергнув силу ислама.

Степенная книга – венец размышления Москвы о себе. То, что в ней сказано, определит будущий московский миф надолго. Известно полторы сотни рукописных копий ее! Это при поистине титаническом объеме... Степенную книгу почитали в допетровской России. Ее, конечно, дописывали, развивали, кое в чем исправляли, но прежде всего – именно почитали, обращались к ней как к истине, соединившей правду веры и правду действительных исторических событий.

Что в ней такое Москва?

Прежде всего, оплот царственности.

Церковные интеллектуалы, составлявшие Степенную книгу, четко провели идею «трансляции царства». Иными словами, перехода с течением времени центра русской державности от одного города к другому. В самом начале эта идея высказана с полной ясностью: «От Рюрика начася державство в Новеграде. От Игоря же сына его – в Киеве и до Всеволода Юрьевича державствоваху; от них же вси страны трепетаху, ближнии и дальнии; и сами гречестии царие вси повиновахуся им; Угрове и Чахи, и Ляхи, и Ятвяги, и Литва, и Немцы, и Чюдь, и Корела, и Устюг, и обои Болгары, Буртасы и Черкаussy, Мордва и Черемиса, и сами Половцы дань даяху и мосты мостяху; Литва же тогда бояхуся и из лесов выницати... От Всеволода же Юрьевича и до Данила Александровича в Владимери державствоваху. От Данила же на Москве Богом утверждено бысть царствие русских государей».

Москва как крепость – дитя Суздаля. Она стояла на страже Суздальской земли, она облеклась в одеяние из прочных стен и высоких башен по воле Юрия Долгорукого, государя суздальского. Но Москва как царственный город, как Порфирогенита – дочь

Владимира и от него приняла венец державного первенства.

Степенная книга с большим разбором называет кое-кого из правителей Руси «самодержцами»: Владимира Святого – да, Всеволода Ярославича – да, Святослава Ярославича – нет, Святополка Изяславича – нет, Юрия Долгорукого – нет. А вот его отца Владимира Мономаха – да. И, далее, после Юрия Долгорукого, – самых достойных из рода Владимира Мономаха, к которому принадлежал, кстати, и Московский княжеский дом.

Всеволода Большое Гнездо Степенная книга твердо именует «самодержцем всей Русской земли». Он правит «скипетром Русского царствия». Он завещает наследникам «Владимирское скипетродержавие». Но уже и об Андрее Боголюбском сказано, что он самодержавствовал «...в Суждальской земле, в преименитом граде Владимире».

Даниил Московский, родоначальник московского княжеского семейства, предстает как человек, избранный Богом для особого служения. «Сего блаженного великого князя Данила храняй Господь от пелен матерних... Сего блаженного Данила избра Бог и возрасти и снабде нератуема ни от кого же; ему же и поручено бысть в наследие богоснабдимое державство преименитого града Москвы, его же и праведное семя возлюби Бог и прослави, наипаче же благоволи царствовать в роды и роды».

А великого князя Василия III Степенная книга прямо именует «царем». Хотя и иносказательно, как «царя над страстями», но все же именно царя, – пусть формально, по титулу, пока еще великого князя.

Чего же больше в Степенной книге? Глядясь в зеркала истории, видит ли Москва себя в одеяниях «Третьего Рима»? Или, может быть, «Второго Иерусалима»?

По капельке в Степенной книге можно отыскать и то, и другое. Но над всеми этими «капельками» преобладает ливень совершенно другого мифа. А именно того, который уходил корнями в древнерусскую реальность, а не в византийскую. Родное возобладало.

Что такое Новгород Великий? Дом святой Софии.

Что такое Псков? Дом святой Троицы.

Что такое Тверь? Дом Спасителя.

В эпоху удельной старины всякая земля выбирала себе небесное покровительство и выражала его в освящении главного храма всей области. А потом держалась за это покровительство с необыкновенной цепкостью.

К Москве «царственность» перешла от Владимира. А Владимир имел небесной покровительницей Пречистую Богородицу. Степенная книга проводит эту мысль без малейшего сомнения, без малейшей оговорки. Собственно, вся «царственность» самого Владимира началась с «путешествия» Пречистой из Киевской земли в дальний лесной край, на Клязьму. После рассказа о смерти Юрия Долгорукого и о последовавшей за нею междоусобной борьбе за Киев сказано: «Начало Владимирского самодержавства: уже тогда киевские великие князи подручни были владимирским самодержцам. Во град ибо Владимир тогда начальство утверждашеся пришествием чудотворного образа Богоматери. С ним же прииде из Вышеграда великий князь Андрей Георгиевич и державствова». Андрей Боголюбский действительно привез с Киевщины чудотворную икону Богородицы. Для московского «книжника» середины XVI века ясно без комментариев: с иконой-то утекла оттуда и вся державная сила. Ушедшая икона явилась знаком возобладания Севера над Югом.

Для Москвы времен Ивана Калиты покровительство Пречистой – дело очевидное. Оно связано с личностью

св. Петра-митрополита. Святитель когда-то, задолго до восхождения на степень главы Русской церкви, написал образ Богородицы и удостоился особых милостей от Нее.

Да и похоронен Петр в храме Успения Пречистой, т. е. в месте, которое освящено во имя его небесной покровительницы. О строительстве храма он сам попросил Ивана Калиту: «Если меня, сыну, послушаешь и храм Пречистой Богородицы воздвигнешь во своем граде, и сам прославишься паче иных князей, и сыновья твои, и внуки из поколения в поколение. И град прославлен будет во всех градах русских, и святители поживут в нем, и въздут руки его на плеча враг его, и прославится Бог в нем».

Чего ж яснее?

Главный храм Москвы, а вместе с тем и всей области Московской, – Успенский, тот, что возник на древнем Боровицком холме. А значит, *Москва – Дом Пречистой*.

Русский хронограф за полстолетия до Степенной книги объявил об этом небесном покровительстве. Составители же Степенной книги развили идею Досифея Топоркова до совершенства. Они множили и множили примеры нерасторжимой связи между Царицей Небесной и царственным градом. Для читателя эта связь подана как нечто само собой разумеющееся.

В 1380 году Дмитрий Иванович, собираясь на Мамай, долго молится именно Пречистой, у нее просит помощи даже более, чем у самого Господа. Проходя через Коломну, он опять возносит моления в Богородичной церкви.

В 1395 году именно заступничество Пречистой, произошедшее через ее чудотворную икону, привезенную в Москву, воспринималось как причина скорого ухода Тамерлановых орд из страны. Степенная книга прямо сообщает: Богородица «устрашила»

завоевателя и тем дала «избавление» Руси от его нашествия.

Время Василия I вообще наполнено постоянным «диалогом» со святой заступницей.

Под 1403 или 1404 годом летописи сообщают о небесном знамении – троении солнечного диска. Оттуда известие переключалось в Степенную книгу. Четырьмя годами позднее в Москве замечают чудесное исхождение мира от Богородичной иконы, доставленной митрополитом Пименом из Константинополя. В Степенной книге делается вывод: «Это Всесильный Бог Своєю... божественною святынею и многими чудесными знаменьями всюду прославляя Свое Трисвятое имя Отца и Сына, и Святого Духа, наипаче же *снабдевая Свое святое избранное достояние великия державы, иже на Москве всего Росийскаго царствия* (курсив мой. – Д. В.), в нем же утверждая непоколебимо истинное благочестие и всяческих еретических смущений невреждимо соблюдая и от находящих врагов всячески защищая и от всяких бед милосердно избавляя и на супротивныя победы даруя». Еще шесть лет спустя в Можайске был обретен чудотворный образ Богородицы Колоцкой. Чуть ранее на Пахре Богородичная икона источила кровь...

В 1480 году, после победоносного «Стояния на Угре», Москва устанавливает ежегодный крестный ход на 23 июня – во имя Пречистой Богородицы и в благодарение Ей.

Весной 1547 года Москва терпит страшный урон от большого пожара. Когда Владимирскую икону Пречистой пытаются вынести из Успенского собора, она не двигается с места. Более того, она оказывает спасительное воздействие от бушующего пламени. Степенная книга объясняет: «Ибо сама Богомати сохраняя... и соблюдая не токмо Свой пресвятой образ и

всю Церковь, но и всего мира покрывая и защищая от всякого зла».

Чрез иконы Пречистой Москве по всякий важный случай бывают знамения и чудеса; Богородица как будто водительство своей землей...

Для образованного русского наших дней, если он придерживается русской же культурной почвы, мысли о Москве как «Третьем Риме» и «Втором Иерусалиме» драгоценны. Коренная, святая, хлебная, державная Русь пребывает в тесном родстве с ними. И в них же часто видят суть того восприятия Москвы самой себя, всей Россией, да и соседями, которое сформулировали наши «книжники».

Но нет, нет! Правды тут никакой. Эти идеи когда-то будоражили умы старомосковского общества. Они нравились то больше, то меньше, ими играли, их ценили, к ним относились с уважением. А всё же... первенство оставалось отнюдь не за ними.

Суть первого и самого сильного московского мифа совершенно другая. Москва прежде всего – Дом Пречистой Богородицы, а уж потом «Третий Рим» и далее по списку. Без Небесной Заступницы не было бы и не будет в Великом городе никакой «царственности». Всё – от Нее. Всё – через Нее. Прочее же – прекрасное умствование.

Образ Дома Пречистой порожден той раскаленной лавой иноческого подвижничества, которая разливалась по сосудам Московской Руси со времен Сергия. И ничего лучше, возвышеннее, правдивее этого до сих пор о Москве не сказано.

Путем покаяния. Москва в Смутное время

[\[10\]](#)

В XVI веке Москва приняла на себя прекрасное, но тяжкое бремя. Город получил имена Второго Иерусалима и Третьего Рима. В нем появился собственный царь и собственный патриарх. Над кремлевскими зубцами засиял невидимый венец столицы восточного христианства. К исходу века на русский престол сел монарх-чудотворец Федор Иванович.

Москва осознанно поднялась на немыслимую доселе высоту. И государи наши, и архиереи, и книжные люди понимали, сколь высокое предназначение выпало на долю города.

Громадный и обременительный дар царственной высоты на первых порах нашел для себя лишь одну подпорку – русскую государственную мощь. А этого явно недостаточно. Для того чтобы удержать его, требовались и благочестие, и смирение, и самоограничение, и христианское просвещение, и христианское нравственное очищение. Россия встала на этот путь, но первые шаги делала беззаботно и легкомысленно, не требуя от себя многого.

Подобная нетребовательность привела Москву со всею страной к чудовищному падению. Правящий класс России – «мужи брани и совета» – оказался слишком падким на соблазны, чтобы достойно стоять на такой высоте. Слишком легко поддавался он властолюбию и корысти. Слишком мало в нем оказалось способности смиренно служить государю и земле. Древние родовые традиции столкнулись с новой священной сутью

государственного строя. А по неписаным законам мироустройства, чем больше упорствовала родовая знать в гордыне и самовольстве, тем более тяжкие испытания она навлекала на свою голову... а вместе с тем и на всю землю.

История бедствий, обрушившихся на Москву, имеет помимо материальной еще и мистическую сторону. Великий город видел, как наполнялась и как переполнилась чаша грехов. Как опрокинулась она. Как попытался наш народ наспех исправить дело. И сколь тяжелым, сколь жертвенным в конце концов оказался путь к покаянию, к «исправлению ума»...

Осенью 1604 года на земле Российской державы появился самозванец, назвавший себя царевичем Дмитрием Ивановичем. Настоящий царевич погиб за тринадцать лет до того. Смехотворные претензии ложного царского сына неожиданно запалили фитиль долгой и страшной войны.

Началась Смута.

Политический строй Московского государства обладал колоссальной прочностью и сопротивляемостью к внешним воздействиям. Но Смута начиналась изнутри. Самозванец, объявивший себя наследником русского государя, хотя и получал поддержку поляков, а все же ничего не сумел бы совершить в России, если бы не внутренняя трещина, легшая поперек государственного устройства.

Русская монархия на протяжении полутора веков пребывала в стабильном, устойчивом состоянии. Престол переходил от отца к сыну в династии Даниловичей – московском ответвлении древнего дома Рюриковичей. Механизм престолонаследия устоялся. Монаршая власть передавалась по праву крови, а ее

священное значение Церковь закрепила обрядом венчания на царство.

И вдруг кровь... иссякла. В 1598 году умер государь Федор Иванович. Он пережил своего единственного ребенка – дочь Феодосию – и младшего брата, царевича Дмитрия.

На трон взошел государь Борис Федорович из старомосковского рода Годуновых, шурин Федора Ивановича. Его возвели на престол решением Земского собора, благословением патриарха Иова и волею державной сестры.

Знатные люди Московского государства косо смотрели на такого царя. Пусть он даровитый политик, пусть он умелый дипломат, пусть он показал свою силу, перелаывая хребты древней аристократии. Но... не по праву он на троне, и тем плох.

Почему?

Никакая политическая мудрость, никакая сила не исправит государю Борису Федоровичу его кровь. А по крови он, хоть и царский шурин, но из второстепенного рода. Не погибни младший брат царя Федора Ивановича, не скончался государева дочь – не видать Борису Годунову престола как своих ушей. Однако и после их смерти в Москве оставалось достаточно аристократов, имевших больше прав на престол, чем Годунов. К тому же в нем подозревали убийцу государева брата – царевича Дмитрия, а порой и самого царя Федора Ивановича.

Да, Борис Федорович, восходя на трон, получил санкцию от Земского собора и благословение от Церкви в лице патриарха Иова. Но как только появился Лжедмитрий I, все эти удерживающие скрепы посыпались трухой. Города, земли и знатные дворяне принялись сдаваться самозванцу, а то и открыто переходить на его сторону.

По неписаным законам Московского царства кровь значила исключительно много. И кровь Годунова оказалась слишком низкой для роли монарха. Несколько десятков русских вельмож твердо знали: они знатнее Годунова. Они знатнее кого угодно в роду Годуновых.

Плещеевы, Романовы, Шереметевы, Головины – выше.

Князья Пронские, Воротынские, Мстиславские, Шуйские, Голицыны, Трубецкие – выше.

А если присмотреться, то сыщется множество не столь именитых семейств, которые также возвышались над Годуновыми по «отечеству» своему. И подчиняться человеку низкой крови для них *неудобно*.

Поэтому, когда над Годуновыми нависла опасность, многие русские аристократы вздохнули с надеждой: авось падет Борис Федорович со всеми близкими его, и это неестественное положение исчезнет.

Сам Годунов еще мог сдерживать натиск самозванца. Но он скончался в разгар боевых действий, а род его защитить себя не сумел и подвергся уничтожению.

Лжедмитрий I вошел в Москву.

Большая часть русского общества приняла Расстригу как царевича Дмитрия, действительного сына царского. Это для нас он Лжедмитрий. А тогда подавляющее большинство русских восприняло историю с его чудесным «воскрешением» и восшествием на престол как восстановление правды самим Господом. Эйфорическое отношение к «государю Дмитрию Ивановичу» продержалось довольно долго. Отрезвление наступило не скоро и не у всех.

Лояльность в отношении Лжедмитрия питалась и неприязненным отношением к Борису Годунову. «Спасшемся царевичу» поверили, поскольку очень многие были недовольны предыдущим правлением. «Низвержение династии Годуновых и Патриарха Иова, –

пишет современный историк Василий Ульяновский, – осуществлял не Самозванец. Оно происходило до его вступления в Москву. Действовали подданные царя Бориса и паства Патриарха... Низвержение Годуновых, целый поэтапный церемониал (античин) их уничтожения был как бы символическим действием делегитимизации их “царства”... При этом руками подданных вершилась Божия кара “неправому царству”. Низложение Иова составляло к этому как бы парный обряд лишения священства того первоиерарха Церкви, который подал освящение (помазание) “неправому царству”»^[11]. Русская знать и русское дворянство в подавляющем большинстве своем приняли Лжедмитрия. Служить ему не считалось зазорным.

И он бы мог продержаться у власти весьма долго, если бы не два «но».

Во-первых, Москва не желала видеть у власти католиков. Столица восточного православия никак, ни при каких условиях не могла напитать сердце свое «латынством». Во-вторых, Москва – город, собиравший Русь, не мог управляться людьми нерусскими. Между тем супругу Лжедмитрия, католичку Марину Мнишек, венчали на царство как равноправную с мужем государыню... Терпеть поляков в Москве и служить царице-польке Марине Мнишек не стали.

Лжедмитрий пал, воцарился Шуйский.

Идея самозванчества имела губительную притягательность для русского общества. На смену Лжедмитрию I и его «воеводе Болотникову» скоро явился новый мятежник, принявший ложное имя «царя Дмитрия Ивановича».

Отчего воцарение природного русского аристократа, высокородного Рюриковича Шуйского не

успокоило Россию? Отчего страна с такой легкостью поднялась на новые бунты?

Трудно представить себе, что русское общество столь долго обманывалось насчет самозванцев и добросовестно верило в очередное «чудесное спасение» Дмитрия. Некоторые – возможно. Огромная масса – вряд ли... Имя царя, уничтожившего род Годуновых, имело большую притягательную силу, но со временем все меньше в этой притягательности сохранялось небесного, сакрального, и всё больше – сатанинского, соблазнительного. Люди с мятежными устремлениями жаждали получить нового «Дмитрия Ивановича», дабы именем его творить бесчинства и добиваться власти. Россия наполнилась самозванцами. Лжедмитрии, попавшие на страницы учебников, далеко не исчерпывают страшного русского увлечения безжалостным авантюризмом под маскою «восстановления справедливости». Новых «царей» и «царевичей» лепила свита, выпекала бунташная толпа, а подавали к столу отчаянные честолюбцы. Немногие из них правдиво заблуждались. Большинство цинично искало своей корысти.

При Василии Шуйском оставались в действии серьезные причины для всеобщего кипения в русском котле.

Смерть Лжедмитрия I ослабила иноземный элемент в столице, но никак не решила проблем, связанных с состоянием военно-служилого класса России. Шуйский смотрелся на троне «честнее» Годунова. Тот поднялся из московской знати второго сорта, если не третьего, а Шуйские всегда стояли на самом верху ее. Но Василий Иванович был *одним из аристократов*, и он привел к власти *одну из партий* придворной знати. Другие партии не видели для себя никакого улучшения. Что для них Шуйский? Свой, великий человек, однако... *равный* прочим «столпам царства», знатнейшим

князьям и боярам. Отчего же именно ему быть *первым среди равных*? Князь Федор Иванович Мстиславский еще, пожалуй, повыше станет, если посчитать по местническим «случаям». А может, и князь Василий Васильевич Голицын. И Черкасские... и Трубецкие где-то рядом... и Романовы... и... Н-да.

Московское государство было до отказа набито умной, храброй, неплохо образованной и яростно честолюбивой знатью. Политические амбиции были у нее в крови, витальной энергии хватало на десяток царств. Русская держава долгое время сдерживала горячий пар боярского властолюбия, распиравший ее изнутри. Но Борис Годунов, при всех его неординарных политических достоинствах, *проделал в сдерживающей поверхности слишком большую дыру* – указал путь к трону, личным примером «разрешил» рваться к нему без разбора средств... Теперь никакая сила не могла заделать отверстие, оно только расширялось. Каждый новый царь, будь он стократ знатнее Годунова, вызывал у больших вельмож страшный вопрос: «Почему не я?» И коллективное сознание русской знати не знало ответа на этот вопрос.

А снизу, из провинции, шел еще один поток раскаленного честолюбия. Провинциальное дворянство наше еще со времен царя Федора Ивановича было прочно заперто на нижних ступенях служилой лестницы. Никакого хода вверх! Там, наверху, – «родословные люди», их и без того очень много, им самим места не хватает. Семьдесят-восемьдесят родов делят меж собою лучшие чины и должности, еще сотня родов подбирает менее значимые, но всё же «честные» назначения, а остальным – что? Дырку от московской баранки! Эй, господа великородные бояре! – словно кричали аристократам снизу. – Да к чему нам ваша местническая иерархия? Какая нам от нее польза? А не пощекотать ли ее ножичком? Авось, выйдет дырочка, а

в ту дырочку войдут люди храбрые, служильцы искусные из дальних городов. Дайте нам московского хлебушка! Нет у нас ни крошечки от сладких пирогов воеводских да думных, так дайте же, дайте, дайте! И шел русский дворянин к Ивану Болотникову, и шел к Истоме Пашкову, и шел к иным «полевым командирам» Великой смуты, осененным «святым» именем «царя Дмитрия Ивановича». Не крестьяне и не казаки составляли основную силу повстанческих армий ранней Смуты, нет. Служилый человек по отчеству шел из дальнего города к Москве, желая силой оружия вырвать повышение по службе, закрытое для него обычаями прежней служилой системы.

При начале Смуты пал великий сакральный идеал Русского царства. Было оно Третьим Римом, Вторым Иерусалимом, а стало Вавилонскою блудней!

Власть государя для всего народа, кроме, быть может, высшего слоя знати, долгое время окружена была священной стеной почтительного отношения. Монарх парил над подданными, монарх был в первую очередь защитником христианства, главным соработником Церкви в великом православном делании, справедливым судьей, Божьим слугой на Русской земле. Старая смута середины XV века, когда князья московского дома грызли друг друга, подобно волкам, давно забылась. Но запах новой смуты появился в Московском государстве после того, как у подножия трона началась неприглядная суэта. Странная смерть царевича Дмитрия, о которой глава следственной комиссии князь Василий Иванович Шуйский трижды говорил разные вещи: то «несчастный случай», то «чудесное спасение», то «убиен от Годуновых». Странное восшествие на престол царя Бориса. Ну не та у него была кровь! И мнение всей земли, высказанное на Земском соборе, оказалось недостаточным аргументом против смутных настроений. Восстание

Расстриги. Убиение царского сына и невенчанного царя Федора Борисовича. А потом и убийство самого Лжедмитрия I. Да кем бы он ни был, а Церковь венчала его как законного государя, и, стало быть, погубление самозванца – преступление против Церкви. Подлая суэта, связанная с прекращением старой династии московских Рюриковичей-Даниловичей, а также совершенные ради трона преступления донельзя опустили и сакральность царской власти, и общественный идеал верного служения государю. Еще он сохранялся, но сильно обветшал. Общество чем дальше, тем сильнее развращалось. Соображения простой личной пользы все больше побеждали долг и веру как традиционные основы русской жизни...

Государя Василия Ивановича ждало одно только усиление источников Смуты. Он вышел на неравную борьбу.

Лжедмитрий II, разбив армию Василия Шуйского, летом 1608 года подошел к Москве и осадил ее. По своему лагерю, располагавшемуся в Тушине, он получил прозвище «тушинский вор».

На подступах к столице шли кровавые столкновения. Бой следовал за боем. Из подмосковного лагеря отряды «тушинского вора» расползались по всей России. Они несли с собой имя Дмитрия – то ли живого, то ли мертвого, Бог весть... И это страшное имя действовало как искра, упавшая на сухую траву. Тут и там разгорались малые бунты. Два десятка городов – Псков, Вологда, Муром, залесские и поволжские области – присягнули на верность Лжедмитрию II. Польские отряды, казачьи шайки, группы недовольного Шуйским провинциального русского дворянства и всякий случайный сброд пополняли его воинство.

Высокородная московская знать, почуяв за тушинским «цариком» силу, принялась «перелетать»

к нему. А за нею потянулись дворяне, дьяки, придворные разных чинов.

Царю Василию Ивановичу с каждой неделей становилось всё труднее находить преданных военачальников и администраторов. Наказывая кого-то за явные оплошности, прямое неповиновение или же за отступления от закона, царь мог завтра не досчитаться еще одной персоны в лагере своих сторонников. Не наказывая и даже даруя самое милостивое жалованье, государь все равно имел шанс нарваться на очередной «перелет»: в Тушине обещали многое, а служба законному монарху стала рискованным делом... Того и гляди войдет «царик» в Кремль, ссадит Шуйского, а верным его служильцам посшибает головы!

В ту пору «изменный обычай» привился к русской знати. Многими нарушение присяги воспринималось теперь как невеликий грех. О легкой простуде беспокоились больше, нежели о крестном целовании. То развращение, о котором говорилось выше, с особенной силой развивалось в верхних слоях русского общества.

Летописец с горечью пишет: государю пришлось заново приводить своих подданных к присяге, но очень скоро о ней забывали: «Царь... Василий, видя на себя гнев Божий и на все православное христианство, нача осаду крепити [в Москве] и говорити ратным людем, хто хочет сидеть в Московском государстве, и те целовали крест; а кои не похотят в осаде сидеть, ехати из Москвы не бегом (т. е. не украдкой, а открыто. – Д. В.). Все же начаша крест целовати, что хотяху все помереть за дом Пречистые Богородицы в Московском государстве, и поцеловали крест. На завтрее же и на третий день и в иные дни многие, не помня крестного целования и обещания своего к Богу, отъезжали к Вору в Тушино: боярские дети, стольники, и стряпчие, и дворяня московские, и жильцы, и дьяки, и подьячие...»^[12]

Правление Шуйского – время, когда верность оказалась вещью неудобной и стеснительной. Но за Шуйского еще стояли многие, Смута не сразу до такой степени развратила умы, чтобы измена, комфортная и прибыльная, сделалась нормой. Изменять стало легче, укоры за измену слышались реже, но «прямая» и честная служба все еще оставалась для многих идеалом.

В том-то и состоит значение тех лет, когда правил Шуйский! Государя Василия Ивановича ругали современники, скверно отзывались о нем и потомки. Но он был последним, кто отчаянно стоял за сохранение старого русского порядка. При нем еще жило Московское государство, каким создал его величественный XVI век, – с твердо определенными обычаями и отношениями меж разными группами людей, с прочной верой, со строго установленными правилами службы, с почтением к Церкви, с фигурой государя, высоко вознесенной над подданными. Этот порядок, истерзанный, покалеченный, со страшно кровоточащими ранами, все же находил себе защитников. Сам царь, интриган и лукавец, проявлял недюжинный ум, энергию и отвагу, отстаивая его. Может быть, твердость Шуйского, не до конца оцененная по сию пору, оказалась тем фундаментом, без которого выход из Смуты был бы найден позднее и при больших потерях. А то и не был бы найден вовсе... Шуйский отчаянными усилиями очень долго задерживал Россию на краю пропасти. Он хранил то, что его же знать беречь уже не хотела. И его твердость многих воодушевляла.

Пока царь стоит под стягом, сражение еще не проиграно...

Василий Иванович был «выкликнут» на царство группой его сторонников после свержения

Лжедмитрия I. Его венчал на царство не патриарх, а всего лишь один из архиереев – по разным данным, то ли митрополит Новгородский, то ли митрополии Казанский. Он не мог решить проблем, стоящих перед страной, поскольку решением их могло стать лишь ужасающее кровопускание, смерть крови буйной и мятежной, в изобилии текущей по сосудам страны, да еще покаяние народа в грехах с последующей переменой ума. Но он был – прямой царь, делавший то, что и положено делать русскому православному государю. Его поддерживала Церковь – в том числе святой Гермоген, патриарх Московский. Василий Иванович происходил из семейства своего рода «принцев крови», занимавших очень высокое место при дворе московских государей, поэтому его претензия на престол была полностью обоснованной. Притом безо всякой санкции земского собора. Он знал, что все самозванцы – липовые, поскольку видел когда-то труп истинного царевича Дмитрия. Он дрался с самозванцами и поддерживающими их поляками. Он делал правильное дело, хотя и делал его с необыкновенной жестокостью. Впрочем, делать его в ту пору иначе было до крайности трудно...

В таких условиях стоять за царя означало стоять за старый порядок. По большому счету вообще за порядок. И это – нормальный человеческий выбор.

В 1609 году польский король Сигизмунд III открыто вторгся на русские земли и осадил Смоленск. Воевода смоленский Михаил Борисович Шеин стойко держал оборону от поляков, отбивал их приступы.

На помощь Шеину из Москвы отправилась рать под общим командованием князя Дмитрия Ивановича Шуйского с приданными ей отрядами западноевропейских наемников. 24 июня под Клушином ее постигла настоящая военная катастрофа. После

Клушинского поражения пали Можайск, Борисов, Верея и Руза.

Государь Василий Иванович лишился армии. Более того, он утратил всякий авторитет. Смутное время утвердило в умах людей странное, нехристианское представление об особой удаче общественного лидера или же об отсутствии этой удачи – словно они даются не силой личности и не милостью Божьей, а являются каким-то химическим свойством вожака. Люди вернулись к древним, почти первобытным идеям о достоинствах правителей. Так вот, новое поражение Шуйского одни сочли признаком неправоты его дела перед лицом сил небесных, другие – утратой «химической» удачи. Ну а третьи... третьи просто увидели в материальной слабости правительства повод для переворота.

В июле 1610 года совершилось восстание против монарха. «И собрались разные люди царствующего града, – пишет русский книжник того времени, – и пришли на государев двор и провозгласили: “Пусть-де отобрана будет царская власть у царя Василия, поскольку он кровопийца, все подданные за него от меча погибли, и города разрушены, и все Российское государство пришло в запустение”»^[13]. Ну, разумеется. А еще его некому охранять, поскольку воинство его разбито, и, следовательно, можно над ним как угодно изгаляться.

Государя ссадили с престола, затем попытались принудить его к пострижению во инок. Вскоре законного русского царя Василия Ивановича передали в руки его врагов, поляков.

Два с лишним года в плену томился он сам и его семейство. Осенью 1612-го Василий Шуйский и брат его Дмитрий с супругой Екатериной ушли из жизни с подозрительной стремительностью... Девять лет спустя

в Россию вернется лишь князь Иван Иванович Шуйский-Пуговка, не являвшийся ни крупным политическим деятелем, ни крупным полководцем. Младший брат единственного московского государя из династии Шуйских претендовать на царство уже не смел...

В отношении Василия Шуйского русской знатью и русским дворянством было совершено чудовищное преступление.

Это злодеяние показало, каких глубин достигло духовное разращение московского общества. Царя принудили «положить посох» те, кто давал ему присягу. Свергая законного монарха с престола, они даже не успели договориться о кандидатуре его преемника. После Шуйского политическая система России оказалась обезглавленной. Кое-кто из заговорщиков мечтал лично занять московский престол, кое-кто симпатизировал Лжедмитрию II, и очень влиятельная партия желала сделать русским царем польского королевича Владислава. Это означает, что наша политическая элита, по сути, обратилась в свору собак, недавно пожравших вожака и приготовившихся грызться за его место.

Два года – с июля 1610 по октябрь 1612-го – дно Смуты. Самый мрачный ее период.

Полноценная государственность на территории бывшей Русской державы не существует. Служебная иерархия стремительно распадается. Столичные органы власти ни в малой мере не контролируют провинцию. Россия разорвана в клочья, и отдельными ее землями управляют разные силы. Казалось, Московское государство исчезло. Северные области его заберут шведы, центральные окажутся под властью Речи Посполитой, а юг безнадежно обезлюдует под натиском татар...

О больших бедствиях, достававшихся на долю Руси, летописцы обычно говорили: Господь попустил «по грехом нашим». Глад и мор, нашествие иноплеменников и засуха – всё «по грехом нашим». А верный путь из ямы очередного несчастья – «встягнуться от греха».

Кровавый хаос, воцарившийся на землях Московского государства, был честно заработан нашим народом. И в первую очередь его правящим классом. «По грехом», никак не иначе.

Вместо царя составилось необыкновенное для Руси боярское правительство, вошедшее в историю как Семибоярщина^[14]. В исторической литературе иногда встречается сравнение Семибоярщины с боярскими комиссиями, остававшимися на управлении в Москве, пока государь выезжал за пределы столицы, – например, на многодневное богомолье. Но гораздо больше Семибоярщина напоминает польский аристократический сенат. В ее состав вошли князья Ф. И. Мстиславский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой, А. В. Голицын, Б. М. Лыков-Оболенский, а также отпрыски старомосковских боярских родов И. Н. Романов и Ф. И. Шереметев. Из Рюрикова рода – только двое: Воротынский и Лыков. Первый мог бы претендовать на трон, но был неудачливым полководцем и не особенно популярным человеком. Второй – превосходный военачальник, но ему явно не хватало знатности. Русская знать давно завела переговоры с Сигизмундом III о возведении на трон сына его Владислава – знатные «тушинцы» заключили с ним подобное соглашение несколькими месяцами ранее. Теперь Семибоярщина открыто заявила о своем желании поставить королевича на место Шуйского. Кого-то из русских аристократов завораживали вольности польской шляхты, а кого-то манила

возможность навести в стране порядок с помощью иноземной военной силы...

Под Смоленск отправилось официальное посольство. Владиславу давали престол, ежели он примет православие, сам король отступится от Смоленска и прочих российских городов, а польские войска помогут с разгромом Лжедмитрия II^[15]. И вышло бы именно так, если бы во главе Речи Посполитой стоял разумный монарх, а не глупец и фанатичный выученик иезуитов. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Испытывая неприязнь к православию, Сигизмунд не желал его ни для себя, ни для сына. От Смоленска он отходить не стал. Более того, выразил стремление самому воцариться на Москве. Королю прямо в руки плыла золотая рыбка, а он отворачивался от нее из-за того, что хотел на ее месте увидеть платинового слона. Посольство заколебалось. Да и в Москве столь наглые притязания Сигизмунда вызвали разногласия. Владиславу присягали, но не все и медленно. Договор-то не получил подтверждения у Сигизмунда... Но какая сила теперь посмела бы ему сопротивляться, если бояре сами впустили в Москву польско-литовскую армию?!

Под защитой ее оружия король, презрев требования посольства, посадил в русской столице администрацию, состоящую из явных сторонников иноземного владычества. Михаил Салтыков, а с ним Федор Андронов, Иван Безобразов, Михаил Молчанов и др. Королевич Владислав так и не появился в Москве. Боярское правительство по большому счету утратило власть. Зато... оно получило защиту от низов, недовольных губительными соглашениями с Сигизмундом. Русские же войска, особенно стрелецкие сотни, были выведены из столицы в дальние города.

«О горе и люто есть Московскому государству! – в ужасе восклицает летописец. – Как не побояшеся Бога,

не попомня своего крестного целования и не постыдясь ото всея вселенная сраму, не помроша за дом Божий Пречистая Богородицы и за крестное целование государю своему! Самохотением своим отдаша Московское государство в латыни и государя своего в плен! О горе нам! Как нам явиться на праведном Суде Избавителю моему Христу? Как нам ответ дати за такие грехи?»^[16] Другой русский книжник в свойственной XVII веку деликатной манере высказался об умственных способностях Семибоярщины: «Семь же бояр державы Московской все правление землей Русской передали в руки литовских воевод, ибо не осталось премудрых старцев и силы оставили дивных советников... Все же это Бог навел на нас за множайшие грехи наши»^[17]. Силы оставили дивных советников... О! Умели же когда-то с необыкновенным почтением назвать правительственную политику идиотизмом. Другой книжник менее корректен: «И были мы обесславлены и лишены надежды всякой, и большой чести мы удостоились у иноверного царя – получили мы в славном городе Москве еретиков, врагов Божьего креста, многочисленные полки поляков и других иноплеменников и воинов, готовых сражаться ради своей славы. Наши же бояре из страха, а иные ради корысти, вошли в соглашение с ними и повелели выйти из города воинам наших полков, и такой услугой врагам обезопасили себя и дом свой»^[18].

Русский корабль ударился днищем о подводные камни, трюм его наполнился холодной водой, появились громадные отверстия в бортах. Парус его сорвало ветром. Ребра шпангоутов трещат, застрявши меж зубьями скал, скрытых черной штормовой стихией. Команда режет друг друга за шлюпки. Самые дерзкие матросы вступили в схватку за звание капитана, поскольку прежний капитан исчез.

Нет надежды...
Нет спасения...
Нет любви между людьми...
Но вера еще сохранилась.

Именно из веры появилась новая сила, нравственно очистившая русское общество и объединившая тех, кто хотел восстановить Русское государство.

Первое время она состояла из одного-единственного человека. Зато человеком этим стал сам патриарх Гермоген.

Политическая позиция его была проста – он стоял на стороне православия и всегда вел дело к торжеству истинной веры. Как только в боярском правительстве возникла идея отдать русский трон представителю зарубежной династии, например польскому королевичу Владиславу, Гермоген поставил условие: правителем России может быть только православный человек. И если дело дойдет до Владислава, то ему придется перейти из католичества в православие. Далеко не все готовы были тогда проявить твердость в этом вопросе. Впоследствии, как уже говорилось, король Сигизмунд III пожелал стать государем российским вместо сына, Владислава. Об отказе от католичества он и слышать не хотел. Когда русская знать принялась поддаваться на его требования, патриарх во всеуслышание запретил москвичам целовать крест Сигизмунду.

Патриарх требует от провинциальных архиереев рассылать «учительные грамоты» начальствующим людям и в войска «чтоб унимали грабеж, сохраняли братство и, как обещались положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев, и за веру, так бы и совершили»^[19]. Гермоген просит паству соблюдать телесную и душевную чистоту, благословляет стоять за веру «неподвижно».

В 1610-1611 годах патриарх – единственный! – *полностью соответствует идеалу православного царства, ранее принятому Московской державой.*

Духовная твердость Гермогена вызвала в москвичах и жителях провинциальных городов желание сопротивляться «латынству». А если «латынству», то и полякам, принесшим его на остриях сабель. Знать готова была полонизироваться. Но народ – нет.

Не сразу – недели прошли, а за ними и месяцы – но постепенно русский мир стал набухать новой «партией», стремящейся противостоять католицизму, оккупантам и в конечном итоге вернуть старый государственный порядок. В следующем, 1611 году вызрело это новое истинно-консервативное общественное движение.

Поляки скоро разглядели, что первый неприятель их – Гермоген. Захватчики видели в нем «главного виновника мятежей московских»^[20]. У их русских приспешников патриарх вызывал ненависть. Поэтому первоиерарх нашей Церкви оказался лишен свободы.

«За приставы» посадили его отнюдь не поляки и не литовцы, а наш же соотечественник Михаил Салтыков – главный пособник интервентов в московской администрации. Маленький Иуда, проще говоря. Причин у ареста было две: во-первых, Гермогена обвиняли в том, что он рассылает по отдаленным городам письма, призывающие бороться за веру и против оккупантов. Так, видимо, и было. Ему вменили в обязанность сочинить успокоительные послания, но патриарх отказался наотрез. Во-вторых, Гермоген осуждал устройство католического костела на дворе, принадлежавшем когда-то царю Борису Федоровичу.

Двор патриарха разогнали, имущество разграбили, а самого подвергли поношениям.

Боярское правительство, пытаясь сделать Гермогена более сговорчивым, на время выпустило его из-под стражи и даже разрешило вести богослужение на Вербное воскресенье 1611 года. Но в дальнейшем, пользуясь терминологией XX века, склонить его к «сотрудничеству с оккупантами» не удалось. Когда позиция Гермогена породила земское освободительное движение, от него потребовали разослать грамоты, призывающие повстанцев отойти от Москвы. Ему угрожали «злой смертью» в случае несогласия. Ответ Гермогена известен в летописном пересказе: «Что... вы мне угрожаете, одного Бога я боюсь; если вы пойдете, все литовские люди, из Московского государства, я их благословлю отойти прочь; а если будете стоять... я их благословлю всех против вас стоять и помереть за православную христианскую веру».

Если арестовывали его русские, то сторожей к нему приставили польских, из надежнейших людей^[21]. Гермогену не позволяли выйти из заточения и никого не допускали свидеться с ним. В начале 1612 года, по словам летописи, патриарха «уморили голодной смертью».

Поздно!

Еще за год до того новая сила, вышедшая из одного человека, как полноводная река из малого источника, заявила о себе в полный голос.

Патриарх Гермоген – фигура, залитая светом, прозрачная, все главные его дела высвечены солнцем, всякое его поучение ясно. Как пастырь духовный, он говорил: следует стоять за веру, не колеблясь. Вокруг ложь и беснование? Будь тверд. Требуется претерпеть мучения? Претерпи, только не отступай от истины. Потребовалось смерть принять? Прими, это большое благо. И сам он поступал так, как требовал от «словесного стада»: не шатался в истине, терпел муки и

отдал жизнь, когда ничего, кроме жизни, у него уже не оставалось. Его и канонизировали в 1913 году как священномученика.

Гермоген – камень веры. Он из тех, кого можно положить в фундамент любого здания, и здание будет стоять прочно.

Москва, подавленная властью иноземцев, не могла стать местом сосредоточения православных и национальных сил. До поры до времени Великий город был слишком грязной чашей, чтобы вместить чистое вино освободительного движения.

Первое земское ополчение начало собираться на Рязанщине, под стягами дворянина Прокофия Петровича Ляпунова. Помогал ему зарайский воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Земское освободительное дело, находясь еще в пеленках, много выиграло от гибели Лжедмитрия II в декабре 1610 года. Русские города и земли, страдая от наглых и алчных иноземных «гостей», колебались: кого поддержать? Но как только ушел из жизни «тушинский вор», поле выбора резко сузилось.

Старший боярин «тушинцев», князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, решил присоединиться к Ляпунову. Вместе с ним на сторону Ляпунова встал неистовый казачий вожак Иван Заруцкий.

На протяжении января – февраля 1611 года к коалиции Рязани Ляпунова, Зарайска Пожарского и Калуги Трубецкого стремительно присоединяются новые города и области. За Калугой встала еще и Тула, да вся Северская земля. Коломничи действовали вместе с зарайским отрядом.

Изъявили готовность прислать воинские отряды: Нижний Новгород, Ярославль, Муром, Вологда, Романов, Галич, Кострома, Кашин, Бежецкий Верх, Углич,

Серпухов (туда неприятель отправил карательную экспедицию)...

Наконец, большую силу дали Владимир с Суздалем, где стояли войска знатного дворянина Артемия Измайлова и казачьего атамана Андрея Просовецкого. Особенно значительным отрядом располагал последний – еще один видный авантюрист смутных лет, «малый Заруцкий».

Вся эта разнородная, пестрая масса пришла в движение. Дворяне провинциальные и покинувшие столицу московские... стрельцы... посадские жители, сделавшиеся ополченцами... множество казаков... Тысячи бойцов земского воинства не имели пока общей идеи, помимо стояния за веру и борьбы с поляками. Искренние патриоты мешались с пошлыми честолюбцами. Никто не знал, какие шаги предпринять вслед за победою над иноземцами. Вернее, имелось несколько мнений на сей счет, но ни одно из них не получило преобладания.

Великое дело очищения столицы пока еще заражено духом Смуты. Чистое воодушевление, поднявшее людей на борьбу с жестоким неприятелем, разбавлено куда более низменными чувствами. Кое-кто ждет добычи от похода на Москву, кое-кто – большей власти.

На протяжении февраля и марта разрозненные силы повстанцев стягиваются к русской столице. Вожди ополчения, и прежде прочих Ляпунов, заводят тайные связи с сочувствующими их делу людьми в самой Москве.

19 марта, до подхода главных сил ополчения, в столице вспыхивает восстание.

Москве предстояло пережить страшные дни.

Сорок лет прошло с тех пор, как великий город погиб в ужасающем огне при нашествии Девлет-Гирея с его крымцами. Москва давно восстановила силы и

поднялась в прежнем великолепии. Она выглядела зрелой красавицей, величественной и прекрасной, она вот уже два с половиной века носила монарший венец, она как будто рождена была править Русью.

Рожденная для порфиры, Порфирогенита...

За последние годы ей пришлось видеть много скверного на своих улицах и площадях, в храмах и палатах. Столько жестокости, предательства, вероломства, своекорыстия! Ее как будто захлестнули мутные волны наводнения. Во всех своих золотом шитых царских одеждах Москва упала на грязное дно греха.

И вот теперь, когда нашлись силы, стремящиеся к очищению, в неделю Страстей Христовых предстояло пострадать Великому городу. Нестерпимая мука ждала русскую столицу.

Очистительный огонь выжжет, испарит грязные воды Смуты, но боль жертвы, приносимой на этом огне, будет столь сильна, что Москва на время перестанет существовать.

В Страстную неделю 1611 года Москва как будто примет *свое* распятие...

19 марта грянул бой, разошедшийся по многим улицам от Китай-города и Кремля.

Бой за Великий город отличался необыкновенным ожесточением: поляки штурмовали русские баррикады, а их защитники расстреливали толпы интервентов из ружей и пушек. Именно тогда среди вождей «Страстного восстания» высветилась фигура Дмитрия Михайловича Пожарского.

Польские отряды устроили дикую резню в Китай-городе, положив тысячи русских, большей частью мирных жителей. Затем они вышли из-за стен и попытались утихомирить море людское, двигаясь по крупнейшим улицам русской столицы. Отряд, наступавший по Тверской улице, наткнулся на

сопротивление в стрелецких слободах и остановился. Движение по Сретенке также затормозилось, обнаружив мощный очаг сопротивления: «На Сретенской улице, соединившись с пушкарями, князь Дмитрий Михайлович Пожарский начал с ними биться, и их (поляков. – *Д. В.*) отбили, и в город втоптали, а сами поставили острог у [церкви] Введения Пречистой Богородицы»^[22]. Дмитрий Михайлович применил наиболее эффективную тактику: использование баррикад, завалов, малых древо-земляных укреплений. Против них тяжеловооруженная польская конница оказалась бессильна. Ее напор, ее мощь, ее организованность пасовали в подобных условиях.

В тот же день, 19-го, карательные отряды поляков удалось остановить на нескольких направлениях. Выйдя из Китайгородских ворот, они устремились к Яузе мимо Всехсвятской церкви на Кулишках. Не сразу, с трудом, но их атаки отбил Иван Матвеевич Бутурлин. Он занял крепкую позицию «в Яузских воротах»^[23].

Вражескую группу, устремившуюся в Замоскворечье по льду, встретил Иван Колтовский с сильным отрядом. Там карателям пришлось туго.

Позднее поляки в своих воспоминаниях признавали: как только они перешли на территорию Белого города, охватывавшего полукольцом Кремль и Китай-город, их дела пошли хуже некуда. «Тут нам управиться было труднее, – говорит один из них, – здесь посад обширнее и народ воинственнее. Русские свезли с башен полевые орудия и, расставив их по улицам, обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями; а они тотчас загородят улицу столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды: они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только заметят, что мы намереваемся обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитой своих загоронок

стреляют по нас из ружей; а другие, будучи в готовности, с кровель, с заборов, из окон, бьют нас самопалами, камнями, дрекольем. Мы, т. е. всадники, не в силах ничего сделать, отступаем; они же нас преследуют и уже припирают к Кремлю...» [\[24\]](#)

Неся огромные потери, поляки решили зажечь Москву, лишь бы не потерять ее. Страшный пожар уничтожил бóльшую часть российской столицы. Бои, шедшие 20 марта, прошли под знаком борьбы не только с вражеским гарнизоном, но и с огненной стихией.

Начальнику поляков Гонсевскому и его младшим командирам подсказали эту мысль – спалить город – русские же приспешники. Тот же Михаил Салтыков, усердствуя, первым ринулся жечь собственный двор. Однако 19 марта эта тактика не принесла им ощутимого успеха. Она просто дала возможность уцелеть тем отрядам, которые отступали под натиском восставших. Как говорит летопись, «...Москвы в тот день пожгли немного: от Кулишских ворот по Покровку, от Чертожских ворот по Тверскую улицу». Из этих районов повстанцы вынуждены были отступить. Одновременно огню и неприятелю они не могли противостоять.

Поляки и наемная пехота получили спасительную передышку. На пепелищах расхаживало «благородное рыцарство», едва имея, куда поставить ногу между трупами, и занималось ограблением развалин. Тащили золото, серебро, жемчуг, дорогое оружие – словом, всё, что имело ценность и не пострадало от огня. Богатства московского посада кружили головы оккупантам...

Поскольку Гонсевский нащупал единственную тактику, сохранявшую его людей от полного истребления и губительную для восставших, он решил применить ее в самых широких масштабах. С помощью пламени ему удалось свести поражение предыдущего

дня к относительно приемлемому результату. Теперь он велел использовать поджоги повсюду и везде.

Поляки, не кривя душой, признаются: «Отдан был приказ: завтра, т. е. в среду, зажечь весь город, где только можно. В назначенный день, часа за два до рассвета, мы вышли из Кремля, распростившись с теми, которые остались в крепости, почти без надежды когда-либо увидеться. Жечь город поручено было 2000 немцев, при отряде пеших гусар наших, с двумя хоругвями конницы...»^[25]

То, что произошло дальше, нельзя назвать сражением. На Москву обрушилась огненная бездна. Поляки с наемною пехотой выжигали квартал за кварталом, улицу за улицей. К несчастью, ветер способствовал их планам, быстро переноса пламя от дома к дому...

Совершенное в Москве на Страстной неделе 1611 года гарнизоном Гонсевского в XX столетии назвали бы военным преступлением. Но тогда сами участники побоища рассказывали о нем со странной гордостью. Необычная вещь – польская рыцарская гордость. Чего только не запишет она в подвиги!

Москва еще не была окончательно потеряна: стрельба повстанцев наносила гарнизону урон, наши воеводы удерживали несколько ключевых позиций. Если бы дал Господь сил продержаться до подхода Ляпунова, битва могла бы повернуться совсем иначе.

Но все важные пункты на протяжении среды и четверга оказались утраченными.

Последним оплотом сопротивления стал острожек (деревянное укрепление), выстроенный по приказу Пожарского близ церкви Введения Богородицы на Сретенке. Поляки не могли ни взять острожек, ни устроить вокруг него пожар: бойцы Пожарского метко отстреливались и контратаковали. На него надеялись и

те, кто еще сопротивлялся людям Гонсевского близ Яузских ворот: туда командиру поляков пришлось вновь послать большой карательный отряд.

Защитники острожка били из ружей, остужая пыл чужеземцев, почувствовавших аромат победы. Сретенка давно превратилась в развалины. Улицу завалило трупами русских, поляков, литовцев и немцев. Дмитрий Михайлович всё не отдавал своим ратникам приказа отступить. Надеялся, видимо, на помощь от земского ополчения... И повстанцы слушались его, проявляли твердость, не оставляли позиций посреди пылающего города.

Но под конец их командир пал едва живой от ранений, тогда и дело всего восстания рухнуло. «Последние же люди Московского государства сели в Симоновом монастыре в осаде и начали дожидаться [прихода] ратных людей под Москву»^[26].

Страстной четверг опустил занавес скорби над залитыми кровью, испепеленными, разграбленными улицами русской столицы...

Силы оставили восставших. Воля к борьбе иссякла. Поляки лютовали в городе, выкашивая москвичей направо и налево. 21 марта вчерашние храбрецы, не видя ляпуновских знамен, начали сдаваться неприятелю.

Великий город обратился в пепел. Лишь Кремль, да Китай-город, да немногие каменные храмы сохранились в целости. Исчезли хоромы богатых купцов. Пропали палаты дворян и бояр. Обратились в уголья дома искусных ремесленников. Дымными пустырями сделались ямщицкие и стрелецкие слободы.

Осталось плакать о горькой участи Москвы! Еще на Вербное воскресенье была она цветущим городом, несчетанные богатства переполняли ее, словно

изысканное вино, переливающееся через край драгоценной чаши. К святыням ее спешили тысячи паломников. Мощь ее выглядела незыблемой.

И что теперь? К Великой Пятнице всё сгнуло, всё расточилось! Пал один из величайших городов христианского мира, приняв участь, подобную страшным судьбам Содома и Гоморры. Грехи людей Царства обрушились ему на голову, и страшный этот удар чуть не оказался смертельным. К Великой Пятнице Москва упала ничком, бездыханная.

Но... Кого Бог любит, того не оставляет без урока. А попустив даже такую вереницу несчастий, все же не лишает надежды.

Просто путь очищения, которым двинулись русские люди, оказался длиннее и труднее, чем казалось при начале земского движения. Будет и у Москвы воскресение, когда вся страна трудами, отвагой и самоотвержением заработает его.

Команда русского корабля попыталась снять его с камней. И дело, кажется, пошло, пошло, нашлись люди, появилась добрая надежда. Но вот налетел новый шквал, и рухнула мачта, и каменные клыки впились в борта с еще большей силой.

Через бедствие, через испытание крайней тяжести Господь, возможно, желал заставить людей с праведным характером проявить себя, когда вокруг них исчез страх перед совершением греха. Праведники должны были встать на высшую степень самоотвержения. Среди огня, в столкновениях с беспощадным противником им следовало принести себя в жертву за весь русский православный народ того времени – за честных и лживых, за скверных и благочестивых, за изменников и добрых служильцев. Им надлежало постоять за веру и правду. До конца. Не щадя себя. Не сберегая жизней своих. В их

необыкновенной стойкости, может быть, и заключалось главное значение всей битвы за Великий город.

Пожарский оказался одним из них.

Он стоял за православную веру, как просил патриарх. Он стоял за русский народ, ибо принадлежал ему. Он стоял за старый честный порядок, поскольку слом его принес горе всей стране.

Есть на свете единственный истинный консерватизм – консерватизм здорового тела, способного жить, расти, приносить потомство, а потому сопротивляющегося болезни и ранению. Во всяком живом организме заключена исцеляющая сила – сила, стремящаяся остановить его разрушение. Когда он стар, когда он близится к естественному концу, оздоравливающая сила понемногу исчезает. Но пока дряхлость не наступила, организм борется за здоровье, за жизнь. В общественных организмах подобной исцеляющей силой, социальным иммунитетом, если угодно, является консерватизм. В эпоху смут консерватизм спасителен. На заре XVII века Московское государство заболело столь тяжело, что ему понадобились все, до самого дна, ресурсы консерватизма. Пожарский, истинный консерватор, *очиститель Царства*, поднялся гораздо выше идейного уровня, на котором пребывала его социальная среда. Коллективное сознание русской служилой аристократии – больное, дряблое – не требовало от нее самопожертвования. Пожарский же осознал, до какой степени оно необходимо. Не его вина, что дело было проиграно. Князь сделал всё от него зависящее. Он кровью заплатил за свои убеждения.

Возможно, эта кровь, кровь праведников, и есть лучшее из случившегося в годы Смуты. Народ наш, изолгавшийся было, изгрешившийся, оказался способен и на жертвенность, и на покаяние, и на исправление. Вот такому народу, истекающему кровью, обожженному огнем, Господь в конце концов даровал победу.

Кровь праведников – лучшая жидкость для закалки народного металла. Поражение в марте 1611-го закалило его, наделив невиданным упорством.

Если бы не было «Страстного восстания», если бы не окунулся русский народ в позор, боль, ужас, то не вознесся бы он к вершинам преодоления Смуты, не вышли бы из Кремля гордые паны, бросая оружие к земским боевым знаменам...

Лето и осень 1611 года были ужаснейшей порой в русской истории. Государство исчезло, сгинуло. Его попыталась заменить собой шайка аристократов, засевших в Кремле и пытавшихся править страной при помощи иноземных солдат. Воровские казаки жгли города и села, грабили, убивали. Шведы захватили весь Русский Север по Новгород Великий. Войска польского короля стояли под Смоленском и посылали подмогу московскому гарнизону.

Из последних сил стояла на пепле столицы малая земская рать, да и у той начальники умудрились переругаться. Ляпунов, затеявший всё святое дело земского восстания, попытался укротить дикое буйство казаков, добиться дисциплины, справиться с их разбойничьими наклонностями. Но он пал жертвой провокации поляков и злобы казачьей: его убили свои же...

Еще бы шаг в этом направлении, и пропала бы Россия, рухнула в пропасть, не возродилась бы никогда. Но сложилось иначе.

Оставались богатые города, не занятые поляками и не желавшие покоряться новой власти. В частности, Казань и Нижний Новгород. Тамошние дворяне, купцы и ремесленники имели достаточно веры в Божью помощь, достаточно воли и энергии, чтобы предпринять новую попытку освобождения страны. Второе земское ополчение начали собирать нижегородцы во главе с торговым человеком Козьмой Мининым.

Еще не встав с одра болезни, Пожарский получил от нижегородцев приглашение – возглавить новое ополчение земских ратников.

По меткому выражению в одном историческом памятнике того времени, Минин «...собра полки многия и военачалника, изкусна во бранех, князя Дмитрея Михайловича Пожарского над всеми быти совосприподобил»^[27].

Собирая силы, Пожарский с нижегородцами рассылал по городам и землям грамоты. Смысл этих грамот лишь во вторую очередь – политический, агитационный. Прежде всего они являются памятниками христианского мирозерцания, поднявшегося на небывалую высоту.

Составители грамот ясно понимают: «По общему греху всех нас, православных христиан, учинилася междоусобная брань в Российском государстве». Вторжение «польских и литовских людей» – такое же несчастье, пришедшее попустием Господним «за грех всего православного христианства». Восставая от греха, видя «неправду» чужеземцев, «...все города Московского государства, сослався меж себя, утвердились на том крестном целованьем, что бытии нам всем православным христианом в любви и в соединении, и прежнего междоусобства не счинати, и Московское государство от... польских и от литовских людей очищати неослабно до смерти своей, и грабежей... православному христианству отнюдь не чинити и своим произволом на Московское государство государя без совету всей земли не обирати»... К сожалению, это единство разрушилось под Москвой. Кто-то из ополченцев ударился в грабежи, кто-то поддался привычному соблазну самозванщины. Необходимо новое единство. Но глубинная основа его не должна измениться. Следует «...за непорочную

христианскую веру, против врагов наших, польских и литовских людей до смерти своей стояти и ныне бы идти на литовских людей всем... чтоб литовские люди Московскому государству конечная погибели не навели... а нашим будет нерадением учинится конечное разоренье Московскому государству и угаснет корень христианския веры и испразднится крест Христов и благолепие церквей Божиих... ответ дадим в страшный день суда Христова»^[28].

Христианское покаяние означает прежде всего «исправление ума». А значит, отказ не только от прежнего образа мыслей, но и от прежнего образа действий. Победа над неприятелем четко связывалась у руководителей ополчения с возвращением нравственной чистоты, с соединением русского народа в любви и вере.

По сути, большое общественное движение, рождавшееся в Нижнем и ставившее серьезные военно-политические цели, начало действовать в первую очередь... ради Христа.

Минин, Пожарский и его воинство покинули Нижегородчину в феврале 1612-го. Но и на Москву не двинулись прямым путем.

В поисках пополнений земцы прошли по городам Поволжья от Нижнего через Балахну, Юрьевец, Кинешму, Плес и Кострому до Ярославля. Заняли Суздаль отрядом стрельцов князя Р. П. Пожарского.

Ополчение встречали с радостью, оказывали ему добровольную помощь. Так произошло в Балахне, Юрьевце, Ярославле. Подошли полки из Коломны, Рязани и Казани.

1 апреля 1612 года Ярославль встречал армию Пожарского.

Здесь ополчение простояло четыре месяца, накапливая денежные средства и подтягивая войска.

Если из Нижнего вышел небольшой отряд, то в Ярославле сформировалась настоящая армия. Пожарский довел ополченцев до Ярославля, создав из пестрой толпы дисциплинированную боевую силу. Там же возникло и «временное правительство» – Совет всея земли, а вместе с ним приказы (средневековые министерства), монетный двор... Фактически Ярославль стал на время российской столицей.

Москва – обезображенная, обескровленная, почти мертвая – должна была отдать другому городу царственный венец старшинства.

Документы Совета земли начинались со слов: «По указу Московского государства бояр и воевод, и стольника и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского с товарищи...» Над Россией не стояло тогда государя, но некоторые из его функций принял на себя князь Пожарский.

На территории, контролируемой Первым земским ополчением, судили, выдавали грамоты на поместья, собирали деньги и занимались иными делами правления Трубецкой с Заруцким. Под их властью фактически выросло независимое южнорусское государство. Там, где стояли отряды Второго земского ополчения, утверждалось другое независимое государство – севернорусское. Минин и Пожарский собирали налоги, назначали должностных лиц, раздавали земли служилому люду, ставили в строй новые отряды точно так же, как их подмосковные «коллеги».

Довольно быстро этот поток административных дел приобрел державный характер. Слишком большая территория оказалась подвластна Минину с Пожарским, слишком высокий христианский идеал они объявили нормой для ополчения, слишком серьезные цели поставили перед собой, чтобы ополчение осталось просто освободительной армией.

Армия скоро стала превращаться в державу.

Стояние в Ярославле продлилось до июля 1612 года. Чем сильнее становилось Второе земское ополчение, а вместе с ним – независимое севернорусское государство, тем более накалялись его отношения с вождями подмосковного земства. Минин с Пожарским шли очищать Москву от чужих, а порой свои оказывались намного чужих горше. Приходилось применять воинскую силу, защищая города и земли от казачьего разбоя, прямо связанного с подмосковными «таборами». Так, из Переяславля-Залесского к Совету всея земли приехали «...бить челом начальникам всякие люди, что им от Заруцкого утеснение великое: не только что опустошил уезд, но и посады. Начальники послали воеводу Ивана Федоровича Наумова с ратными людьми. Иван же пришел в Переславль, и казаков отогнал, и Переславль укрепил»^[29].

Заруцкий больше не воспринимался как союзник. Его «воровское» поведение обличали. С ним не хотели иметь дела. Его зов идти под Москву игнорировали, поскольку ни единому слову его не верили. А он с добротным постоянством поддерживал и укреплял эту свою репутацию в глазах Минина с Пожарским...

Чувствуя непримиримую вражду к Пожарскому, атаман послал в Ярославль убийц. Открыто напав на Дмитрия Михайловича с ножом, один из душегубов ранил охранника, но князю не причинил вреда. Мерзавца схватили, пытали, и на пытке он во всем сознался.

Смута, если понимать под нею прежде всего духовную порчу, страшно заразила Первое земское ополчение. Придя очищать Москву, оно само осквернилось под ее стенами.

На исходе июля Второе земское ополчение двинулось наконец к столице.

Душа народная, ослабев, почернев, испакостившись, оказалась изгнанной из собственного дома; долго-долго чистилась она, набиралась сил и теперь медленно шествовала к себе домой. Движение ее, хоть и неспешное, было неотвратимым. Начальное время Смуты явилось грехопадением ее. Свержение Шуйского и призвание поляков чуть не погрузило ее в невозвратную бездну. «Страстное восстание» явилось шагом к покаянию. Первое земское ополчение – борьба со старыми соблазнами, нахлынувшими с новой силой. Преодолев их во Втором ополчении, русская душа как будто исповедовалась, склонив голову и желая спасения. Теперь ее ждал путь к великому усилию и следующему за ним причастию победы. Но перед причастием добрый христианин читает особый канон, моля у Бога дать ему причаститься не во грех и не во осуждение. То, что входит в тело с причастным вином, должно встретить чистый сосуд. Очищенная душа народа возвращалась в жилище, принадлежащее ей по праву, и трепетала, ожидая: дарует ли ей Бог счастливое причащение?

Заруцкий, получив сведения о наступлении Пожарского, немедленно ушел из-под Москвы. За ним последовала половина войска. Атаман разграбил Коломну и ушел на Рязанщину, к городу Михайлову. Что ж, хотя бы такой ценой Первое земское ополчение очистилось от самой черной и зловонной грязи, какая к нему налипла.

Авангардные части нижегородского ополчения скоро добрались до столицы и там укрепились. А основные силы медленно шли от Ярославля к Ростову, от Ростова к Переяславлю-Залесскому, а оттуда – к Троице-Сергиевой обители.

Основные силы Второго ополчения добрались до Москвы 20 августа, в канун дня Святого Петра-митрополита.

С запада на город скорым маршем двигался мощный корпус гетмана Ходкевича. Столкновение с ним должно было решить судьбу российской столицы.

Самая большая беда русских сил, стоявших под Москвой, – несогласованность в действиях. Неприязнь и взаимное недоверие страшно разделили два ополчения.

Еще на подходе к Москве, в Троице-Сергиевой обители, земцы Пожарского мучились сомнениями: добро ли выйдет из соединения с Трубецким? Даже после того, как Заруцкий увел самый буйный элемент казачьего войска, у стен столицы кипело и булькало воинское нестроение. А сторонники Минина с Пожарским вспоминали о печальной судьбе Прокофия Ляпунова: тот доверился казакам и голову потерял!

Что увидел князь Пожарский, вновь оказавшись в Москве? Черные пожарища, закопченные церкви, редкие каменные палаты, испачканные пеплом. Лишь стены Белого города, Китай-города и Кремля, хоть и покалеченные артиллерийским огнем, величаво возвышались над хаосом развалин... Тут и там деловитые москвичи рубили новые «хоромы», сооружали «острожки». Бойцы Первого земского ополчения нарыли себе землянок, заняли уцелевшие дома, но больше стояли «в таборах». Жили голодно.

Казачье буйство, пуще вражеской злой воли, страшно разорило окрестности русской столицы. Откуда было добыть ополченцам пищу, одежду, когда народ разбежался от родных пепелищ, а при появлении очередной казачьей шайки люди готовы были спрятаться куда угодно, лишь бы не встречаться с такими «защитниками»! Наверное, немало среди казаков было людей, которые пришли под Москву

стоять за святое дело, – бить интервентов, освобождать столицу от чужой власти. Но и за легкой поживой вели туда атаманы своих бойцов. Оказаться среди тех, кто возьмет верх в самом сердце России, попользоваться благами самой богатой ее области – вот цель, манившая бунташный люд.

С первого же дня князь Пожарский занял жесткую позицию: не смешиваться с армией Трубецкого. Тот проявил упорство и на следующее утро явился в расположение Дмитрия Михайловича, чтобы начать новые переговоры. Трубецкой звал Пожарского «к себе в острог», иначе говоря, в деревянное укрепление, где, надо полагать, размещалось командование Первым ополчением. Пожарский, к удивлению Трубецкого, настаивал на своем: он не желал стоять вместе с казаками.

Очень хорошо и точно сказал Сергей Михайлович Соловьев: «Под Москвою открылось любопытное зрелище. Под ее стенами стояли два ополчения, имевшие, по-видимому, одну цель – вытеснить врагов из столицы, а между тем резко разделенные и враждебные друг другу; старое ополчение, состоявшее преимущественно из казаков, имевшее вождем тушинского боярина, было представителем России больной, представителем народонаселения преждепогибшей южной Украины, народонаселения с противуполитическими стремлениями; второе ополчение, находившееся под начальством воеводы, знаменитого своею верностью установленному порядку, было представителем здоровой, свежей половины России, того народонаселения с земским характером, которое в самом начале Смут выставило сопротивление их исчадиям, воровским слугам, и теперь, несмотря на всю видимую безнадёжность положения, на торжество козаков по смерти Ляпунова, собрало, с большими пожертвованиями, последние силы и выставило их на

очищение государства. Залог успеха теперь заключался в том, что эта здоровая часть русского народонаселения, сознав, с одной стороны, необходимость пожертвовать всем для спасения веры и отечества, с другой – сознала ясно, где источник зла, где главный враг Московского государства, и порвала связь с больной, зараженной частью. Слова Минина в Нижнем: «Похотеть нам помочь Московскому государству, то не пожалеть нам ничего» и слова ополчения под Москвою: «Отнюдь нам с козаками вместе не стаивать» – вот слова, в которых высказалось внутреннее очищение, выздоровление Московского государства; чистое отделилось от нечистого, здоровое от зараженного, и очищение государства от врагов внешних было уже легко»^[30]. Пожарский, очевидно, боялся, что многомятежная казачья толпа разлагающе подействует на его армию, собранную с такими трудами; что его здоровое воинство вдохнет заразу бунтарства и потеряет прежнее единство, прежнюю нравственную силу. Больной, находясь рядом со здоровым, от одного этого выздороветь не способен, но передать свою болезнь может запросто. И Дмитрий Михайлович, как видно, стерегся опасной хвори.

Боевое ядро армии Пожарского переместилось из-за Яузы в район Арбатских ворот. «И встали по станам подле Каменного города, подле стены, и сделали острог, и окопали кругом рвом, и едва успели укрепиться до гетманского прихода»^[31].

Ходкевич подступил к Москве утром 22 августа. Гетман двигался от Поклонной горы к центру города. Он перешел Москву-реку близ Новодевичьего монастыря и, оставив рядом с обителью огромный обоз, устремился к местности у Пречистенских (Чертольских) ворот. «И начался смертный бой, – пишет

современник. – А где великое сражение, там и много убитых! С обеих сторон был беспощадный бой. Друг на друга направив своих коней, смертоносные удары наносят. Свищут стрелы, разлетаются на куски мечи и копья, падают всюду убитые»^[32]. Все источники как один говорят о страшном ожесточении вооруженной борьбы: шел «бой большой и сеча злая».

Сражение продлилось несколько суток. Полякам сначала нанесли поражение на подступах к западной части Москвы. Затем ополченцы отбили вылазку кремлевского гарнизона. А после того как Ходкевич попытался прорваться в центр через Замоскворечье, его разгромили и там.

Битва в Замоскворечье, на Большой Ордынке, шла целый день 24 августа и дорого обошлась обеим сторонам. «Правильное» сражение скоро обернулось ужасающей свалкой, почти что партизанской борьбой в условиях полуразрушенного города.

Тактические уловки потеряли всякую ценность, обе стороны просто дрались на износ. Кто кого переупрямит. Стойкость одного великого народа против стойкости другого великого народа. Всё превосходство польской армии в качестве, вооружении и дисциплине исчезло. А вот единственный козырь земцев – воодушевление людей, сражающихся за свою землю, – сохранил силу. Поляков понемногу ломали. Им было куда отступать. Они могли уйти, у них за спиной не было ни святынь древних, ни родных домов. И тоскливо им делалось от мысли, что примет их тела черная сухая почва чужой страны.

Хотел гетман такого исхода или не хотел, а его постепенно выдавили с позиции в Замоскворечье. Ходкевич не выполнил стоящую перед ним задачу. Гетману требовалось доставить провиант осажденному в Кремле гарнизону. Что он теперь мог доставить, если

телеги его с «ларями» достались мужественным ополченцам? Его армию морально раздавили на кривых московских улицах. Гетман не просто отступил, он лишился победоносной армии, оставшись с кучкой уstraшенных, едва спасшихся ратников.

В полках Пожарского принялись совершать молебны, благодарить в молитвах Пречистую Богородицу, московских чудотворцев и преподобного Сергия. Звонили колокола в уцелевших среди всеобщего разорения храмах. Священники отпевали павших. Тысячи тел нашли вечное упокоение в могилах. Велика была жертва, принесенная нашим народом. Ею куплены были свобода и чистота веры. Но более того – возможность продолжить путь из бездны шатости и скверны, куда погрузилась Московская держава.

На протяжении нескольких лет громадный русский корабль шел от бури к буре, от крушения к новому крушению. С 1610 года, когда русская знать своими руками отдала иноплеменникам русского царя, в корабельном днище России появлялась одна пробоина за другой. Вот правительство наше запросило себе польского королевича в государи. Вот поляки вошли в Москву. Вот шведы заняли Новгород. Восстала Москва – и сломили враги восставших, спалили Великий город. Собралось земское ополчение к стенам столицы – огромное дело! – но, бившись, распалось, рассорилось в своей среде. Остатки его чудом продержались столь долго на столичном посаде. Казалось, русский корабль безнадежно сел на рифы, и нет больше сил латать его, стягивать на чистую воду... Самое скверное – нравственный стержень надломлен. Повсюду развращение, предательство и кривизна. Кто ж теперь станет бескорыстно заботиться о едином общем корабле? Где ж ему не развалиться на куски! Но вот приходят последние умельцы, и стучат их топоры, и

пропадают дыры в днище, и вновь откуда-то берется крепость на месте слабости, вновь возникает прямота на месте кривизны.

В стук топоров этих плотников корабельных вслушивается вся Россия. Ужели есть силы вырваться из ямищи нравственного распада?! Остались еще настоящие люди, и Бог к ним милостив – дает победу в руки. Стало быть, еще возможно для Московской державы сойти с рифов и пуститься в свободное плавание. Страна застыла, ожидая добрых вестей, которых давно уже не чаяла ниоткуда.

Разбить Ходкевича означало – решить промежуточную задачу. Еще стоял в центре русской столицы вражеский гарнизон.

Кремль с монастырями и соборами, со святынями и гробницами государей, да разоренный дотла Китай-город парадоксальным образом превратились в опухоль, не дававшую ожить сердцу России. Пока там находился непримиримый враг, пока горсть иуд, возжаждавших великой свободы для своего олигархического круга, прислуживала этому врагу и даже платила ему за военную службу, страна обречена была страдать от тяжелой хвори. Раньше твердыня кремлевская играла роль ядра для всего русского государственного порядка. Теперь добрый порядок мог восстановиться лишь с падением чужой силы, занявшей Кремль. Великий славный Кремль, никем никогда не взятый на щит, возвышался над умирающей страной как темная скала. Башни его торчали из тела России, словно острия копий, пронзивших живую русскую плоть.

Через две недели после ухода Ходкевича русское войско организовало бомбардировку Кремля и подожгло палаты князя Мстиславского, но полякам удалось потушить пожар. Несколько суток спустя

ополченцы бросились на штурм Кремля, однако были отбиты^[33].

Возникает вопрос: какие обстоятельства мешали ополченцам начать давление на Китай-город и Кремль сразу после победы над Ходкевичем?

Прежде всего, общее дело страдало от несогласия между главными полководцами двух земских ополчений.

Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой требовал от Минина и Пожарского если не повиновения, то хотя бы формальных почестей, соответствующих высоте его рода; Пожарский не соглашался. «Начальники же начали между собой быть не в совете из-за того, что князь Дмитрий Тимофеевич хотел, чтобы князь Дмитрий Пожарский и Кузьма ездили к нему в таборы, – сообщает летопись. – Они же к нему не ездили, не потому, что к нему не хотели ездить, а боясь убийства от казаков»^[34].

Трубецкой должен был пойти на уступки ради общей победы. Князь Дмитрий Тимофеевич безусловно стоял выше Пожарского в иерархии знатности. Честь его родовая стоила невероятно дорого по представлениям того времени... Надо отдать должное этому аристократу: он все-таки решил поступиться частью ее ради высокой цели. Единое руководство русскими освободительными силами стало неоспоримой необходимостью. Соединение двух властей потребовало жертв и от Дмитрия Тимофеевича. Он заключил с Пожарским компромиссное соглашение. «И приговорили, – повествует летопись, – всей ратью съезжаться на Неглинной. И тут же начали съезжаться и земское дело решать»^[35].

С тех пор Пожарскому не требовалось признавать положение «второй скрипки» в оркестре военного командования, уезжая в чужой стан. Трубецкой в этом

уступил. Но в документах, отправляемых по городам от имени земского руководства, его имя писали вторым – после Трубецкого. Тут уступил Пожарский.

И слава Богу! Меньше гордыни – меньше греха. Объединившись, русские стали сильнее. Малый шаг сделан был в сторону преодоления эгоистического духа Смуты, но совершили его великие люди и на виду у всей страны.

Из нескольких грамот земского руководства, разосланных в конце октября 1612 года, ясно видно, с какой радостью само воинство отнеслось к примирению воевод: «И были у нас посяместа под Москвою розряды розные, а ныне, по милости Божии, меж себя мы, Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарской, по челобитью и по приговору всех чинов людей, стали во единачестве и укрепились, что нам да выборному человеку Кузме Минину Московского государства достигать и Российскому государству во всем добра хотеть безо всякия хитрости, и розряд и всякия приказы поставили на Неглимне, на Трубе^[36], и снесли в одно место и всякие дела делаем заодно и над московскими сидельцами промышляем»^[37].

Что ж, тут было чему радоваться: всей земле вышло ободрение. Смута учила ссориться и раздроблять силы. Прямо противоположный пример вселял надежду на ее преодоление.

Однако преодоление свары между двумя полководцами далеко не исчерпывало проблем, стоявших перед земским воинством. Не напрасно Пожарский говорит о «розни» его людей с казаками. После общей победы она вспыхнула с новой силой. «Паки же диавол возмущение велие в воинстве сотвори: вси казаки востающе на дворян и на детей боярских полку князя Дмитрея Михайловича

Пожарсково, называюще их многими имении богатящихся, себе же нагих и гладных нарицающе; и хотяху разытися от Московского государства, инии же хотяху дворян побити и имениа их разграбити...» – рассказывает келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын^[38].

Волнения, вспыхивавшие среди казаков, могли закончиться настоящим большим бунтом и даже вооруженной свалкой между ними и дворянами. Пожарский призвал на помощь Троице-Сергиевское духовенство. Авраамий Палицын рассказывает о чрезвычайных мерах, понадобившихся для того, чтобы укротить казачью стихию: «И бысть в них (казаках. – *Д. В.*) велико нестроение. Сиа слышавше во обители чудотворца Сергия, архимарит и келарь и старцы соборные сотвориша собор: бе бо тогда, в казне чудотворцове скудость деньгам велиа бысть, и не ведуще, что казаком послати и какову почесть воздати и о том у них упросити, чтобы ис-под Московского государства неотомстивше врагом крови христианския не розошлись...» – парадоксальная ситуация! Свято-Троицкое монашеское начальство размышляет, откуда бы добыть денег для умасливания казаков. Уже и речи нет о поучениях, о словах духовных, о проповеди крепкого стояния за веру. Что архимандрит Дионисий, что келарь Авраамий размышляют лишь об одном: как еще раздобыть им денег, после того как обитель претерпела страшную осаду и много раз помогала ратным людям? Дать-то уже нечего! Но с пустыми руками к казакам не ходи: они суровые воители, и мужество их требуется постоянно оплачивать. Тут одними поучениями не обойтись!

В итоге Троицкие власти решились просто отдать казакам в заклад богослужебные предметы и одеяния священников. Предполагалось, что в скором времени

обитель святого Сергия выкупит их за тысячу рублей серебром – огромную для начала XVII столетия сумму. Двух серебряных копеечек хватало на суточную норму пропитания...

Посовестились казаки. Не стали обирать славнейшую обитель на Руси. Хотя и выломившиеся из общественного уклада, а все же христиане – не решились набивать мошну *подобным способом*. И за то следует воздать им благодарную память. Буйный народ, но от Христа не отошедший, не церковные тати, не вероотступники.

Укрепившись духовно, ополченцы взяли Кремль и Китай-город в крепкую осаду. Имеется множество свидетельств о том, на какие страдания обрек себя польский гарнизон.

«Вновь начался голод и до такой степени дошел, что всякую нечисть и запрещенное ели, и друг друга воровски убивали и съедали. И, потеряв силы от голода, многие умерли», – пишет русский современник о поляках^[39]. Когда вооруженная борьба прекратилась и ополченцы вошли сначала в Китай-город, а потом в Кремль, они увидели там устрашающие знаки недавнего прошлого. Разрытые могилы, кошачьи скелетики, чаны с засоленной человечинной. Мертвецов бережно хранили, развесив туши по чердакам. Драгоценное мясо закатывали в бочки – кое-кто из осажденных запасался провизией на зиму...

Трубецкой и Пожарский готовились к новому штурму, расставляли артиллерийские батареи, малыми группами прощупывали, сколь бдительно поляки охраняют стены.

Летописи четко указывают место и время, где и когда русские войска произвели атаку: «...на память Аверкия Великого», «...с Кулишек от Всех Святых от

Иванова лужку... октября в 22 день, в четверг перед Дмитриевскою суботою». Иначе говоря, русские ударили со стороны Всехсвятского храма на Кулишках, там, где Китайгородская стена подходила к побережью Москвы-реки^[40]. Бой начался рано утром, когда бдительность польских караулов притупилась.

Та часть охраны Китайгородской стены, которая не успела отступить в Кремль, погибла на месте. Имущество ее казаки Трубецкого разделили между собой. Взятие Китай-города – большой успех. Мощные стены его представляли собой серьезное препятствие для земских отрядов. Когда ополченцы все-таки преодолели его, польский гарнизон должен был понять: дни его сочтены. Та же судьба в ближайшем будущем ожидает и последнюю твердыню, которую удалось сохранить от русского натиска.

По новому календарю 22 октября приходится на 4 ноября – День народного единства. Этот праздник исторически связан с последним большим боем между земским ополчением и оккупантами. Бой закончился победой русского оружия, он приблизил окончательное освобождение Москвы. Ныне историческая память о тех событиях обновилась: Россия славит героическое усилие земских ополченцев, проливавших кровь за очищение русской столицы.

Вскоре польский гарнизон сдался на милость победителей...

Перед поляками из Кремля должны были выйти русские. Сначала из кремлевских ворот вышли жены сидельцев – «боярыни». Потом пришел черед их мужей. Авраамий Палицын пишет: «И прежде отпустили [поляки и литовцы] из града боярина князя Федора Ивановича Мстиславского с товарищи, и дворян, и Московских гостей и торговых людей, иже прежде у них

быша в неволи»^[41]. Троице-сергиевский келарь очень осторожен в выражениях. Действительно, многие из московских дворян и купцов оказались у польского гарнизона в жестокой неволе. Но кое-кто немало способствовал проникновению вооруженного врага в сердце русской столицы.

Казачи пришли к воротам, желая учинить расправу и ограбление кремлевских сидельцев. Они изготавились защищать свой материальный интерес силой оружия. «Казачи же, видя, что пришли на Каменный мост все бояре, – повествует летопись, – собрались все с знаменами и оружием, пришли и хотели с полком князя Дмитрия биться, и едва у них без бою обошлось. Казачи же пошли к себе в таборы, а бояре из города вышли. Князь Дмитрий Михайлович принял их с честью и воздал им честь великую»^[42].

У ворот встречали русских людей, избавленных от осадного сидения, друзья их, родственники, добрые знакомые. Много ли, мало ли было темных личностей среди тех, кто оказался заперт в Кремле, а всё же стоит пожалеть их всех: не люди, а призраки выходили из заточения. Шли, покачиваясь, исхудалые и больные, едва живые. И современники с христианской жалостью отнеслись к ним. Их избавление сравнивали с освобождением зверя или птицы «из силков»^[43], а значит, большинство несчастных ни в чем не провинились перед верой и отечеством. Просто попустил им Господь великое мучение. Расходясь от ворот, поддерживаемые руками родичей и товарищей, эти страдальцы находили стол и кров поблизости. По Москве уже стучали топоры, на пустырях, вокруг печищ воздвигались новые тесаные хоромы, и там хозяйки грели пищу – для тех, кто давно не мог насытиться ею вдоволь. Пусть и скуден был этот припас в закромах

отощавшей Седьмохолмой, но все же он явился для бедных людей истинным спасением.

Великий город оживал мучительно и трудно. Горячая кровь едва пробивала себе дорогу по венам его и артериям, намертво промерзшим в холодную зиму иноплеменного владычества. И люди, не веря себе, еще не разрешая себе надеяться на добрый исход, все-таки чувствовали: смерть отступает, холод отступает! Возрождается истерзанная Москва. На груди ее начинают затягиваться глубокие раны. Может быть, вернется сюда жизнь, может быть, опять закипит торг, опять звон колокольный по праздничным дням разольется от сотен храмов, ныне пустых и лишенных богомольного пения. Может быть, всё будет хорошо, и Богородица вновь расстелет в небе над русской столицей свой защитительный Покров. Может быть...

Почему Дмитрий Михайлович Пожарский вступился за кремлевских сидельцев? Могло дойти до настоящего большого сражения между вчерашними союзниками – казаками и дворянами! И не дошло, надо полагать, лишь по двум причинам. Во-первых, дворян под командой Пожарского оставалось изрядно, и казаки устрешили. Во-вторых, им, вероятно, обещали кремлевскую казну. Так почему Пожарский вновь вырвал у казаков из глотки живую добычу? Ведь на этот раз они нацеливались совсем не на «боярынь», ни в чем не повинных...

Смута разрешает убивать без суда и следствия, а добрый государственный порядок требует расследования. Прежде всякой казни, по законам Божеским и человеческим необходимо определить, кто изменник и достоин смерти, а для кого уместно снисхождение. Дмитрий Михайлович желал соблюсти норму человеческого общежития, и за нее многим рискнул...

Такая его доброта давала московским жителям надежду: а вдруг и впрямь возвращаются времена, когда жизнь человеческая стоила больше, чем кусок хлеба? Меньше стало русских людей, дворянство сжалось, будто шагреновая кожа, так, наверное, там, наверху, в штабе Пожарского, начали понимать: больше нельзя разбрасываться жизнями соотечественников... Накладно! Если так, полагали, очевидно, москвичи, значит, забрезжил свет в доселе непроглядной тьме, накрывшей Великий город.

И в конечном итоге князь оказался прав. Многие из тех, кто покинул Кремль в октябре 1612 года, пережив ужасающие месяцы заточения, станут крупными правительственными деятелями, послужат новому государю и России. Страшно обезлюдевшая страна нуждалась во всяких служильцах. Даже в тех, кто прежде являл колебания и измену. Многих, очень многих простили, следуя логике Пожарского. А простив, дали дело, дали возможность проявить добрые качества на благо державы. Новая, послесмутная Россия строиться будет на любви, на примирении, на забвении старых свар, а не на мести.

И хорошо, и правильно...

Кремль пал 26–27 октября 1612 года. «На память святого великомученика и чудотворца Димитрия Солунского», – добавляет благочестивый московский книжник, видя промыслительную связь с именами обоих русских полководцев: Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского. Для двух земских воинств победа над иноплеменным врагом означала нечто гораздо большее, нежели простой военный успех. Она воспринималась как милость, поданная силами небесными. В ней видели мистический смысл и славили в первую очередь не полководцев за их воинское искусство, а Пречистую Богородицу за Ее великое заступничество.

1 ноября оба ополчения совершили крестный ход с иконами и молитвенными песнопениями. Люди Трубецкого шли от Казанского храма за Покровскими Воротами, а люди Пожарского – от церкви Иоанна Милостивого на Арбате. Московское духовенство присоединилось к ополченцам. Первенствовал среди священнослужителей Дионисий, архимандрит Троице-Сергиевский. Две колонны сошлись у Лобного места, и тогда им навстречу вышел из Кремля архиепископ Арсений в окружении иереев, с чудотворной иконой Богородицы Владимирской в руках. Армия победителей отслужила благодарственный молебен Пречистой.

Тогда и миновал пик Великой смуты. Русский корабль начал понемногу сходиться с рифов.

В начале января 1613 года начал работу Земский собор. Его заседания проходили в Успенском соборе Кремля.

К Москве съехались многие сотни «делегатов», представлявших города и области России. По некоторым сведениям, их число превышало тысячу. Собрали тех, кто сумел прибыть: иные опустевшие земли и послать-то никого не могли. К тому же страна была переполнена шайками «воровских» казаков, бандами авантюристов всякого рода, часть ее контролировали шведы, часть – поляки с литовцами, часть – казачье воинство Ивана Заруцкого. Но те, кто все же явился, представляли огромную территорию и могли совокупным своим голосом говорить за всю державу.

Худо им приходилось в голодной, разоренной, морозной Москве. Пищу, жилье и даже дрова трудно было отыскать в призрачном городе, занятом большей частью заиндевелыми печищами да заснеженными пустырями, на окраинах которых робко теснились свежие дома-скорострои. Закопченные церкви

вздымали к небу скорбные пальцы колоколен, печально плыл над развалинами звон, утративший прежнюю мощь.

Собор всей земли совершал великое дело восстановления русской государственности. Главной задачей его стало избрание нового монарха. «А без государя Московское государство ничем не строится и воровскими заводы на многие части разделяется и воровство многое множится. – справедливо считали участники собора. – А без государя некоторыми делы строить и промыслять и людьми Божиими всеми православными христианы печися некому»^[44]. Но определение проходило в спорах и озлоблении. Участники собора не быстро решили эту задачу и не единодушно. «Пришли же из всех городов и из монастырей к Москве митрополиты и архиепископы и всяких чинов всякие люди и начали избирать государя. И многое было волнение людям: каждый хотел по своему замыслу делать, каждый про кого-то [своего] говорил, забыв писание: “Бог не только царство, но и власть кому хочет, тому дает; и кого Бог призовет, того и прославит”. Было же волнение великое»^[45].

Имя Михаила Федоровича окончательно восторжествовало на соборных заседаниях 21 февраля 1613 года. Под сводами Успенского собора, главного для всей Русской земли, его нарекли государем.

11 июля состоялось венчание на царство, а вслед за ним начались большие торжества.

В конечном итоге всё устроилось ко благу России. Господь благословил царствие Михаила Федоровича. Страна с трудом, но поднялась, принялась восстанавливать силы.

Должно быть, это хорошо и правильно, когда народ, с невыносимой болью очищающий себя от греха, делает своим царем невинного отрока. Безгрешная его душа в

сердце стонущей, полуразрушенной державы, под защитой сабель и пищалей, в окружении древних святынь и современной скудости, милее была Богу, чем душа какого-нибудь прожженного интригана. Он ведь, наверное, и молился чище – за свой народ, за свою землю... Его слабость, его чистота лучше защищали страну, нежели бешеный темперамент столпов Смуты. Царь-отрок почувствовал дух Смуты, он видел, как поддаются вельможи соблазнам бесчинства, но сам не узнал падения. И Владыка Небесный был милосерден и щедр к молоденькому государю. Столько милосердия и щедрости не досталось ни многомудрому Борису Годунову, ни многоопытному Василию Шуйскому...

С приходом нового царя Смута стала утихать.

Жажда академии

В XVI веке на месте невеликого по размерам и сравнительно немногочисленного Московского княжества появилась огромная Россия, объединившая русские земли под властью одного центра.

И сей центр принялся размышлять о себе, встраивать себя в картину мира.

Москва примеряла венцы Второго Иерусалима и Третьего Рима. Для этого ей хватало материальной силы и тем более веры. Но не хватало одного элемента – очень существенного и приобретаемого большим трудом. Элемента, без которого русская столица не могла добиться уважения в глазах греческой иерархии, весьма влиятельной на Православном Востоке.

Москве не хватало просвещения.

В XIV–XV веках здесь жили ученые и весьма ученые люди, накапливались солидные книжные собрания, но... всё это существовало в разрозненном виде, вне какой-либо системы. Москва погружена была в решение бесконечно сложных политических задач, которые оставляли очень мало сил и средств на что-либо другое. Москву жгли татары. Москва переходила из рук в руки, пока шла великая междоусобная свара между потомками Дмитрия Донского – решалось семейное дело... с применением больших ратей и заграничных союзников. Москва собирала земли и власть.

Не до просвещения было.

Лишь к концу XV века здесь выросла (точнее, накопилась) культурная почва и установилась политическая стабильность. Новые обстоятельства позволяли всерьез позаботиться о просвещении. Более того, новое положение Москвы *требовало* подобных шагов. Порфиригенита рисковала войти в сообщество

христианских духовных центров, не переменив варварских одежд. Остаться в роли безмозглой силачки, над которой хихикают, как только она повернется спиной. Из этого положения был лишь один выход: найти хороших учителей, дать стране просвещение как систему, способную постоянно воспроизводить самое себя.

Недостаток его виден был на разных уровнях. Порой в иереи шел полуграмотный человек, «едва бредущий» по Псалтыри. Житейская ситуация. А порой русское духовенство сталкивалось с задачами, относящимися к богословию высшего уровня сложности, и страдало от недостатка знаний, позволяющих вести полноценное противоборство с духовным неприятелем. И это уже трагедия...

С особенным жаром дискуссии полыхнули в Европе под влиянием набирающего силу протестантизма – в середине XVI века. Одно дело – проклинать «прескверных лютор», воевать с ними, отрицать их, определять их чуждость интуитивно, и совсем другое – вести с ними серьезную полемику. Ко временам правления Василия III и его сына, Ивана IV, сама эпоха, громко стуча в ворота, потребовала развернуть государственную мощь и церковную мудрость лицом к проблеме умственной скудости. Как русскому правительству, так и русскому духовенству насущно требовалась школа: и самое простое училище, и настоящая академия, сравнимая с европейскими университетами.

Светская и духовная власти ощутили новые потребности.

Государству были необходимы переводчики-полиглоты для дипломатической службы и перевода западной литературы практического характера. Не менее того правительство нуждалось в людях широко образованных, способных осваивать знания,

относящиеся к прикладным специальностям: военному искусству, чеканке монеты, фортификации, горному делу, всякого рода промышленному производству и т. д.

Церковь же испытывала нужду в универсальных книжниках, которые совладали бы с титаническим объемом работ по исправлению богослужебных книг, смогли бы переводить учительную литературу, вести диспуты с униатами, расколоучителями и еретиками, а также поддерживали бы своей ученостью авторитет Московской иерархии на Православном Востоке.

Полтора столетия прошло под знаком великой жажды – жажды устроить собственную академию.

Русская культура XVI–XVII столетий, в отличие от периодов более ранних, несет весьма отчетливые следы этатизации, иначе говоря, огосударствления. Государство и Церковь, также являющаяся одним из составных элементов старомосковской государственности, настойчиво стремились ко введению в живописи, архитектуре, литературе определенных канонов. Эти каноны должны были соответствовать четким догматическим и каноническим требованиям. А от живописцев и духовных писателей требовалось поддерживать образ величественной симфонии двух сил: богоизбранного русского православного Священства и могучего русского православного Царства.

Подобное положение вещей происходило из тяжкого положения Московского государства, окруженного сильными неприятелями и гораздо более привычного к войнам, нежели к миру; из хозяйственной бедности страны и ее малонаселенности. Единство власти, единство военной силы, политическое единство, наконец, были жизненно необходимы, и это делало почти неизбежным единство идеологии.

Роль частных лиц и даже целых общественных групп как игроков на этом поле очень долго оставалась незначительной.

Русское просвещение, исключая лишь образование элементарного характера, создавалось государством и Церковью, возводилось ими из ничего до уровня, обеспечивавшего в будущем самостоятельное развитие. Большая трагедия состоит в том, что будущее этим ресурсом не воспользовалось...

Итак, еще в середине XVI столетия наши «книжники» – средневековые интеллектуалы – всерьез заговорили о необходимости завести училища. И действительно, в Москве рано появились «профессиональные» школы, готовившие специалистов для приказных (управленческих) учреждений. Они представляли собой нечто наподобие современных техникумов. Талантливые русские дети обучались вместе с детьми московских иностранцев в школе Немецкой слободы. Однако сколько-нибудь серьезное образование там дать не могли. Русская литература была довольно бедна переводами тех сочинений, знакомство с которыми, по понятиям того времени, делало человека образованным.

Лишь освоение одного из универсальных языков науки и высокой культуры могло обеспечить необходимый объем знаний. К ним в XVI–XVIII столетиях относились греческий и латынь. Пока правительство и Церковь, радевшие об учреждении полноценных школ, не нашли учителей, знавших эти языки, дело просвещения стояло на месте.

Оправившись от Смуты, в середине XVII века Москва предприняла серию попыток обзавестись преподавателями-греками. Известно, что в 1630-х – 1670-х годах в столице несколько раз основывались

школы, где обучали иностранным языкам – прежде всего латыни и греческому, реже – польскому.

В XVII веке русская культура в целом и русское просвещение в частности прошли через полосу борьбы между «грекофилами» и «латинствующими», иначе говоря, – сторонниками ориентации на греческий язык и греческую православную культуру или же на латынь и культуру западноевропейскую. Вопрос о создании крупных училищ оказался напрямую связан с этой дилеммой.

Выбор языка обучения стал исключительно важен. Греческий стоял ближе Византийской цивилизации и православию, а латынь приближала Россию к Европе. Во всяком случае, к ее католической части...

Образование в Московском государстве играло роль ступени в духовном развитии личности, оно никогда не являлось простым актом получения знаний. Церковь мощно влияла на все, что происходило в этой сфере. Соответственно устройство *греческих* училищ выглядело для нее приоритетным.

В Москве с почетом принимали греков – выходцев со святого Афона, из Святой земли и т. п. Их всячески старались склонить к преподавательской работе. Однако сами приезжие греки нередко страдали недостатком образованности. В их среде, существующей под пятой иноверных правителей, внутри иноверного общества духовное просвещение находилось в плачевном состоянии. Некоторые из греческих «книжников» получили образование в училищах латинизированного типа. Это создавало серьезную проблему. В Москве видели, как писал прот. Георгий Флоровский, «беспокойную связь “греческого” и “латинского”» и не без оснований опасались ее.

Кадровый резерв латинствующих оказался многочисленнее и сильнее по качеству. Его пополняли выходцы из западнорусского ученого монашества,

получавшего образование в школах латинского типа, коими обзавелись Киев, Полоцк, Вильно... На них смотрели с еще бóльшим подозрением, однако по необходимости пользовались и их услугами.

Обе стороны выставляли своих «бойцов», и те десятилетиями вели между собой интеллектуальное сражение.

Крупнейшим сторонником западной традиции просвещения в России XVII столетия стал белорус Симеон Полоцкий. Родился он, скорее всего, в Полоцке, который являлся в годы его детства и юности восточным порубежьем Речи Посполитой. До пострижения в монахи Симеон Полоцкий носил имя Самуил Петровский-Ситнянович. Образование он получил в Киево-Могилянской «коллегии» (высшее учебное заведение), а дополнил его, возможно, в академии города Вильно (ныне Вильнюс), но, скорее всего, в Полоцкой иезуитской коллегии. Современники писали о Симеоне Полоцком, что греческий язык и «греческие писания» были ему слабо знакомы. Он получил знания в просветительской системе, основанной на латыни и католицизме, хотя сам, по всей видимости, сохранил верность православию. В 1656 году Симеон Полоцкий принял иноческий сан и стал учительствовать в школе православного братства при полоцком Богоявленском монастыре.

Он сочинял стихи. Именно поэтический дар Симеона Полоцкого поразил царя Алексея Михайловича, проезжавшего через город во время очередной русско-польской войны. В 1664 году Симеон Полоцкий навсегда переехал ко двору своего нового покровителя, в Москву. Здесь он вызвал многочисленные нарекания за пристрастие к «латынству», однако царское расположение избавило его от неприятностей. Как церковный публицист, Симеон Полоцкий оказал царю

Алексею Михайловичу поддержку в борьбе со староверами и, не менее того, помог в конфликте с патриархом Никоном. Его перу принадлежит, в частности, полемический сборник «Жезл правления», заостренный против сторонников «старой веры».

Алексей Михайлович доверял Симеону Полоцкому и относился к нему весьма благожелательно. «Книжнику» позволили вести занятия в небольшой «латинской» школе. Кроме того, он был назначен воспитателем и духовным наставником царских детей. Таким образом, Симеон Полоцкий оказал колоссальное влияние на нескольких русских государей. Многие деяния царевны Софьи, да и Петра I^[46], а в особенности их тяга к Европе, объясняются педагогическими усилиями Симеона Полоцкого. Этот белорусский просветитель играл роль канала для европеизации России.

Федор Алексеевич, верный его ученик, взойдя на трон в 1676 году, заговорил о соблюдении «общего блага» как главной задаче правления. Эта идея на сто процентов принадлежит европейской общественной мысли и, конечно же, заимствована царем у воспитателя. Очень скоро царь велел оборудовать небольшую типографию и отдал ее под контроль Симеону Полоцкому – в просветительских целях (1678). Эта печатня именуется в специальной исторической литературе «Верхней», и формально ее возглавлял сам государь. Монаршее имя служило Симеону Полоцкому прекрасной защитой от любых нападков на его издательскую деятельность. Сам патриарх не мог контролировать содержание печатной продукции, выпускаемой по слову государева наставника. Верхняя типография опубликовала сборник проповедей Симеона Полоцкого «Обед душевный» и его же рифмованное переложение Псалтыри. Помимо них при Федоре

Алексеевиче издавались и другие тексты по выбору, а порой и с предисловиями Симеона Полоцкого.

Его обильное поэтическое творчество, публицистические и нравоучительные труды направлены были к врачеванию «младоумного» русского общества – по его мнению, слепого и непривычного к наукам. Сторонники византийско-русской традиции просвещения видели в его трудах высокомерное пренебрежение греко-православной образованностью.

По словам современного историка А. Панченко, придворный поэт и просветитель Симеон Полоцкий «окончил жизнь богатым человеком».

Самой видной фигурой грекофильского лагеря стал Евфимий, келарь кремлевского Чудова монастыря. Этот человек имел даже более многогранный талант, нежели Симеон Полоцкий. Всю жизнь он провел в трудах. Ученик знаменитого книжника Епифания Славинецкого, Евфимий на протяжении многих лет работал на Печатном дворе. Он не только писал сам, но и готовил церковную литературу к печати, исправлял славянский перевод некоторых частей Священного Писания.

Известен он прежде всего как полемист – едкий, остроумный и остроязыкий, легко пускавшийся в дискуссии со старообрядцами, но больше того – с «латинствующими». Из его публицистических сочинений более всего известны «Остен» и «Воумление священникам». Евфимий Чудовский, не лишенный поэтического дара, высмеивал в эпиграммах тексты Симеона Полоцкого. А с его учеником Сильвестром Медведевым Евфимий бился всерьез, отстаивая правоту Восточного христианства по вопросу о пресуществлении Святых Даров в евхаристии. Спор завели когда-то их учителя – Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий, дискуссия длилась долго, показывая

звонящую напряженность между двумя «идейными лагерями» русских «книжников». Вообще, одна из главных тем Евфимия – защита учения греческих святых отцов, греческой Церкви от искажений и ересей любого рода. А в рассуждениях «латинствующих» он видел именно «яд ереси», гибельные уклонения.

Еще одна важная для него тема – преимущество греческого языка над латынью при освоении книжной премудрости, высокой культуры. В трактате, посвященном этому вопросу, Евфимий Чудовский прямо говорит: «Учиться нам славянском потребнее и полезнее... греческого и славенского [языков]», а не латыни. Он выкладывает культурные, исторические и богословские аргументы на этот счет, но не удерживается и от иронии: «Овча подобна есть своей матери всячески по виду и нраву, яко словенская писмена греческим подобна суть: козлице же инородное аще чим малым и приуподобляется овце, обаче всячески естеством и видом отсутствует и разнствует, яко и сия латинския литеры греческим и славенским яко козлице овце много зело не подобятся, греческая же писмена и славенская яко овча с матерью...» В другом трактате грекофилов, вышедшем из окружения Евфимия, связь с греческим языком и культурой мотивируется прежде всего вероисповедными причинами: «Подобает наипаче учиться гречески, понеже не токмо тем языком вредится православная вера, яко латинским, но и зело исправляется, и учити купно с славенским».

Зная особенную любовь Федора Алексеевича к Симеону Полоцкому, Евфимий горько пошутил: «Ведати подобает, како ся волк смиряет, когда овцу уловляет или коня хватает: не только главою челом бьет к земле пред овцою, но и на чреве ползает и хвостом ласкательно творит и очами блистает весело, яко свечами. Овца же рассуждает, что у волка то же на

сердце, что и на хвосте. Не, бедная овечка! Плюй на его челобитье, утекай от него, бежи!.. Потоля... ласкательствует, поколя зубов не рознял... Тако некие человецы словами ласкательными глаголют и, пред собою зрящее, хвалят яко с любовным беседуют, отшедши же уничижают и оклеветают».

Этот монах прославился как духовный писатель своим живым языком, способностью «русифицировать» понятия греческой богословской мысли, да и просто делать русскими греческие слова – вплоть до изобретения новых глаголов: «литургийствовать», «хиротонствовать». Будучи опытным переводчиком и редактором, он чувствовал себя в стихии слова как рыба в воде. Некоторые историки приписывают ему составление сборника русских поговорок, пословиц, загадок.

К тому взлету, который произошел в 1680-х годах, просвещение на отечественной почве пришло в результате острой борьбы идейных «партий», путем проб и ошибок, после долгого поиска форм образования, в наибольшей степени удовлетворяющих запросам старомосковского общества. Первые настоятельные попытки завести большую, постоянно работающую школу предпринимались еще при государе Михаиле Федоровиче и патриархе Филарете (1630-е годы).

И греческие, и латинские школы создавались на средства государства и Церкви, финансировались различными царскими приказами или патриаршей казной, но очень долго не могли приобрести должных масштабов. Они объединяли единицы, в лучшем случае, десятки учеников.

В числе подобных училищ:

школа иеромонаха Иосифа, долгое время жившего на Православном Востоке, в частности на святом Афоне

(работала очень недолго в 1632–1633 годах);

школа Арсения Грека, открывшаяся в 1649 году и получившая смешанный греко-латинский характер (после нескольких месяцев работы преподавание в ней прервалось из-за ссылки Арсения, но в 1653 году возобновилось);

школа, или, скорее, постоянный круг общения выдающегося книжника, ритора и дидаскала Епифания Славинецкого с московскими интеллектуалами (не ранее 1649 года);

школа Андреевского монастыря на Воробьевых горах, получавшая деятельное вспомоществование от окольного Ф. М. Ртищева (даты основания и закрытия неизвестны);

школа Симеона Полоцкого в Заиконоспасском монастыре, существовавшая в 1664–1668 годах;

школа патриарших певчих, обучавшихся у «мастера греческого» старца Мелетия при государе Алексее Михайловиче (основана не ранее 1656 года при кремлевском Успенском соборе и работала с перерывами очень долго – видимо, до начала 1680-х);

школа в кремлевском Чудовом монастыре, действовавшая в 60-х – начале 70-х годов XVII столетия;

школа Иеремии, пономаря церкви Двенадцати Апостолов на патриаршем дворе (1680-е годы).

Некоторые из них являлись элементарными училищами, другие тянулись к статусу средних учебных заведений. А школа Симеона Полоцкого, кажется, по представлениям XVII века была чем-то большим, нежели среднее училище, но меньшим, нежели высшее учебное заведение – академия или университет. Современные историки педагогики нередко называют такие училища «повышенными» школами.

Все перечисленные школы, взятые суммарно, составляют подготовительный этап к более энергичным мерам по введению систематического образования на

русской почве. Все они существовали недолго и не приобрели ни значительного масштаба, ни регулярного характера. Иногда вместо школы знание передавалось путем «ученичества»: большой книжник брал одного или несколько человек на обучение, но работал с ними как со «штучным товаром», индивидуально. Подобный подход не требовал налаживания «регулярного» школьного процесса. Вводить единичное ученичество «здесь и сейчас» все же полезнее, чем откладывать передачу ценных знаний на те времена, когда появится настоящая школа, ибо они утопали в туманном завтра. Правда, оно, это ученичество, – всего лишь синица в руках...

Нетрудно понять, какова причина неспешности русского правительства по части практических действий. Она проста: первые три четверти столетия – до крайности тяжелое для России время. Семь с лишним десятилетий до отказа наполнены войнами, смутами и восстаниями, угрожавшими если не самому существованию государства, то по меньшей мере безопасности внутренних его областей. Казна вечно была пуста, внимание правительства редко переходило от внешних и внутренних конфликтов к мирным делам просвещения. Патриаршая казна оканчивала финансовый год, как правило, с прибылью, но активность Церкви в сфере образования надолго затормозилась той же Великой смутой, расколом и девятилетним отсутствием вполне законного патриарха (1658–1667).

Для создания действительно крупного учебного заведения, действующего на постоянной основе, не хватало, помимо стабильности и денег, еще и кадров. Не так просто оказалось заполучить знающего, твердого в вере, склонного к преподаванию книжника, который мог бы наладить учебный процесс. Один стар, другой подозревается в измене православию, третий не

желает задерживаться в русской столице, а четвертый слаб знаниями.

Вот и приходилось довольствоваться малыми, недолго существующими школами...

Почти все они располагались на территории Кремля, либо Китай-города – близ Никольского крестца, недалеко от Казанского собора. Тут же, у Никольского крестца, бойко шла книжная торговля. Ее особенно оживляла работа лавки Московского Печатного двора, торговавшей его изданиями. Московской типографии суждено было сыграть центральную роль в судьбах отечественного образования. Не напрасно Никольскую улицу в Москве называют «улицей русского просвещения».

Первые печатные книги в Московском государстве появились при Иване IV, скорее всего в середине 1550-х годов. Где находилась та древнейшая типография и кто был ее организатором, неизвестно. Однако некоторые книги, изданные ею, дошли до наших дней.

В 1563 году первопечатник Иван Федоров, бывший дьякон кремлевской церкви Николы Гостунского, возглавил типографию, созданную по инициативе государя Ивана IV и митрополита Макария. Она-то и стала предком Московского Печатного двора.

В 1564 году Федоров выпустил первую российскую печатную книгу, имевшую точное указание места и времени издания – «Апостол». Около 1566 года московские типографские мастера, видимо по поручению правительства, переселились на территорию Речи Посполитой, чтобы нести просвещение многочисленным православным общинам. Существует гипотеза (не вполне доказанная), согласно которой Иван Федоров получил образование в Краковском университете, а значит, культура западнорусского (белорусского) православия была ему знакома. Его

коллега по деятельности на Московском Печатном дворе Петр Тимофеев носил прозвище Мстиславец и, скорее всего, происходил из белорусского города Мстиславля; он просто возвращался на родину. Московские первопечатники начали работу в Заблудове у литовско-русского православного магната Г. А. Ходкевича и там выпустили «Учительное Евангелие». Позднее пути первопечатников разошлись, они основали несколько новых типографий: Виленскую, Львовскую, Острожскую. На землях Великого княжества Литовского два этих мастера выпустили множество новых книг, и, по мнению знатоков истории печати, повсюду их работа отличалась выдающимся качеством, высоким уровнем художественного оформления. Особенно важной работой Ивана Федорова стало издание первой полной славянской Библии (Острожская Библия 1580 года).

Типографское дело с отъездом Федорова из России в стране отнюдь не пресеклось. Во второй половине 1570-х годов большая печатня работала в Александровской слободе. В преддверии утверждения патриаршества царь Федор Иванович возобновил печатню в столице. С 1589 года, когда вышла Постная Триодь московской печати, работа типографии в сердце России не прекращалась (разве только ненадолго прервалась от бедствий Смуты).

За период без малого в полтора столетия – со времен правления Ивана Грозного до Петровской эпохи – московские печатники выпустили многие сотни изданий. Среди них основную массу составляли богослужебные книги, но были также азбуки, пособия по военному искусству, исторические и полемические сочинения, а также Соборное уложение.

В Смуту Печатный двор выезжал из Москвы, но затем, около 1615 года, возобновил работу в столице. Его каменные палаты располагались в Китай-городе, на

Никольской улице. Для управления им было организовано особое государственное учреждение – Приказ Книгопечатного дела. В середине XVII столетия заезжие иностранцы сравнивали Печатный двор с крупнейшими европейскими предприятиями.

На закате правления Ивана Грозного и при его сыне Федоре Ивановиче главным мастером книгопечатного дела являлся Андроник Тимофеевич Невежа. При государе Василии Шуйском типографом работал выдающийся «книжник», инженер и «литейных дел мастер» Анисим Радишевский. Во второй половине XVII столетия на Печатном дворе трудились два знаменитых книжника и просветителя: Епифаний Славинецкий и Евфимий Чудовский. Всё это персоны, отличавшиеся высоким уровнем образованности. Печатный двор на протяжении долгого времени был единственной по-настоящему крупной типографией России, и власти заботились о том, чтобы там работали самые просвещенные люди страны. Должность редактора на Печатном дворе (или «справщика», как тогда говорили) считалась весьма почетной.

С первых лет существования Китайгородской типографии тамошние редакторы занимались книжной «справой». Для средневекового русского общества эта работа значила исключительно много. На протяжении многих веков, со времен крещения при Святом Владимире, Русь каждый день использовала богослужебные книги. Ими пользовались священники во всех храмах и монастырях – от богатейших столичных обителей до беломорских деревянных церквочек, срубленных за один день. Для отправления разных треб, для ведения церковного служения на каждый день, каждую неделю, каждый месяц требуется целый комплект книг: минеи, триоди, октоихи, часовники, сборники молитв, апостолы, псалтири и, конечно, большие напрестольные евангелия. Они получали

славянский перевод в разное время и разного качества. Многие столетия их переписывали, делая ненамеренные ошибки и невежественные «добавки»; кроме того, сама богослужебная практика Православного Востока знала разночтения и вариации, далеко не всё было строго унифицировано. До середины XV столетия на Руси об этом не особенно беспокоились: был бы поп грамотен, была бы церковь, велась бы служба, а в нюансы вникать могли немногие, да и те, кто мог, не выказывали особенного желания. Все изменилось во второй половине XV века. Пал главный оплот восточного христианства – Византия. Вместе с нею под пятой турецких султанов оказались православные славянские земли. А на месте деревянной лесной Руси, разрозненной и ведущей бесконечные междоусобные войны, появилась колоссальная политическая сила – единое Московское государство. Ему суждено было стать цитаделью православия. Однако самое главное, то, что стояло в центре всей цивилизации – богослужение, – продолжало страдать пестротой, изобиловало искажениями.

Так вот, введение книгопечатания означало унификацию богослужебной практики в России. Справщики просматривали богослужебные книги, сопоставляли их с греческими, южнославянскими и старинными русскими образцами, ликвидировали ошибки, насколько хватало их знаний, и публиковали итоговое издание по благословению митрополита (затем патриарха) и указу царя. Рукописные книги, непроверенные и не имеющие благословения со стороны высшей церковной власти, резко теряли ценность.

Наверное, постепенно, за столетие-другое справа привела бы к желанному результату, если бы этой огромной работе не мешало несколько обстоятельств.

Во-первых, некоторые правки образованных и умных редакторов оспаривались, поскольку многим казалось, что они «рушат старину». А пользование греческими и иными нерусскими образцами не всеми воспринималось как благо: население Московского государства чувствовало себя обособленным от всего прочего мира, как и население любой другой цивилизации, это вполне нормально; оно не доверяло и православным иерархам: грекам, болгарам, сербам. Ведь все эти народы были поработаны и утратили политическую свободу! А по логике религиозного сознания тех времен, это, с одной стороны, могло означать кару Господню за грехи, и, с другой стороны, подвергало их соблазну магометанства либо латынства... И случалось так, что справщики подвергались за свою работу наказанию. Однажды их даже позорили публично, на всю Москву, хотя впоследствии признали их правоту... Спорные моменты исправлялись в книгах, а потом приходилось возвращать старую версию, поскольку новая после очередной экспертизы все же представлялась старомосковским книжникам неверной.

Во-вторых, в патриаршество Никона (1652-1658 годы) было сделано сразу несколько значительных исправлений, которые и стали одной из главных причин церковного раскола. Таким образом, книжная справа, дело, казалось бы, сугубо мирное, вызвала острый общественный конфликт. Движение староверов сопротивлялось «новинам», а Церковь постепенно вводила очередные изменения. Обе стороны проявили большое упорство, а правительство еще и большую жестокость. Проводилась жесткая политика на замену старых, неисправленных книг новыми и на подавление старообрядчества. У каждой из сторон была своя правда: Церковь стремилась очистить православие от наносных искажений, приблизить его к греческим вариантам, занять подобающее ей место в оркестре

древних христианских церквей; но, может быть, слишком много шагов было тогда сделано под влиянием самоуверенных греческих архиереев. Старообрядцы же искали справедливого отношения к старине, к вероисповедным традициям, однако при этом их вожди повели настоящую войну против собственного Священноначалия, ударились в мятеж...

В данном случае важно прежде всего то, что Печатный двор оказался на перекрестье главных культурных потоков, захлестывавших Москву. Здесь сосредоточивалась московская ученость, здесь постепенно росло крупное книжное собрание.

Не случайно именно тут возникло и первое значительное собственно-русское православное учреждение, связанное с просвещением. В дальнейшем ему суждено было стать плацдармом для самостоятельного, незаемного направления просветительских усилий.

Первым крупным училищем повышенного типа стала школа иеромонаха Тимофея, учрежденная на Московском Печатном дворе в Китай-городе.

Личность иеромонаха Тимофея изучена отечественными историками очень и очень недостаточно: в его биографии обнаруживается больше загадок и умолчаний, нежели точно установленных фактов. Между тем судьба этого старомосковского просветителя представляет немалую ценность истории русской культуры – хотя бы потому, что он первым среди всех русских ученых мужей назван в источниках «ректором». Ну а для жизнеописания царя Федора Алексеевича эта персона имеет ключевое значение. Государь и патриарх дали Тимофею высокое звание и способствовали успеху его деятельности.

Впервые имя Тимофея всплывает в связи с секретной миссией чудовского келаря Саввы,

отправленной в 1666 году к православным греческим иерархам.

В цели миссии входило окончательно решить вопрос о Московском патриаршем престоле, оставленном Никоном за восемь лет до того. Необходимо было также добыть для Москвы опытного греческого учителя (чего сделать не удалось) и решить ряд разведывательных задач. Тимофей, сын иеромонаха Иоанникия, играл в составе русского посольства второстепенную роль. Домой он вместе с Саввой и другими чинами церковного представительства не вернулся.

Тимофей – первые годы иеродьякон, а потом иеромонах – оставался на турецкой территории в течение долгих 14 лет. Он поселился у Иерусалимского патриарха Досифея, став его доверенным лицом в отношениях с московским правительством. Тимофей побывал в Палестине, Синайском монастыре Святой Екатерины и на Афоне, работал некоторое время помощником при толмаче турецкого султана. В 1670-х годах его обучал в Константинополе известный греческий дидаскал Севаст Каминитис. Кроме того, Тимофей посещал лекции в школе Манолакиса Касторианоса. Когда к туркам прибывали русские послы, Тимофей тайно связывался с ними и делился собранными сведениями. В 1679 году через посла Василия Даудова он передал совет немедленно начать наступление на Азов и Крым. Тяжкая и полная риска жизнь на чужбине, по словам Тимофея, стала ему невмоготу, и зимой 1680/1681 года иеромонах Тимофей возвратился в российские пределы.

Историк Б. Л. Фонкич высказал иную мысль по поводу возвращения иеромонаха Тимофея на родину: «Одной из важнейших задач, которую Досифей надеялся решить с русской помощью, была задача основания в Москве центра русского книгопечатания, где могли бы готовиться к изданию многочисленные

антилатинские полемические сочинения... Досифей, однако, понимал, что для организации в Москве такого центра нужна была не только греческая типография, но прежде всего – знавшие греческий язык люди, которые могли бы быть справщиками и печатниками. Между тем, как ему было, несомненно, хорошо известно, в русской столице таких людей почти не было, как не существовало и учебного заведения для их подготовки. Тимофей являлся исключительно подходящей фигурой на роль основателя такого рода школы. Организация Тимофеем сразу же после его появления в Москве греческого училища именно на Печатном дворе подтверждает наше предположение о значении планов Иерусалимского патриарха о возвращении чудовского монаха на родину»^[47].

Идея Б. Л. Фонкича остроумна, однако вызывает сомнения. Тимофей отправился на Православный Восток как агент священноначалия Русской церкви. Как, почему он должен был сделаться агентом Иерусалимской церкви в Москве? Из добрых отношений с Досифеем? Но Тимофей имел отличные отношения и с патриархом Московским Иоакимом... Зачем вообще русскому священнику оборачиваться верным агентом к услугам греческого патриарха? Что касается учреждения греческой школы именно на Печатном дворе, то Китайгородская типография давала множество удобств к подобного рода предприятию – помимо соответствия планам одного из владык Православного Востока.

Видимо, возвращение Тимофея объясняется проще: иеромонах соскучился по родным местам и загорелся мечтой устроить на одной из московских улиц такое же учебное заведение, как то, куда он ходил на лекции. Крупный интеллектual, он мог вести собственную

«игру», совершенно не зависевшую от интересов патриарха Иерусалимского.

Странствуя по Православному Востоку, Тимофей набрался знаний и «навыче греческого языка». Прибыв в Москву, он представлен был царю Федору Алексеевичу и поведал о плачевном состоянии «свободных греческих наук... терпящих порабощение от тиранской руки турок». На общем совете царь и патриарх Иоаким приняли решение «тамо умоляемое учение zde насадить», т. е. учредить в Москве греческую школу, Тимофея же назначить ее ректором. Более достойного кандидата отыскать было трудно: познания Тимофея, быть может, не столь блестящие, все же считались солидными и сомнений не вызывали. Он даже приобрел почетное прозвище Грек! Преданность же его Православной церкви и царствующей династии Романовых прошла самую суровую проверку...

Роль государя Федора Алексеевича в этом деле огромна. Его решение довести наконец до воплощения в жизнь старые планы, коими увлекался его отец, стало решающим. Огромная глыба, запиравшая русскому просвещению путь, оказалась сброшенной с дороги.

Здесь видно не простое следование воле патриарха или кого-то из вельмож, а самостоятельное действие молодого монарха.

Опыт обучения Федора Алексеевича у Симеона Полоцкого должен был подсказать ему, сколь значительное благо получит Российское государство от полноценного учебного заведения. А соработничество с Церковью определило, по какому маршруту идти, – церковная иерархия решительно предпочитала греко-славянскую школу славяно-латинской. Поддержка патриарха Иоакима означала, что часть расходов на содержание школы Церковь сможет взять на себя. Царь, вероятно, предпочел бы возложить заведование

училищем на Симеона Полоцкого, уже руководившего небольшой школой при его отце, но ученый белорус скончался еще в 1680 году... Иеромонах Тимофей пришелся кстати, горел энтузиазмом, выглядел человеком одновременно ученым и благонадежным. Ко всему прочему, Россию вот уже несколько лет не оставляла политическая стабильность. А значит, правительство получило шанс всерьез заняться тонкими, требующими денег и тишины делами просвещения.

Государь решился: быть большой школе!

Тимофеевское училище открылось в апреле – начале мая 1681 года на Московском Печатном дворе, в старом помещении типографской библиотеки. Здесь учащиеся могли пользоваться обширным книжным собранием. Тут они не испытывали недостатка в церковной литературе новой печати, т. е. исправленной при Никоне и после него. Старых, дониконовских, книг им, разумеется, не давали.

Через два с половиной года школа перебралась в две специально для этой цели перестроенные каменные палаты с редкими тогда еще стеклянными окнами. Они располагались на том же Печатном дворе, рядом с двором князя И. А. Воротынского. Это вероятно, *первое на Руси помещение, особо предназначенное к нуждам учебного процесса*. Вокруг школьных палат возвели ограду. Поблизости поставили сарай для обучения маленьких детей славянской грамоте.

Поначалу в школе обреталось всего лишь 30–40 учеников, но их количество быстро росло. К лету 1683 года число учащихся достигло 60 человек, осенью 1685 года – двух сотен, а в следующем году составило наивысшую зафиксированную источниками цифру: 233 человека. Подобных масштабов отечественное просвещение еще не знало. Среди воспитанников

Тимофея были патриаршие певчие, приказные подьячие, люди «всякого чина», в том числе «малые ребята сироты» и московские греки.

Учеников разделили на два отделения, которые условно можно именовать «славянским» и «греческим».

Ученый путешественник Энгельберт Кемпфер, посетивший Москву, летом 1683 года осматривал Китайгородскую типографию и тамошнюю школу. Его допустили на занятия «славянского» отделения. По словам Кемпфера, один класс объединял полсотни мальчиков, другой – еще десять ребят постарше. В годы расцвета школы более крупное «славянское» отделение объединяло 150–170 человек. Их обучали грамоте и письму.

Но лучшие ученики иеромонаха Тимофея вышли из небольшого греческого отделения (в разные годы от 10 до 70 человек). Там учились лишь самые способные, и именно они получали образование на уровне повышенной школы.

В программу преподавания «греческого» отделения входили, помимо умения говорить, читать и писать по-гречески и по-русски, грамматика, диалектика и риторика, причем к последней добавлялись занятия историей, географией – в качестве отдельных дисциплин. Весьма вероятно, в число предметов обучения вошла и пиитика – иначе зачем попали в школьную библиотеку Эсхил, Эзоп, Аристофан, Гомер? Всё это – круг предметов западноевропейского или греческого среднего учебного заведения. За образец явно были взяты именно греческие школы Православного Востока.

Возможно, отдельные питомцы Тимофея удостоивались у ректора уроков философии и богословия^[48]. А это уже, по понятиям XVII века, предметы из программы высшего учебного заведения.

Учащихся делили на три класса или, как тогда говорили, «статьи» по признаку овладения постепенно усложняющейся учебной программой. Каждому классу-«статье», или, если угодно, курсу, назначался свой староста – помощник ректора.

Иеромонах Тимофей не только преподавал, он также превратился из «книжника» в администратора с весьма широкой компетенцией. Ему пришлось «надзирать» за учениками, управлять учителями и отвечать за финансовую сторону деятельности школы. На него пали обязанности разрабатывать учебные программы, думать о материальном обеспечении всего дела, пополнять книгохранилище.

Последнее – особенно важно.

Большой, но узкоспециализированной типографской коллекции книг (в основном церковного содержания) скоро перестало хватать. Специально для училища была сформирована библиотека, включавшая русские и греческие книги по истории, философии, географии, медицине, арифметике, астрономии, риторике и богословию, а также словари. Ученики Типографской школы имели возможность ознакомиться с сочинениями Аристотеля, Платона, Демосфена, Катона, Гиппократ, Галена, Гомера, Аристофана, Эсхила, Эзопа, Софокла, Лукиана, Гесиода, Пифагора, Павсания, Геродота, Аммиана Марцеллина, Дионисия Галикарнасского, Диодора Сицилийского, Афония и Гермогена... Они использовали рукописные греческие азбуки, печатные грамматики, разнообразные богослужебные и богословские книги. Последние были собраны в изрядном количестве. Среди них – сочинения Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, жития святых, толковая Песнь Песней, сборник «Пчела», толкование литургии и т. п. Учащимся достались также Космографии Герарда Меркатора и хронографы (сочинения по всемирной истории).

Тимофею передали часть библиотеки покойного патриарха Никона. Для него казна приобретала книги в московских торговых рядах и у столичных греков. За книгами даже отправили в Константинополь особую «экспедицию» из двух «московских гречан» – Кирилла Юрьева и Георгия Николаева^[49]. По неполным данным сохранившихся приказных документов, школьную библиотеку составляло не менее 500 томов, в большинстве своем – греческих. Таким образом, книжное собрание Типографского училища определено входило в число крупнейших библиотек всего Московского государства.

Учащимся каждые четыре месяца выплачивалась «стипендия», на которую они могли существовать безбедно. Кроме того, им выдавались деньги на одежду и обувь, подарки. От раза к разу их радовали, например, «калачами». Из средств Приказа Книгопечатного дела и патриаршей казны получали жалованье учителя: сам ректор, а также преподаватели – московский грек Мануил Григорьев (Манолис Григориопулос) Миндилинский, свято-афонский иеромонах Иоаким, известный старомосковский книжник Карион Истомина. Притом ректор получал исключительно высокое для «книжника» жалованье: 50–60 рублей в год. Иеромонах Тимофей, кстати, звал в Москву и своего знаменитого учителя Севаста Каминитиса, но тот не смог приехать...

Бумага, свечи, чернила, книги и мебель – все это также приобреталось для школы государством и Церковью.

Выпускников Тимофеевской школы ожидали разные судьбы. Они становились служащими Московского Печатного двора, патриаршими певчими, занимали различные должности в патриаршей администрации, а позднее – в Славяно-греко-латинской академии.

В годы своего ректорства иеромонах Тимофей пользовался благорасположением патриарха Иоакима. Он попал в число патриарших крестовых священников и занимал келью в доме святейшего патриарха. В октябре 1681 года Тимофею было дано на платье 20 рублей серебром (4–5 его месячных окладов); в ноябре того же года в кельи самого патриарха и Тимофея был куплен «на завес» один и тот же материал, «крашенин лазоревый», более не доставшийся никому из должностных лиц патриаршего двора. Позднее специально для ректора возвели дом – «каменную палатку небольшую». Он даже обзавелся собственным возницей. Из постоянного роста числа учащихся видно, что эти почести оказывались Тимофею не зря: под его руководством школа завоевала у москвичей немалый авторитет.

От Тимофеевской школы оставался один шаг до Академии. Первый русский ректор сделал всё от него зависящее, дабы появилась возможность уверенно сделать этот шаг.

Государь, получивший личный опыт учебы, скорее славяно-латинского типа, нежели славяно-греческого, колебался: всё ли сделано правильно? Туда ли он направил корабль русского просвещения?

Ему нравился ход дел в Типографском училище. Как минимум первое время. По свидетельству Федора Поликарпова (одного из учеников иеромонаха Тимофея), государь Федор Алексеевич и патриарх Иоаким то вместе, то поврозь (!) «... явным и тайным образом едва ли не всяку седмицу^[50] в типографию приходяху утешаться духом о новом и неслыханном деле, учащихся же ущедряху богато одеждами, червонцы и прочими привилегиями»^[51]. Иными словами, учреждение школы, отданной под руководство

Тимофея, оценивалось царем как серьезное достижение. Но с течением времени Федор Алексеевич, видимо, усомнился в том, что подобного училища для Москвы достаточно. Патриарх, надо заметить, с неизменной доброжелательностью оказывал покровительство Тимофею и его подопечным. Одаривал их, желал видеть их искусство, а потому звал к себе в Крестовую палату на Рождество и Пасху. Более того, лично посещал училище. А вот о визитах монарха почти ничего не известно. Похоже, постепенно он охладел к собственному детищу.

Впрочем, иной причиной нежелания Федора Алексеевича посещать Типографское училище могла стать его личная драма. Летом 1681 года, произведя на свет царевича Илью, скончалась его горячо любимая жена Агафья Семеновна. А неделю спустя ушел из жизни и ее младенец. Семейное счастье государя рухнуло в одночасье. Какое-то время у него просто не хватало сил на государственные дела, включая поддержку Тимофеевской школы...

Так или иначе, с течением времени Федору Алексеевичу захотелось поставить новый опыт: попробовать в действии и славяно-латинский формат образования. А для подобного училища требовался руководитель совсем иного склада.

В Москве тогда собралась сильная партия малороссийских книжников. Наибольшим авторитетом среди них пользовался ученик Симеона Полоцкого Сильвестр Медведев.

Этот человек когда-то пользовался покровительством А. Л. Ордина-Нащокина – крупного дипломата предыдущего царствования. Когда тот испытал опалу, Медведев принял монашеский постриг. Ему пришлось на протяжении нескольких лет жить на периферии. Но с воцарением Федора Алексеевича он вернулся в столицу. Царь беседовал с ним, выслушал

добрые рекомендации от Симеона Полоцкого и объявил свою милость. Еще бы! Когда за человека просит твой учитель, трудно отказать... Медведев какое-то время исполнял обязанности личного секретаря при Симеоне Полоцком. Потом ему досталась высокая должность на Печатном дворе. Затем его возвели в «строители» Заиконоспасского монастыря. А «строитель», по терминологии русского иночества, – вовсе не каменщик и не архитектор, а нечто вроде заместителя или помощника при настоятеле. Монастырский «строитель» отвечает за важнейшие хозяйственные дела. По большому счету Медведев оказался в обители вторым человеком – после настоятеля. Духовные власти доверяли ему вести полемику по религиозным вопросам с иноверцами. Одно время его даже собирались приставить для учительства к царевичу Петру, как это было когда-то с Федором Алексеевичем и Симеоном Полоцким. Но тут уж воспротивился патриарх, ожидавший от Медведева влияния в латинском духе.

По словам историка средневековой русской литературы А. Панченко, «...после смерти Симеона Полоцкого... Сильвестр занял при дворе его место, сохраненное им и в правление царевны Софии Алексеевны – место придворного поэта, проповедника и богослова». От своего покровителя он унаследовал и богатое книжное собрание.

Иначе говоря, Медведев оказался своего рода духовным преемником Симеона Полоцкого.

Именно этой персоне Федор Алексеевич решил доверить прокладку «альтернативного маршрута» для русского просвещения.

В 1682 году школа Сильвестра Медведева начала свою деятельность в том же Заиконоспасском монастыре, где преподавал когда-то Симеон Полоцкий. Ясно, что ей предназначалась роль славяно-латинского училища. Школа умещалась в двух подземных кельях

обитатели, устроенных по царскому указу. Она соседствовала с Типографской школой иеромонаха Тимофея – их разделяло всего несколько домов по одной стороне улицы, – но в духовном смысле отличалась от него разительно.

Затея с медведевской школой относится к последним месяцам царствования Федора Алексеевича. Покровительство со стороны царя длилось недолго. А патриарх такому начинанию вряд ли оказывал содействие: Медведев представлял иную «книжную партию», от него небезосновательно ждали латынничества. По документам не видно, чтобы Заиконоспасское училище приобрело столь же серьезный масштаб, как и заведение на Печатном дворе. Медведев располагал первоклассной по тем временам библиотекой – 630 названий книг на латыни, польском, старобелорусском и греческом языках. На время под его руководство перешел преподаватель Типографской школы Карион Истомин. Но при всем том... Медведеву досталось весьма скромное количество учеников. Их набиралось порядка двух десятков.

Скорее всего Медведев не сумел вырастить из своей школы что-либо сравнимое с училищем Тимофея по самой простой причине: немногие желали отдавать ему своих детей. Славяно-греческое образование в глазах москвичей выглядело роднее, «истиннее». Латынство отдавало еретичеством. На латынство смотрели с подозрением. А учителя-греки, пришедшие к Тимофею, – все же свои, православные, меньше причин бояться их. Да и патриарх стоит у них за спиной.

Училище Медведева даже подверглось осторожной критике со стороны патриарха Иерусалимского Досифея – великого сторонника греко-славянского просвещения. Нахваливая «еллинскую» школу Тимофея в письме к Федору Алексеевичу, он также намекает на

неуместность иного образовательного «формата»: «Благодарим Господа Бога, яко во дни святого вашего царствия благоволи бытии в царствующем вашем граде еллинской школе: еллинским языком писано Евангелие и Апостол, еллины бяше святы отцы, еллински написашеся деяние святых соборов и святых отцов списание и все святые церкви книги, и сие есть божественное дело, еже учити христианом еллинский язык, воеже разумети книги православные веры, якоже писании суть, и познавати толкование их удобно. И наипаче, дабы отдалении были от *латинских, иже исполнены суть лукавства и прелести, ереси и безбожства* (курсив мой. – Д. В.)»^[52].

Впрочем, письмо дошло до Москвы, когда царь уже скончался.

Правительство решило создать из нескольких школ единый учебный центр более высокого уровня. Идея открыть собственный русский университет обсуждалась давно.

Весной 1685 года, в правление царевны Софьи, в Москву прибыли ученые греки братья Иоанникий и Софроний Лихуды. При поддержке правительства они открыли еще одну школу – при Богоявленском монастыре.

Позднее под их руководство передали 7 лучших учеников Типографской школы. Потом эти два учебных заведения оказались слиты воедино. Зимой 1687/1688 года Тимофеевское училище прекратило свое существование, а часть его воспитанников продолжили получать образование у Лихудов.

«Выходцы» из Типографской школы с первых шагов лихудовского училища составляли его ядро, наиболее подготовленный материал для дальнейшего совершенствования в науках. По словам того же

Б. Л. Фонкича, «уровень преподавания в Типографской школе был, по-видимому, высок. В научной литературе встречаются указания на то, что Николай Семенной, Федор Поликарпов и Алексей Кириллов, проучившись у Лихудов всего два года, оказались в состоянии за очень короткий срок перевести с греческого языка на русский большое и сложное богословское сочинение своих учителей – “Акос”. При этом, однако, упускают из виду, что до того, как названные воспитанники Академии попали туда, они в течение четырех лет обучались в Типографской школе, где, по-видимому, прошли полный курс среднего учебного заведения и настолько овладели греческим языком, что смогли сразу же продолжить занятия у Лихудов, которые по прибытии в Москву совсем не знали русского языка»^[53]. Остается добавить: в Типографской школе ученики Тимофея могли взойти на несколько более высокую ступень, нежели выпускники среднего учебного заведения. Благодаря наличию в библиотеке книг по философии и богословию, а также в беседах с ректором и самостоятельными усилиями они, видимо, отчасти освоили предметы высшей школы.

К учебному заведению Лихудов, как уже говорилось, добавились те, кто получал образование в Медведевской школе при Заиконоспасском монастыре. Да и сами Лихуды со своими учениками переместились в эту обитель, располагавшую значительным книжным собранием^[54].

Так в 1687 году произошло объединение нескольких школ. Из них возникла знаменитая Славяно-греко-латинская академия. Специально для нужд учащихся была построена большая удобная палата в Заиконоспасском монастыре.

Огромная библиотека Типографского училища большей частью перешла в Патриаршую домовую казну.

Иеромонах же Тимофей принял почетную должность справщика на Печатном дворе, в которой и пробыл до своей кончины 2 апреля 1698 года. 1680-е годы стали пиком его достижений. Однако и на закате жизни он пользовался уважением, а знания его находили должное применение. Жалованье позволило ему обзавестись личной книжной коллекцией, довольно богатой. Иными словами, судьба этого русского книжника завершилась беспечально.

В Славяно-греко-латинской академии обучались главным образом лица духовного звания и их дети. Уровень образования, которое давала Академия, был весьма высоким для XVII века. Историки спорят: следует ли ее считать полноценным высшим учебным заведением, ведь в XVII столетии она именовалась просто «школы» или «схолы»? Это рассуждение неверно: уже летом 1687 года Богоявленская школа Лихудов именуется в приказных документах «новая Ликия», а в 1693 года учебное заведение в Заиконоспасском монастыре четко названо «академией», а не «схолами»^[55].

В дальнейшем Академия знала взлеты и падения, но сумела устоять. Она прошла через века, меняя названия и местоположение. Множество блестящих ученых, деятелей культуры и высших лиц нашей Церкви обучались там. Впоследствии ее перевели в Троице-Сергиеву обитель. На сегодняшний день Славяно-греко-латинская академия носит название Московской Духовной академии и представляет собой крупнейший церковный вуз России. А в зданиях Заиконоспасского монастыря в 1992 году возник Российский православный богословский университет имени святого апостола Иоанна Богослова.

До Петра I, до обвальной вестернизации России, страна сумела великими трудами создать собственную Академию, сделать шаги по самостоятельно проторенному пути просвещения. Но всё это оказалось на задворках нашей цивилизации в результате поспешных преобразований Петра.

До петровского правления славяно-латинский «формат» просвещения проигрывал славяно-греческому в условиях естественной конкуренции. И лишь в годы царствования Петра Алексеевича латинская схоластика пришла в Академию, надолго иссушив ее умственную самостоятельность. Академия примет направление, когда-то поддерживаемое Симеоном Полоцким и Сильвестром Медведевым, дух высокой славяно-греческой образованности уничтожится в ней надолго...

Слава Богу, не навсегда. Пройдут десятилетия, и она воспрянет и переживет еще творческое возрождение.

Москва бунташная

Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропороли вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого...

*И. А. Бунин. Окаянные дни.
Москва, февраль 1918-го*

Менее века Москва удерживала за собой недобрую славу «бунташного города». Не приросла она к русской столице. Но то недолгое время, пока Великий город жил как на пороховой бочке, багровый миф средоточия русской мятежности принадлежал ему по праву. Честно заработано!

В советское время авторы исторических романов даже, бывало, рисовали какую-то «революционную романтику» на сей счет. Могучие «народные вожди», благородное кипение народной стихии, выжигание скверны...

Романтики в бунте никакой нет.

Кровь. Смерть. Разорение. Ужас.

Особенность обширных русских восстаний такова: всякий раз на территории, контролируемой восставшими, теряют силу и законы, и устои традиционной нравственности. Жизнь идет вне каких-либо норм, и единственное право, действующее в такие моменты, – право силы. Значительная часть «социальной борьбы» тех времен укладывалась в рамки безбожной и беспощадной уголовщины.

Видимо, такова особенность Русской цивилизации: из некоторых ситуаций может быть только один выход – безоглядно жестокий бунт, сметающий государственный порядок до самого фундамента, а затем зверски жестокая расправа над участниками бунта. Время от времени подобное кровопускание делается неизбежным, и остается только одно: пройти через него, пережить его, а потом восстанавливать добрую мирную жизнь. Слишком большое давление порой испытывает Россия извне. Иногда приходится его уравновешивать не меньшим давлением изнутри. И хорош тот государственный строй, который умеет держать баланс между первым и вторым.

Но когда этот баланс нарушается, русский бунт, сжатый улицами Великого города, концентрированный, едкий – хуже серной кислоты – получает колоссальную разрушительную силу. Мятеж, вспыхнувший в лабиринте столицы, страшнее и кровавее мятежа, прокатывающегося по любой другой области Русской равнины. Целая преисподняя беззакония выплескивается на улицы.

Образованному классу России очень хорошо известна фраза из повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Произносят ее к месту и не к месту. Иногда – с ироничным выражением лица. Мол, – понимаем: Азия-с, варварство, грубятина... Оттого иной сторонник «великих потрясений» душою прикипает к «бессмысленному и беспощадному»: да-да, пускай восстанут, пускай сметут, на очищенное место явятся понимающие люди, введут новый порядок, кого надо – выжгут, кого надо – загонят обратно в пещеры, остальных цивилизуют, причешут, кастрируют, и здесь можно будет очень неплохо жить!

Ох, поменьше бы кровопусканий по любой причине! Для России целительна тишь. А для Москвы – великая тишь.

Возвращаясь к пушкинской фразе: русский бунт всегда и неизменно бывал беспощадным – да! Милосердие на время исчезало из сердец. Кровавый пир мятежа заменял на Руси карнавалы. Волюшка и великий отдых от великих тягот – большой соблазн. Потому и «гуляли», не помня в себе образа Божьего.

Но бессмысленным он не бывал никогда.

А уж если бунт обрушивается на Белокаменную, то в нем пытливым современникам и потомкам открывается бездна смыслов. Тут смысл бунта виден лучше всего. Тут он конденсируется в умах моментально.

Чаще всего московское восстание – плод многоходовой интриги, «поставленной» сильными людьми мира сего. Первая вспышка мятежности случилась на московских улицах в 1547 году. Затем полыхнуло после смерти Ивана Грозного в 1584-м и, вдогонку, в 1586-м. При начале Смуты большой московский бунт погубил Самозванца и привел к власти Шуйских (1606). А пятью годами спустя он обрел святую форму восстания против власти иноземцев и иноверцев.

Всякий раз при внимательном рассмотрении обнаруживается «партия» аристократов, подстрекавшая москвичей к бунту. Всякий раз кто-то из высокородных вельмож, мягко говоря, бросал дрожжи в выгребную яму. С 1547 года по 1611-й никогда, ни единого раза вооруженное выступление не начиналось само по себе, спонтанно. Его либо готовили заранее, либо пускали искру в уже тлеющую солому – иными словами, доводили до кипения охваченную досадой толпу и направляли ее на врагов. Руками взбунтовавшегося посада старомосковская знать не раз и не два расправлялась со своими неприятелями. Особенную ловкость проявляли те же Шуйские. Правда,

сами они тоже потеряли власть в результате заговора и бунта.

Да и гораздо позднее, в 1905-м, а потом в 1917 году Москва не сама устремлялась к взрыву. Требовались долгие усилия большевиков и прочих революционных сил. Сама по себе Москва, как отсыревшие спички, пылать отнюдь не хотела.

Но при первых Романовых Россия переживала мучительное время великой скудости. Из смутных лет начала XVII столетия наша страна вышла до крайности ослабленной, потерявшей громадные территории, разоренной страшнее, чем СССР после Великой Отечественной. Немыслимое множество сел и деревень исчезли с карты. Богатые пахотные области не обрабатывались. Города оскудели купцами и ремесленным людом. А чтобы удержаться на краю новой военной катастрофы, собрать войско и в перспективе отвоевать потерянные земли, правительству приходилось с кровью выжимать из подданных необходимые средства. Налоги, возложенные на посадское население, росли. Купцы обязаны были отрываться от своей торговли для работы на государство – в кабаках, на таможне, при разного рода казенных предприятиях. Торгово-ремесленный люд нищал и разорялся. Отсюда – постоянное напряжение в обществе.

Что ж, где тонко, там и рвется.

Середина – вторая половина века стала эпохой, когда русские города без конца сотрясались от бунташных штормов. И больше всего бедствий приносили они Москве. Именно тогда, при царе Алексее Михайловиче и его ближайших преемниках, правительство вело жизнь заложника, привязанного к пороховой бочке с зажженной свечой в руке. Не оттого ли столь сильна любовь первых Романовых к загородным резиденциям? Не оттого ли в ту пору

строили их во множестве, украшали, да и жить предпочитали именно там? Кремль слишком напоминал остров, в скалы которого бьют и бьют угрюмые волны озлобленного города. Как угадать приближение большой бури? Безопаснее жить подальше от тех мест, где она быстро набирает необоримую мощь.

Государево тягло становилось столь тяжким, а обиды, наносимые начальством, столь унижительными, что посад более не мог терпеть и недра его выплескивали пламя. Люди сплывались безо всякой указки со стороны. Быстро, следуя казачьим обычаям, собирались в «круги». Сочиняли челобитья и шли с ними к государю. Если их требований не выполняли спешно, вернее сказать, неотложно, они принимались громить дворы главных обидчиков.

На первой стадии бунта поднявшихся москвичей вела нестерпимость их положения. Но дальше... дальше начинали действовать дикие законы поведения большой толпы, охваченной гневом за настоящее и страхом перед будущим.

В законах того времени различали понятия «заговор» и «скоп».

Первое – плод злого умысла, интриги, политической комбинации. Иногда результатом заговора становился бунт, но только не при Алексее Михайловиче.

Второе – итог страстей, раздирающих градское многолюдство. «Скоп» подобен рою рассерженных пчел. Как его усмирить? Чем его остановить? Да силы такой нет, чтобы могла легко и просто его рассеять!

Карали за «скоп» точно так же, как и за «заговор». Однако в годы царствования Алексея Михайловича «скопа» боялись несравненно больше. Бунт вспыхивал безо всякого заговора и палил всё вокруг.

В 1648–1650 годах восстания в нескольких крупных городах государство потрясли до основания.

Злоупотребления приказных людей и особенно введение грабительского налога на соль вызвало волнения столичного посада. 1 июля 1648 года посадские люди, оттеснив охрану государевой кареты, передали челобитную с жалобами на особенно нелюбимых приказных людей. Царь выслушал и, не объявляя своего решения, отправился дальше. Однако государев поезд задержался, и на этом месте началась драка. На следующий день правительство повело с посадом переговоры. Высокомерный тон аристократов, выдвинутых переговорщиками, только озлобил народ. На третий день столица бушевала. Восставшие разносили по бревнышку дворы «сильных людей», прежде всего чиновников-взяточников. Кое-кого из них правительство выдало на расправу, до других бунтовщики добрались сами, казнив их страшной смертью. Хуже всего было то, что мятеж никак не стихал. Бунтовское пламя пылало в Москве на протяжении многих дней. И даже уговоры духовенства – вплоть до патриарха Иосифа – не возымели действия. На стрелецкие полки в деле подавления мятежа положиться было нельзя: многие стрельцы, недовольные худой выплатой жалованья, сами оказались среди восставших. В 1680-х – 1690-х еще полыхнут устрашающие стрелецкие бунты...

Волнение в Москве стало утихать только после раздачи денег стрельцам и значительных уступок правительства. Главные приказные лихоимцы, уцелевшие во время буйства мятежных толп, оказались смещены с должностей. Более того, восставшие добились обещания привести в порядок законы и смягчить судопроизводство по задолженностям перед казной.

Эхом Соляного бунта по десяткам русских городов прокатились волнения и беспорядки.

А полтора десятилетия спустя, когда правительство занялось разорительными финансовыми махинациями, грянул Медный бунт. Сам царь Алексей Михайлович оказался в шаге от разъяренной толпы. И карали мятежников с из ряда вон выходящей свирепостью...

Весной 1682 года Москву потрясло грандиозное восстание стрельцов, заставившее вспомнить огненное горнило Смуты. Вновь, как при Самозванцах, а потом – как при великом Соляном бунте, содрогнулось здание российской государственности. Страшная трещина прошла от подвалов до крыши.

Стрелецкое восстание – самое масштабное из всех, какими кипела русская столица с XVI столетия по XX. Все ужасы «бунташной Москвы» выразились в нем с наибольшей силой и полнотой. И все три основания русской мятежности видны в нем с необыкновенной отчетливостью.

Аристократическая интрига?

На месте.

Осознанное и разумное сплочение народной массы, с которой поступают жестоко, оскорбительно, несправедливо?

В полный рост!

Ее же дикое, немилосердное беснование после первых успехов бунта?

И без этого не обошлось.

Москва бунташная – чудовищна. Не приведи Бог оказаться на улицах Москвы, когда там пляшет мятежное пламя.

Незадолго до смерти царя Федора Алексеевича заволновались столичные стрельцы. Хворый царь физически не мог уследить за всеми важными делами. И, как это нередко бывает, рядом с человеком, устремленным к масштабному реформированию,

угнездились немало пошлых корыстолюбцев. Их упущения по службе, а больше того, стремление присваивать себе жалованье подчиненных, привели к печальным последствиям.

Из сообщений датского посла известны следующие обстоятельства: «Началось это их дело^[56], как нетрудно проследить, еще при жизни покойного государя [Федора Алексеевича], да еще имеются точные сведения, заставляющие думать: а не было ли оно [восстание] основной и главной причиной его смерти? Приблизительно за два дня до его кончины один стрелец был бит кнутом из-за того, что он в воскресенье, будучи послан на какую-то стройку (которую их царские величества хотели как можно скорее завершить), работал там слишком медленно. Кроме того, был также посажен один офицер, который ими командовал, а с ним и еще несколько стрельцов. Но их товарищи не только избежали наказания, но и начали громко кричать, что служба их стала невыносимой, ибо их принуждают даже воскресенья лишать святости^[57] и что нужно найти способ от этого избавиться. Призывы эти, какими громогласными поначалу они ни были, потом удалось подавить... Однако всеобщее сочувствие этому делу оказалось настолько фатальным для покойного царя, что он уже на следующий день стоял на пороге смерти».

Итак, царя, и без того находящегося в полуживом состоянии, дурные известия привели в расстройство. А оно в свою очередь окончательно лишило его сил для борьбы с болезнью.

Другой датчанин 19 мая 1682 года докладывал из Москвы о тех же событиях, но несколько подробнее и с иными акцентами. По его словам, кровавая трагедия стрелецкого бунта «...произошла в большой мере из-за недовольства стрельцов, так как они очень часто

должны были выполнять для знати тяжелую работу (причем не освобождались от нее в выходные и праздничные дни), в частности должны были работать на своих полковников, принуждаемые к этому с неимоверной жестокостью; в особенности жаловались стрельцы полковника С. Грибоедова. Они на прошедшей Святой неделе были вынуждены добывать за городом камень, известь и другие материалы для строительства его нового дома и привозить на его двор, вследствие чего стрельцы, возмущенные этим положением, а также и сокращением своего жалованья (из которого полковник всегда что-нибудь отнимал), передали 25 апреля его царскому величеству Федору Алексеевичу жалобу (при этом он еще был жив, но уже очень слаб), для чего они избрали из своей компании нужное лицо, чтобы подать эту жалобу в Стрелецкий приказ, которая была вручена думному дьяку П. П. Языкову, управлявшему приказом вместе с Ю. А. Долгоруким. Передавая жалобу, он сказал князю, что с ней приходил пьяный стрелец и при вручении ее произносил много нецензурных слов о Долгоруком и других, а тот ответил думному, что пьяного стрельца утром необходимо привести к съезжей избе и высечь кнутом для примера другим... На другой день стрелец, отдавший жалобу в приказ, пришел и спросил думного, что последует в ответ на все их просьбы, а тот ответил ему, что по его царского величества указу его накажут за этот бунт и высекут кнутом перед съезжей избой для примера другим, и дал распоряжение осуществить это дьяку стрелецкого приказа. И стрелец, взятый под охрану двумя судебными служителями и палачом, как только сорвали с него платье и дьяк зачитал приговор, закричал своим товарищам, другим стрельцам: "Братья, я с вами всеми одобрял эту жалобу и требовал ее подачи, почему же вы допускаете, что я буду так оскорблен?!" В ответ на это некоторые из пришедших

стрельцов бросились на палача и двух служителей, избили жестоко их ногами и выручили таким образом своего собрата. Дьяк (который из страха не слезал с лошади), при виде этого ретировался так быстро, как мог, и сообщил думному о случившемся...»

Таким образом, у стрельцов были серьезные причины к возмущению. Их обирали, их заставляли работать на командиров, отвлекая от собственных промыслов, притом не позволяли отдохнуть даже в воскресные дни. Надо удивляться еще тому, что мятежные настроения разгорались медленно, а не вспыхнули разом до небес. Стрельцов следует почитать долготерпеливцами. Они уже подавали челобитные, но безрезультатно. Грибоедовская, поданная при накаленных чувствах, очевидно, явилась знаком серьезного ропота.

Мятеж начался с сущей малости. Возможно, решительных действий Долгорукого или иных людей, присланных по велению царя, хватило бы для его замирения. Но государь, находившийся при смерти, уже не мог уделить стрелецкому делу достаточно внимания, а Долгорукий оказался слишком слаб или же слишком самоуверен для решительного отпора.

Достоверно известно, что Федор Алексеевич за несколько суток до кончины успел ознакомиться с челобитьем возмущенных стрельцов. 24 апреля царь дал указание: полковника Грибоедова, бесстыдно притеснявшего своих подчиненных, лишить чина и земельных владений, а затем сослать в дальнюю Тотьму. Это значит: сам государь хотел по чести разобраться со стрелецким делом и даже начал разбираться. Он и раньше предостерегал стрелецких командиров от обкрадывания подчиненных. Для него история со злоупотреблениями подобного рода – не новость. До наших дней дошла служебная инструкция 1677 года, выданная от царского имени одному из

провинциальных стрелецких «голов». Там четко сказано: «Посулов... и поминков у стрельцов ни от каких дел не имать ни у кого ничего, ни которыми дела^[58], и насильства не чинить; и того беречь, чтоб никто стрельцам насильства и пропаж ни в чем не чинил... А как... стрельцам дадут государево жалованье, и то жалованье... писать... в книги порознь по десяткам. И посулов и поминков у стрельцов от государева жалованья и от иных ни от каких дел не имать... А будет он... [голова стрелецкий] учнет на себя и на сотников заставлять каких дел делать без найму... за то от великаго государя царя и великаго князя Феодора Алексеевича быти ему... в опале и в жестоком наказанье без пощады». Таким образом, безобразия, учиняемые головами, полковниками и сотниками стрелецкого воинства, являлись для государя открытой книгой. За них полагалось сурово наказывать.

Не успели...

Вернее, не успел.

Приказ насчет полковника Грибоедова – один из последних, чуть ли не самый последний, вышедший от имени Федора Алексеевича. Если бы советники царя до конца выполнили хотя бы его, если бы стрельцам дали понять: их дело не «встало», по нему ведется разбирательство, возможно, обошлось бы без великой трагедии. Но как только Федор Алексеевич лишился сил, из государственной машины как будто вынули душу! Дела затормозились, а опальному Грибоедову пришлось пару деньков отсидеть под караулом, и... всё! Опала его растворилась, двери тюрьмы открылись, чтобы выпустить его на волю.

Не того ждали стрельцы. К царю они шли с надеждой, на его суд возлагали доброе упование. К несчастью, царь уже ничего не мог рассудить. А

Долгорукий и иные вельможи вовсе не горели желанием карать видного дворянина.

Страсти накалялись. Не получив ответа, мятежники принялись собираться «кругами» – как заведено у казаков. Стрелецкие слободы набухали гневом.

Ночью с 26 на 27 апреля стрельцы составили большую компанию. К ним пристали их собратья из других полков, страдавшие от такого же угнетения. Наутро собрались представители от 20 полков. К девяти полковникам имелись большие претензии. «Стрельцы... хотели учинить над ними расправу или взять с этих полковников половину денег, но в четверг 27 апреля умер его царское величество Федор Алексеевич около 4 часов пополудни, вследствие чего все стрельцы должны были придти в замок^[59] для того, чтобы принести присягу новому избранному царю Петру Алексеевичу... что стрельцы с радостью сделали и ушли домой»^[60].

Стрелецкое войско давно использовалось для поддержания порядка в столице. Его бойцы селились отдельными слободами, всегда имели под руками вооружение, располагали опытом военной организации и ведения боевых действий. Это вовсе не хаотичные толпы посадских людей и не рой рассерженных крестьян. Это угроза иного порядка. Стрельцы, при их многолюдстве, представляли собой огромную силу. Против них правительство могло использовать дворянское ополчение, а также полки нового строя. Но первое еще требовалось собрать – дело небыстрое! А вторые... вторые могли и сами испытывать проблемы с выплатой жалованья. Смерть Федора Алексеевича как будто утихомирила бунтовщиков: они, видимо, надеялись на справедливый разбор их жалоб со стороны нового государя и нового правительства. Стрельцы понимали: дело затормозилось по самым

уважительным причинам, можно бы и подождать еще немного.

И было бы очень славно, кабы аристократические «партии» обратили побольше внимания на эту новую политическую силу. Да не пытались бы лишний раз тревожить ее и растягивать это самое «немного».

Но вышло иначе. Придворные интриганы не сразу сообразили, с чем они имеют дело...

Едва несчастный государь Федор Алексеевич испустил последний вздох, как пришли в движение аристократические придворные партии. Целью одной из них было утвердить на престоле мальчика-Петра, сына царя Алексея Михайловича от Натальи Кирилловны Нарышкиной. Вокруг этой кандидатуры сгруппировались, помимо самих Нарышкиных, боярин Языков, крупный дипломат Артамон Матвеев и множество их сторонников. Им противостояла другая партия, стоявшая за царевича Ивана. Этот был намного старше Петра, но плохо видел, да и в целом отличался скверным здоровьем. Он родился от брака Алексея Михайловича с Марией Милославской, скончавшейся за много лет до стрелецкого бунта. За Ивана стояли Милославские, его сестра царевна Софья и большой вельможа князь В. В. Голицын.

Первый ход сделали Языков, Нарышкины и их сторонники. Они попытались с большой поспешностью, не дав телу Федора Алексеевича остынуть, утвердить единоличную власть нового царя – Петра Алексеевича. Федор Алексеевич отправился в посмертное странствие вскоре после полудня – близ четверти первого. А к вечеру дворец и вся Москва знали: новым государем наречен Петр Алексеевич. Некоторые источники сообщают жутковатую деталь: наречение нового монарха состоялось через час после смерти прежнего или даже ранее. Эта дикая торопливость производила

странное впечатление. Ни Земского собора, ни даже Соборного совещания... Петра Алексеевича *в обход его брата Ивана* «избрал» на царство узкий круг царедворцев.

Очень хорошо видно, как это происходило, по «поденным запискам» одного из русских очевидцев переворота: «В нынешнем во 190-м (1682) году апреля в 27 день в 13 часу дни судьбами великого бога великий государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, оставя земное житие, преселился в вечный покой. И того ж часа великий господин святейший Иоаким патриарх московский и всеа Росии со освященным собором, и бояре, и окольничие, и иных всяких чинов избрали на царство благочестивого великого государя царевича и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца, и того ж дни ему, великому государю, крест целовали». Другой источник свидетельствует о том, что присягу начали принимать моментально – прямо в момент «избрания» Петра Алексеевича на царство: «И того ж часа в верху, в комнате и в передней, при святейшем патриархе и при властях бояря, и окольничие, и думные, и ближние люди, стольники, и стряпчие, и дворяне, и дьяки и жильцы, а в соборной церкви всяких чинов люди целовали животворящий крест великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю...; а в то время в соборной церкви были: митрополиты Иона Ростовской, Филарет Нижегородской, Иларион Суздальской, да боярин Петр Михайлович Салтыков, думной дворянин Богдан Федорович Полибин, думной дьяк Григорий Богданов».

Называя вещи своими именами, вопрос о престолонаследии решили патриарх, «партия» Нарышкиных при поддержке Языкова, а также те, кого удалось в кратчайший срок отыскать и призвать к

совету до дворца. Может быть, двадцать человек. Может быть, десять. А может быть, всего-то с полдюжины вельмож, духовных и светских. Они заранее держали «под рукой» приближенных, коим могли доверить принятие присяги.

Далее группа Нарышкиных – Языкова попыталась укрепиться у власти, собирая сторонников и утесняя неприятелей.

По словам того же датского посла, «находившийся в ссылке Артамон [Матвеев] приехал вместе с отцом овдовевшей царицы [Н. К. Нарышкиной] и тремя братьями Нарышкиными снова в Москву...» – собственно, дальняя его ссылка давно закончилось, Матвеев сидел в Лухе и ждал вестей от Федора Алексеевича. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы добраться до столицы. «Все те, кто в годы правления покойного царя был в опале, оказались снова возведенными в прежнее достоинство. Затем для Артамона Сергеевича была учреждена должность великого опекуна. Другие же бояре, в особенности старик Одоевский, как цейхгофмейстер^[61], были сильно принижены по той причине, что в былые времена к нему [А. С. Матвееву] относились настолько враждебно, что оказалось возможным нанести ему ряд очевидных оскорблений. Отсюда следует, что, судя по всему, пришло его время брать реванш у своих противников».

Но Милославские еще далеко не проиграли. Они готовят ответный ход. События начинают разворачиваться против Нарышкиных, Матвеева и Языкова после их промашки в день похорон Федора Алексеевича. Погребение государя всероссийского производилось с необычной поспешностью. К памяти его «партия» Нарышкиных не проявила должного уважения. Тем самым уже почти выигранное дело оказалось поставленным на грань полного краха.

Фатальная ошибка была допущена ими из-за недооценки противника. Нарышкинский круг, вероятно, уверился в совершеннейшей собственной победе, а потому открыл уязвимое место для сокрушительного удара.

Его не замедлила нанести царевна Софья: «Наступил день погребения царя Феодора... – сообщает очевидец. – Гроб кладут на сани; сани поднимают на плечи бояре и несут таким образом в церковь, вслед за ним бояре несут на санях супругу царя, распростертую и рыдающую. За ними шел царь Петр с боярами, патриархом, властями и духовенством... Хотя не в обычае было, чтобы родственницы царя, в особенности девицы, сестры царские (лица которых не видит ни один живой мужчина), присутствовали на похоронах, тем не менее одна из шести сестер Феодора, Софья, настояла на том, чтобы идти непременно в церковь за телом своего брата; и как ни отговаривали ее от этого небывалого поступка, никакими мерами нельзя было убедить ее отказаться от своего намерения. И она пошла-таки в церковь с великими воплями и рыданиями, от чего не могли удержать ее несколько десятков монахинь, укрывших ее. На этот шум сбегались со всех сторон люди, как на какое-либо зрелище; и толпа все увеличивалась, тем более, что обряд погребения у них продолжается долго. Царь Петр не достоял до конца его и ушел из церкви раньше, побуждаемый к этому своей матерью и дядями Нарышкиными. За ним вышли почти все бояре. Этот поступок изумил и духовенство, и простой народ. У них при погребении есть песнопение для прощания с умершим; когда запоют его – “Приидите последнее целование”, – патриарх, расставаясь с усопшим, дает ему целовать крест, благословляет его и прощает ему свои обиды, причиненные ему в течение жизни, и взаимно испрашивает у него прощения... Видя, что царь

Петр и бояре ушли, не попрощавшись, царица Софья оставалась слушать отпевание до конца с великим плачем. Остальные сестры ее в скорби лежали в это время больные в своих покоях. Узнавши, что царь Петр ушел из церкви до последнего прощания, они воспылали гневом и велели передать ему через монахинь, что вероятно он не брат его и не был им: разве не был последний ласковым царем для него, что он не пожелал проститься с ним и дожидаться конца отпевания? На это мать Петра отвечала, что Петр еще малый ребенок, он долго оставался не евши, ослабел и принужден был уйти. Иван Нарышкин добавил со своей стороны: "Что толку было в его присутствии? Кто умер, пусть себе лежит, а царь не умер, но жив!" Немного погодя царь Петр, покушавши, отправился навестить больных сестер, но они в гневе не допустили его к себе, горько плакали и искали удобной минуты, чтобы отомстить его сторонникам... Между тем Царица Софья, возвращаясь с похорон и считая себе за бесчестье и оскорбление со стороны Петра и Артемона их поступок, громко кричала толпе: "Смотрите, люди, как внезапно брат наш Феодор лишен жизни отравой врагами-недоброжелателями! Умилосердитесь над нами сиротами, не имеющими ни батюшки, ни матушки, ни брата-царя! Иван, наш старший брат, не избран на царство... Если мы провинились в чем-нибудь пред вами или боярами, отпустите нас живыми в чужую землю, к христианским царям". Слыша это, люди сильно волновались, не зная причины».

Да как так? Скончался великий государь, а его младший брат, нареченный новым государем, так скоро утек с его погребального обряда! В глазах людей старомосковского общества подобное поведение граничило с неприличием.

Эти эмоциональные записки иностранца можно было бы поставить под сомнение, если бы они не

подтверждались бесстрастными словами официального документа. Когда тело Федора Алексеевича медленно плыло в Архангельский собор, его вдову несли за гробом в платье черного сукна, а за нею шествовали царевич Петр с матерью, Натальей Кирилловной. «... Великий государь [Петр Алексеевич] проводил государской гроб в собор Архангела Михаила и, простясь у государского гроба, пошел в свои государские хоромы благовещенской лестницей; а святейший патриарх его великого государя провожал в верх во архиерейской одежде. И проводя его великого государя, пришед святейший патриарх в собор Архангела Михаила, служил со властями божественную литургию; и после литургии было действие погребения государского тела по чину; а у литургии и у погребения была благоверная государыня царица и великая княгиня Марфа Матвеевна и бояра, и окольные, и думные, и ближние и всяких чинов люди». Итак, патриарх вернулся ко гробу, а вот юный наследник – нет. Никакой ошибки.

Возможно, Нарышкины опасались надолго оставлять Петра Алексеевича в людном месте – неровен час, он подвергнется нападению. Но уход вместе с ним и родни его, и бояр, принявших сторону Нарышкиных, сильно раздосадовал народ. Вид растерянного лица вдовы, рыдающей над телом и не понимающей причин подобного небрежения, тронет чье угодно сердце...

Софья моментально оказалась в роли ревнительницы добрых обычаев, от коих отступилась враждебная ей «партия». С высоты правильного своего поведения она получила возможность публично осуждать поведение Нарышкиных, вышедшее за пределы общественной нормы.

Вот тогда-то и начали распространяться слухи об отравлении царя Федора. Бешеная деятельность Софьи,

«отрабатывающей» оплошность соперников, находит подтверждение и в других источниках.

Папскому нунцию в Польше полетело из Москвы донесение: «Узнав о смерти Феодора, София, сестра его, женщина деятельная, не медля возмущает своих сродников, обвиняя Артемона Сергеевича в том, что своими происками и хитростию (так как и прежде, еще при жизни Алексия Михайловича, это было за ним замечено) он предоставил Петру венец царский, обошед старшего брата, Иоанна: она заклинала их всеми Святыми сжалиться над ее кровными, возводя на Артемона, что будто бы он отравил отца их, Алексия, а по выходе из ссылки убил своим злодейством и Феодора, еще дотоле жившего; что Петра, как своего родственника, возвел на престол, вовлек в заговор Бояр, всю Царскую Думу и, конечно де, этот человек пронырливый и злобный хочет совершенно властвовать нами, как это испытали мы при Алексеевиче. Не только простой народ, но и бояре почитали его тогда более, чем самого государя. – Она уверяла даже, что он подкупил врачей и влил яду в заздравную чашу».

В борьбе за возвышение Софья и ее сторонники использовали мятежные действия стрельцов. На несколько месяцев препирательства придворных уступили место буйству стрелецкой стихии, захлестнувшей Москву, лишившей власти правительство.

Среди стрельцов опять закипало недовольство: они ждали ответа со стороны правительственных кругов, а эти круги оказались замаранными в день похорон Федора Алексеевича. Будь Нарышкины со своими сторонниками чуть посговорчивее, возможно, восстание утихло бы без особых жертв. Однако царевна Софья и ее союзники достигли гораздо больших успехов, манипулируя бунтовской массой, нежели Нарышкины – пытаясь договориться с нею.

На стороне царевны оказался могущественный клан князей Одоевских. Софье удалось также использовать решительного военачальника – князя Ивана Андреевича Хованского. Ему под управление достался Стрелецкий приказ. Князь добился у стрельцов большой популярности. Он имел среди них немало преданных людей и мог, в какой-то степени, направлять мятежную стихию. Голицыну он не симпатизировал. Характер же его отношений с царевной Софьей вызывает споры.

Позднее Софья погубит Ивана Андреевича, но на первом этапе стрелецкого движения она окажется в союзе с Хованским.

Судя по другим источникам, Хованский очень рано, а может быть, и с самого начала действовал самостоятельно. Но это, видимо, суждение иноземцев, не слишком осведомленных относительно нравов и традиций московского общества. Вот, например, одно из подобных высказываний: «Хованский (Cowancki), смелый и очень влиятельный человек, к тому же открытый враг Голицына, вырезал всю знать, которую он счел способной противостоять своему намерению объявить себя царем, под предлогом мести за смерть своего государя, про которого он уверял, что его отравила царевна и ее фаворит. Но, считая, что он уже обеспечил себе трон... и ничего не замечая, он вскоре был наказан за свою дерзость и жестокость».

Сколько-нибудь серьезное знакомство с традициями передачи царской власти делает невозможным увидеть в таких высказываниях даже малую толику правдоподобия. У Хованского не имелось ни единого шанса «объявить себя царем». Для успеха подобного, совершенно фантастического, предприятия ему потребовалось бы вырезать всю царскую семью, а в придачу к ней – немало Рюриковичей, Гедиминовичей и представителей старинных боярских родов Москвы, превосходивших его знатностью. Иван Андреевич

являлся родовитым аристократом, но далеко не первым из знатных людей царства. И любой из тех, кому он уступал в «отечестве», мог сделаться его соперником. Затеяв украсть монарший венец, Хованский оказался бы в изоляции. А война против всех, даже при мощном влиянии на стрельцов, неизбежно привела бы князя к поражению. Неглупый политик, он прекрасно понимал это.

Роль Хованского не вполне ясна: источники противоречат друг другу и не позволяют добиться кристальной ясности. Скорее всего, события развивались по более прозаичному сценарию – безо всякого посягательства на царский трон со стороны Ивана Андреевича.

Хованский, ставший вождем стрельцов, с первых шагов использовался царевной Софьей в рискованной политической игре. Он всего лишь превысил норму дозволенного, почувствовав себя самостоятельным игроком, но вовсе не искал престола. Когда всю Москву объяло всевластие стрельцов, а Софье пришлось собирать карательный корпус в Троице-Сергиевой обители, Хованский оказался в сложном положении: он возглавлял... раскаленную лаву. Уже не столько он управлял стрелецким буйством, сколько сами стрельцы распоряжались своей судьбой. Князю, чтобы не погибнуть от их бердышей, волей-неволей пришлось принять на себя роль формального лидера восставших. Тут уже не он интриговал, а им распоряжались истинные вожаки бунта...

Но все это случится потом. А пока злоба стрелецкая лишь подогревается.

Итак, Федора Алексеевича похоронили 28 апреля – на следующий день после смерти. В течение суток стрелецкая масса вела себя тихо. Как видно, внутри ее шла борьба между агитаторами двух сторон. Победили те, кто внушал ей выступить за венчание на царство

Ивана Алексеевича: дескать, при малолетнем Петре править будут те, кто обирал их прежде, те, кто убил справедливого царя Федора, те, кто бесчестно обошелся со старшим царевичем... Уже 29 апреля она пришла в движение. Стрельцы явились «...в великом множестве в замок с требованием к новому царю, чтобы указанным полковникам предъявили счет, так как они желали бы получить отнятые у них деньги, а также заработок, положенный за работу на полковников, о чем составили аккуратный перечень, и поскольку их самих выгнали, они хотели приговорить на своем совете полковников к смерти, и путем грабежа их домов и собственности удовлетворить свои претензии^[62]».

Правящий круг оказался перед лицом угрожающей мощи 16 стрелецких полков и одного солдатского.

Начались переговоры.

Правительство попыталось помириться со стрельцами путем малых уступок. И будь это сделано раньше, будь хотя бы исполнен приказ Федора Алексеевича о полковнике Грибоедове, возможно, больших жертв удалось бы избежать. 5 мая вышел указ: тех стрелецких полковников, которые обирали своих подчиненных, бить батогами, а «взятки» с них «доправить» в пользу обобранного воинства. Языковым и Лихачевым объявили государеву опалу: в них стрельцы также видели, говоря современным языком, коррупционеров. Патриарх выслал архиереев, дабы те своими речами усмиряли бушующие страсти, упрашивали не рубить полковников^[63].

Напрасно!

Патриарху и Священноначалию восставшие в повиновении отказали. Их интересовали уже не столько деньги, сколько головы командиров. Буйство не прекращалось. Стрельцы уничтожали своих офицеров и подьячих.

В их среде бродили устрашающие слухи – один фантастичнее другого. Так, например, 15 мая пронесся слух о заговоре: «Умысля царьские изменники и всему Московскому государству разорители, съехались они, изменники, в Верх к великому государю [Петру Алексеевичу], князь Юрий Алексеевич Долгорукой с сыном... боярин Артамон Сергеевич Нарышкин, боярин Иван Максимович Языков с сыном с Афонасьем, да князь Григорей Ромодановской, боярин и оружейничей Иван Кирилович Нарышкин з братом, думной дьяк Ларион Иванович с сыном и государевы лекари, Данила Жидовинов с сыном и с товарищем. И удумали они, изменники, вражым научением, чтоб царьский род извести, а стрельцов и солдат опоить лютым зельем и змеями, а иных... побивать, а им бы царством владеть и всею святорускою землею. И тот вор, изменник, Иван Нарышкин, царскую порфиру на себя надевал и царем себя он, изменник Иван, называл и на государское место садился и всякие неистовственные слова говорил»^[64].

Откуда бы знать простым стрельцам и их вожакам о замыслах вельмож? Очевидно, «партия» Милославских постаралась снабдить их самыми «достоверными» сведениями.

Стрелецкие беспорядки искусно подогревались. Правительству приписывали и незаконность, и отступничество от православия, и желание погубить царевича Ивана, и коварные замыслы против самих стрельцов.

Ударили в набат. Стрельцы, вооружившись, пришли под барабанный бой с развернутыми знаменами в Кремль, к Красному крыльцу. С ними явились московские посадские люди, прихватив «ослопье и дреколь».

Князь Хованский через своих агентов направлял мятежное войско к решительным действиям против нового правительства. Настроение стрелецкой толпы колебалось. Вельможи из стана Матвеева и Нарышкиных выходили к распаленной людской массе, уговаривали разойтись, но прийти к соглашению с ней не могли. Ивана Алексеевича вывели к стрельцам, предъявили: вот, жив, никто губить его не собирается.

Критический момент наступил, когда для переговоров вышел сам Артамон Матвеев. Превосходный оратор, умный, опытный, прирожденный переговорщик, он, кажется, добился успеха. Его слушали, ему почти подчинились. В конце концов, стрельцы помнили, что изначально их брожение вызвали сугубо меркантильные причины. Восставших прежде всего волновали наглые действия нескольких полковников, да еще недобор жалованья. Настойчиво повторяемые слова об отравлении Федора Алексеевича и о несправедливости, совершаемой в отношении царевича Ивана, стали дополнительным стимулом к беспорядкам, но все ли участники волнений желали всерьез сунуться в столь сложное и сомнительное дело?

Это колебание стрелецкой массы весьма важно для понимания того, что творилось тогда в Москве. Стрельцов, конечно, подзуживали к мятежным действиям вельможные интриганы. Однако им хватало и своего разума, чтобы стоять за «корпоративный интерес».

Матвееву чуть-чуть не хватило до полной победы. Ободренный удачею, он отправился докладывать царице Наталье Кирилловне: ладятся переговоры!

Успех его речи оказался сорван неуклюжими действиями соратника. Князю Михаилу Юрьевичу Долгорукому смирное и разумное увещевание Матвеева показалось чересчур робким. Он вырвался вперед и принялся честить стрельцов командирским тоном, веля

им немедленно убратся восвояси. Худшего нельзя было выдумать в тот момент.

Миг торжества красноречивого Матвеева над бунтовской массой оказался безвозвратно утрачен. Всё им достигнутое моментально рухнуло. Стрельцы ринулись убивать и долго не могли насытиться душегубством. Первым пал сам Долгорукий, сначала надетый на копыа, а потом изувеченный бердышами...

Он не понимал, что самым главным «корпоративным интересом» стрельцов было не наказать «отравителей» царя Федора и заговорщиков, отдавших престол царю Петру. Куда важнее им было теперь уцелеть после страшного мятежа. Иначе говоря, избежать казней. Любой аристократ и тем паче любая правительственная группировка, словом, любой субъект власти, объявивший о «строгих мерах», о жесткости, о смирении силой, моментально оказывался смертельной угрозой для стрельцов. Первая же фраза в подобном духе подписывала смертный приговор.

Стрельцы, как уже говорилось, проявили недовольство командирами, вымогавшими у них деньги. Во время вспышки 15 мая и после нее все эти военачальники лишились жизни, а на Красной площади появился столб с именами «изменников», уничтоженных стрельцами. Вместе с ненавистными полковниками погибли сторонники Нарышкиных. Очевидец рассказывает о произошедшей трагедии с леденящими кровь подробностями: «По научке и по наговору боярина князя Ивана Андреева Ховансково побили на Москве стрелцы многих бояр и думных дьяков. Бросили с Красного крыльца на землю, а стрелцы подставляли копыа и бердыши и секли в мелкие части боярина князя Григорья Григорьевича Рамодановского, боярина Артемона Сергеевича Матвеева, Ивана Языкова, Ивана Кирилловича Нарышкина з братьями, а отца их, Кирила Полухтовича Нарышкина постригли, Федора Петровича

Салтыкова да дьяка думного Лариона Иванова с сыном, дьяка думного Аверкея Кириллова, полковника Андрея Дохтурова, полковника Григория Горюшкина, да дохтуров Данила Жидовина с сыном... Боярина князя Юрья Алексеевича Долгорукого на дому его срубили бердыши, а сына его Михаила збросили с Красного крыльца да изрубили. А животы^[65] их рознесли стрельцы и солдаты по себе. И многие дома пограбили»^[66].

С особенной жестокостью растерзали Ивана Нарышкина, считавшегося душой переворота, и доктора Даниила Гадена, обвиненного в отравлении царя Федора Алексеевича. За последнего пыталась заступиться царская вдова Марфа Апраксина: она-то знала, что мужа ее никто не убивал, а ушел он к Богу в свой срок. Тщетно!

Убивали тех, кто был нелюб стрельцам, враждебен «партии» Милославских или подозревался в злоумышлении на царский род. Хитрец Языков во дворце, в делах государственных являл мудрость, а стрелецкая масса знала его с другой стороны – как пошлого взяточника. За то и поплатился головой.

Кого не вогнали в гроб, тот оказался принужден уехать в ссылку: правительство щедро удовлетворяло подобного рода требования стрельцов. А Милославские постепенно расчищали себе дорогу руками бунтовщиков...

Мятежники признавали над собой, хотя бы формально, власть только одного человека – князя Ивана Андреевича Хованского. На время он стал, по внешней видимости, владыкой столицы, все прочие власти пасовали перед ним. Сторонники царевича Петра испытали ошеломление от тяжелых потерь в своем лагере. Сторонники царевича Ивана, раздув

мятежный огонь, не могли теперь с ним справиться. Князь Иван Андреевич вышел из подчинения Софье.

Решающая размолвка произошла между ними, когда лидер мятежников (в душе – поклонник старого обряда) помог выступлению раскольников, поддержанных несколькими стрелецкими полками и жаждавших вернуть «старую веру». Свирепыми мерами Федор Алексеевич держал раскол в узде, теперь худо пришлось православному духовенству, жестоко утесненному старообрядцами: раскол разнуздался. А князь Хованский ныне вел себя по-хозяйски и отваживался покровительствовать религиозной оппозиции.

Установилась так называемая Хованщина.

Русская столица погрузилась на дно ужаса и не выныривала из полуобморочного состояния очень долго. По улицам и площадям бродили стрелецкие дозоры. Вооруженные люди врываются в дома. Вершили суд и порою на месте казнили хозяев. Имущество забирали, а то и просто портили, считая его нечистым, скверным. Никто не смел им противостоять.

Москва того времени в центре, в богатейших своих районах, представляла собой россыпь деревянных и каменных палат. Крепкие, кряжистые, не столь уж просторные, но весьма прочные, отгороженные от улицы забором с проездными воротцами, окруженные малыми домиками амбаров, конюшен, сараев, хоромы вятших москвичей вкривь да вкось росли в замысловатое кружево улочек-переулочков. Всякий боярский терем и через одного – купеческий представляли собой малые крепости. При рано умершем государе Федоре Алексеевиче московским жителям щедро раздавали строительный материал на обзаведение кирпичными хороминами. Потом со многих не взяли должную плату. С того казенного роскошества Москва обзавелась великим множеством каменных

домов и оград. При желании, вооружив дворню, кликнув боевых холопов, боярин или дьяк могли отсидеться от нападения злой толпы. Отбили бы и разбойную шайку: крепки стены, тяжелы двери – тараном не возьмешь! Но никакие палаты не выдержат осады, когда за нее возьмется стрелецкая сотня. Профессионалы войны, они живо разнесут любую «крепостицу».

А бунтовали не сотни – полки.

Поэтому «служилые люди по отечеству», т. е. дворяне и знать московская, открывали двери без сопротивления. Так оставалась хоть какая-то надежда на милосердие новых властителей города. А раздражи их отпором, и они перебьют всех, не отличая правых от виноватых...

Кровь лилась щедро. Срам и разорение входили в старинные родовые гнезда. Никто не мог чувствовать себя в безопасности.

Лишь князь Хованский да избранные его помощники могли еще возвысить голос и направить раскаленную бунтовскую массу по нужному руслу.

Но, как уже говорилось, и сам Иван Андреевич не мог до конца контролировать действия восставших. Многотысячная армия стрельцов и солдат, поддержанных московским посадом, диктовала свою волю столице. А ее лидер диктаторских полномочий не имел. Скорее, он сделался рупором ее требований, посредником, ведущим переговоры от лица бунтовской стихии. Помогая староверам, князь столкнулся с тем, что огромная часть стрельцов не сочувствует им и не видит никакого смысла поддерживать их. Не потому ли властям удалось быстро ликвидировать эту угрозу?

«Партии» Милославских и Нарышкиных наконец договорились между собой. 26 мая в Москве начали «целовать крест» второму государю – Ивану Алексеевичу. Отныне Иван и Петр стали соправителями, притом старшинство официально отдали Ивану. А роль

регентши, т. е. действительной правительницы, взяла на себя Софья.

Но даже общими силами сторонники обоих государей долго не могли совладать с восставшими. Смута на Москве тянулась до осени. Стрельцы не отдавали власть. Стрельцы жаждали гарантий, что правительство не ответит на их мятеж массовым террором. И правительство остереглось: потом, когда минет воля стрелецкая, под топор пойдут немногие.

Бунт ясно показал: в России выросло многолюдное влиятельное сословие, имеющее крепкие национальные корни. Сила его основывалась на армейской организации, дисциплине и поголовном вооружении. Кроме того, стрельцам разрешалось вести торговлю и заниматься ремеслами. Они являлись состоятельными людьми, имевшими независимые источники дохода. На духовные вопросы у стрельцов был свой взгляд: половина из них поддерживала старообрядцев, другая же половина – православие церковное. Фактически они занимали такое положение в стране, которое для настоящего времени надо считать пределом мечтаний российского среднего класса.

Однако верховная власть тяготилась своеволием стрельцов и через несколько десятилетий избавилась от них полностью. За это время они восставали несколько раз, и неизвестно, как повернулась бы история России, если бы стрельцы продержались у кормила власти подольше.

Бунт 1682 года закончился для стрельцов печально. После нескольких месяцев полновластия и безнаказанности они вынуждены были покориться. Отчасти их пугал сбор дворянского ополчения и грядущая расправа. Отчасти же правящие круги во главе с царевной Софьей пошли мятежникам навстречу, удовлетворив некоторые их требования. Вождь

стрельцов, князь Хованский, подвергся казни. Столб на Красной площади снесли.

Стрельцы еще покажут себя, еще явят бунтовской характер. Солнце дворянской империи взойдет в кровавом тумане над их могилами...

Но имеет смысл отвлечься от произошедшего и задуматься о несбывшемся: от какой альтернативы отказывалась Россия, казня стрельцов?

Десятки тысяч крепких, привычных к труду хозяев, которым позволено носить оружие. Десятки тысяч рассыпанных по стране людей с ярко выраженным чувством собственного достоинства и вместе с тем верных слуг государевых. Ведь бунтовали-то стрельцы не против Федора Алексеевича, не против юного Петра и тем более не против монархии. Они бунтовали против жестоких и несправедливых притеснений, против дерзкой попытки небольшого правительственного кружка захватить власть и править олигархически из-за спины царя-мальчика... Десятки тысяч бойцов, отлично поддерживающих порядок, покуда власть с должным вниманием относится к ним самим. Сильная, экономически инициативная группа городского населения.

Да разве не драгоценен подобный «человеческий материал», когда идет складывание нации?

Эта общественная сила, скоро возвысившаяся и скоро разбившаяся в щепки о новый государственный порядок, вызывает большое сожаление. Вместе с нею безвозвратно ушел какой-то очень важный тип русского человека. Тот тип, что закрывал собою бездну, разверзшуюся между крестьянином и дворянином. Посадский человек низко стоял в социальной иерархии Российской империи и вполне осознавал свое ничтожество. По крайней мере до второй половины XIX века. Его уделом было – склонять голову перед дворянином, подчиняться, ни в чем не противуреча.

Стрелец стоял бы выше, служил бы хорошим противовесом всевластию дворянства и чиновничества.

Вообще, огромный слой «служилых людей по прибору», существовавший в Московском государстве XVI-XVII веков, исчез, почти полностью размылся в великую сушь Петровской империи. Помимо стрельцов пропали «затынщики», «ворóтники», «пушкари» и т. п. Всё свелось к бессильным «нижним чинам» регулярной армии да к странной межеумочной группке «однодворцев». Лишь казачеству оставили толику его прежней вольности. Социальная структура русского общества упростилась. Да, таким обществом проще управлять. Помимо верхнего, дворянского, яруса, оно – живая машина. От машины ждут четкой работы, ничего более... Без размышлений, без новаций. А сохранись в нашем обществе этот слой, возможно, оно бы обрело большую способность к инициативе, к самостоятельному развитию.

И сильнее всего, независимее всего люди подобного рода были бы именно в Москве, в главном средоточии своем.

Но не дал Господь.

Миф «бунташного города» не пережил XVII века.

Москва и позднее становилась кипящей сковородкой злого мятежа. Так случится при Екатерине II, когда чума доведет горожан до отчаяния. Так будет и в 1917 году, когда юнкера насмерть дрались с большевиками, и в 1918-м, когда против большевиков поднялись эсеры. Москву еще тряхнет в начале 1990-х...

Но всякий раз русская столица загоралась пламенем бунта неохотно и медленно. Всякий раз подавляющее большинство местных жителей предпочитало пережить уличные сражения, укрывшись в своем жилище. Абсолютное меньшинство сталкивалось на баррикадах с

другим абсолютным меньшинством. Ни разу не бывало так, чтобы город всколыхнулся весь, снизу доверху, как происходило при Соляном бунте и при стрельецких восстаниях.

Слова «Москва» и «очаг революции» – чужие друг другу. Пламя революционного хаоса приходило сюда извне или его разжигали искусственно. Давно Москва отвыкла от бунташности и не мыслит себя в этой роли. Давно никто в России и за ее пределами не видит в Москве уклона к мятежным настроениям.

Это не Питер, где слова «колыбель революции» по сию пору многие произносят с затаенной гордостью.

Здесь – твердыня порядка. Здесь – потухший вулкан, под корнями которого иссякли огненные потоки.

Посадское барокко. Душа Москвы, воплощенная в камне

У Москвы есть свой «гений места», своя душа. Эта душа не так связана с местами исторического представительства, с Кремлем и Красной площадью, как с разными уголками и закоулками, к которым надо приглядеться, привыкнуть и прижиться. Какие-нибудь проезды у стен Китай-города, какие-нибудь церковные дворы на окраинах, какие-нибудь особняки в переулках у Пречистенки или около Девичья поля – в этом интимная и глубокая красота Москвы. И это не та простая живописность... что создается сама, без участия человека, – нет, стены, церковки, барские дома – всё это было создано когда-то людьми... Всё смешано в ней, перепутано, всё надо искать и находить случайно. Всё неприметно, непоследовательно и несвязно. И никакими силами этого не соединишь и не свяжешь...

*П. П. Муратов. Красота Москвы.
1909*

У Москвы не столь уж много архитектурных символов. А те из них, что известны не только в столице России, но и по всей стране и за ее пределами, – вовсе наперечёт. Как ни парадоксально, именно в них душа Города почти не видна. Частишки этой души рассеяны

меж храмами и палатами более скромного вида, незначительными, не притягивающими к себе толпы туристов.

Прославленные московские постройки конца XV–XVI веков – Московский Кремль, Успенский собор, храмы Покрова на Рву и Вознесения в Коломенском – это, конечно, первоклассные плоды архитектурного гения.

Вот только... чьего?

Да, в них много русского – той традиции, которая идет от древних построек Владимиро-Суздальской земли. Любила Москва приглашать и псковских мастеров, так что Северная Русь принесла в зодчество столицы свои навыки, свои хитрости, свой стиль.

Но при всем том огромное, чуть ли не преобладающее воздействие на московских мастеров оказали их итальянские коллеги. Дух ренессансной архитектуры, ее приемы, ее эстетические находки хлынули греющим потоком в далекую Московию. Столь богатые заказчики, как великие князья московские, могли позволить себе дорогое удовольствие – содержать на жалованье одновременно нескольких даровитых итальянских умельцев. Те строили очень много, а Москва, привыкшая к скромным церквям вроде Спасского собора в Спасо-Андрониковой обители, не привычная возводить храмы-громады, восхищенно вздыхала, училась, просвещалась...

Для собственно московских зодчих нет ничего обидного в том, что обстоятельства сложились подобным образом. Нельзя сказать, чтобы наши государи им совершенно не доверяли: в Москве и ее окрестностях строилось так много, что на всё итальянских рук не хватало. Но, во-первых, свои мастера по части опыта и знаний долгое время уступали иноземцам. Об этом ясно свидетельствует авария, случившаяся при возведении Успенского собора в Кремле. Та самая авария, после которой сооружение

главного храма страны передали в руки Аристотеля Фиораванти. И, во-вторых, для первенства собственных «кадров» имелось другое препятствие, более важное.

Москва рано осознала себя как великую силу. Русь простерлась перед нею, мощь играла в державных мышцах. Даже ордынец, и тот оробел, отступил... Но мыслить себя как нечто значительное в духовном смысле, в христианском смысле Москва научилась намного позднее. Сначала Ивану Великому понадобился Успенский собор, Архангельский собор, свержвысокая колокольня, колоссальный кремль в середине столицы, а уж потом появились идеи, равняющие Москву с Третьим Римом, Вторым Иерусалимом и утверждающие ее в достоинстве Дома Пречистой. Мировидение московское, поздно пришедшее к тонкости, изощренности, не успевало за практическими нуждами большой политики. А ведь архитектура идет за мировидением, словно ослик за морковкой. Всякое великое преобразование сначала появляется в мысли, в духе, в неуловимой жажде, которой мучается само время; потом облекается в словесные одежды; и уж только вслед за этим воплощается в камне.

Пока в Москве не доставало собственного опыта технического и собственной интеллектуальной утонченности, на строительной площадке первенствовал итальянец. Когда русский перенял у него умение, когда русский принялся *сложно думать* о своей стране, о ее столице и о самом себе, тогда пришел черед ему принимать первенство. *У русского появилось то, что он мог сказать через камень.*

В середине XVI века русское все еще спорит, толкается с итальянским и отчасти немецким. Москва пробует родные ноты, вернее – по условиям того времени – *родные крюки*. Москва выводит напев о себе как о новом Иерусалиме, возводя Покровский собор на

Рву. Но даже в этой постройке видны мотивы итальянского ренессанса и, еще того более, немецкой готики. Русские мастера, создававшие причудливый, уникальный памятник, повели себя как рафинированные интеллектуалы. В Покровском соборе они соединили черты национального зодчества с опытом европейской архитектуры, добившись их нерасторжимого единства.

Во второй половине столетия приходит время петь своим голосом.

Но... Опять но.

В 1570-х – середине 1580-х годов нашей стране приходится туго. Она ведет страшную, разорительную, кровопролитную войну на несколько фронтов. Москва корчится от боли в большом пожаре 1571 года, улицы ее надолго пустеют. Степной юг принимает на себя всё новые и новые удары татар. Ливонская война заканчивается тяжелым поражением. Русь обессилена, пахарь бежит на окраину, спасаясь от государственного тягла, воин залечивает раны, купец подсчитывает последние копейки, зато разбойник благоденствует – ослабла государственная мощь, нет на него управы. Исчезают деревни, села впадают в безлюдие.

Как тут петь? О чем тут петь? О боли своей? Да о ней можно лишь прокричать...

Но вот на престол восходит блаженный Федор Иванович, царь-молитвенник, больше желавший иноческой рясы, нежели шапки Мономаха. Из-за спины у него правит боярин и воевода Борис Годунов – умелый практический делец. И земля получает передышку. Спина ее, согнутая в три погибели, понемногу разгибается. Серебро течет в казну, хлеб – на торги, жизнь возвращается в русло довольства.

Тогда-то, за два десятилетия меж восшествием на трон царя-чудотворца и началом Великой смуты, Москва начинает говорить в камне *о своем, о себе*.

Для начала она сообщает миру: «Моя вера – красная, красовитая. И ей пристал затейливый наряд. Пускай храмы мои оденутся пышнее!»

Собор Василия Блаженного был воздвигнут при Иване IV, его рождение связано со взятием Казани в 1552 году. Вид свой и нынешнее свое имя он обрел далеко не сразу. Первоначально его именовали Троицким что на Рву, затем Покровским что на Рву, а порой обоими именами одновременно. В течение первых десятилетий своего существования храм отнюдь не блистал каким-то особенным убранством куполов. Но «...во дни благочестиваго царя и великого князя Феодора Ивановича всеа Руси зделаны верхи у Троицы и у Покрова на Рву разными обрасцы и железом немецким обиты»^[67]. Речь идет не о разных «храмах», а об одной церковной постройке со многими престолами, которые выстроены были в форме девяти «башенок», а потому воспринимались как отдельные церкви. Так вот, именно со времен Федора Ивановича знаменитый собор Василия Блаженного на Красной площади удивляет местных жителей и приезжих многообразием главок – фигурных, многоцветных. К нашему времени это чудо декоративного гения Москвы стало одним из главных символов города. Без него трудно представить себе русскую столицу. Ныне у собора меньше глав, чем было в старину, да оформление их весьма отличается от того, каким оно стало при Федоре Ивановиче. Однако сама идея украшать главы «разными обрасцы» принадлежит именно его времени и, как знать, не самому ли государю...

Собор строили, а потом декорировали в сердце Москвы, которая была тогда городом садов. Да еще на фоне северного Замоскворечья, почти полностью засаженного царскими садами. Зодчие как будто

«выращивали» храм, уподобленный райскому саду. И когда отдельные церкви-башенки обрели разные завершения, они стали похожи... на деревья, отличающиеся друг от друга листьями и плодами, но в равной мере прекрасные.

Тогда же, при благочестивом царе Федоре Ивановиче, строится «старый» собор Донского монастыря (1593). Маленькое изящное здание об одной главке, к барабану которой всходит «пенная» горка из трех ярусов кокошников, уменьшающихся по мере возвышения.

Богатая ярусность Донского собора, как пишет историк архитектуры А. Л. Баталов, создала «динамически нарастающую к центру композицию».

Для прочности или долговечности здания эти кокошники вовсе не нужны. К внутренним особенностям его конструкции они не имеют никакого отношения. Их как будто «нарисовали» на верхе церковного здания, притом нарисовали исключительно ради пышного великолепия, а не с какой-либо иной целью. Они выглядят подобно буквам и узорам, вырезанным на глади творожно-сметанно-изюмной «паски».

С кокошников-то всё и началось.

«Многорядье» кокошников время от времени использовалось московскими зодчими и раньше, но только в конце XVI века получило широкое распространение. Их обилие запомнилось, полюбилось, затронуло какую-то особую струну в душе московского люда. И очень понравилось семейству Годуновых. А они строили много и со вкусом. При них Москва с близлежащими окрестностями получили множество новых превосходных зданий.

Борис Федоров Годунов был вовсе не так благочестив, как царь Федор Иванович. Вместе с тем Годунов остался в памяти народа не только как властолюбец и злодей, но и как деятель, приложивший

немало усилий, чтобы искоренить разбой, «татьбу», «корчемство», склонный к справедливости в судебных делах и строгий ко взяточникам. Борис Федорович, хоть и не был сведущ в Священном Писании, но все-таки проявлял благочестия не меньше, чем это было принято среди больших вельмож того времени. Взойдя на трон в 1598 году, он, пожалуй, стал проявлять даже большее рвение в делах веры. Под стать московскому правителю был и его дядя – боярин Дмитрий Иванович Годунов, его воспитатель и благодетель, также любивший строить храмы.

В эпоху масштабной и неумолимой строительной деятельности Годуновых «кружевной воротник» из кокошников превратился в излюбленный прием московских зодчих. Его «взбивали» то скромнее, то пышнее, но, во всяком случае, прибегали к сему украшению в подавляющем большинстве случаев.

Каменный храм Святой Троицы появился в принадлежащем Борису Годунову подмосковном селе Хорошёве (1598). Годуновские зодчие в неистовом восторге охватили барабан под главкой «пенным обручем» из... *четырёх ярусов кокошников!* Да еще на самом барабане вырезали кокошный пояс.

Чуть раньше под Костромой, в селе Красном, усилиями того же семейства поднялась шатровая церковь Богоявления. У основания ее шатра – два кольца крупных кокошников, выше – еще одно (там они меньшего размера), а над ним – еще шесть «горок» из шести кокошников каждая, т. е. по одной «горке» на каждую грань шатра.

Громадный шатровый храм Преображения Господня в подмосковном селе Остров – выдающееся, изысканное творение зодчих рубежа XVI и XVII столетий – также, видимо, возведен по желанию Б. Ф. Годунова (уже ставшего царем). Этот храм – чудо, игра воображения, не влезающая ни в какую архитектурную традицию.

М. В. Алпатов пишет о нем: «[Зодчими] поставлена была задача связать широкий шатер главного храма с небольшими одноглавыми храмами, его боковыми приделами. Связь эта достигается при помощи образующего подобие сот множества килевидных и полуциркульных кокошников и аркатуры у основания главного шатра и главок приделов. Многократное повторение одного мотива придает постройке *нарядный, сказочный характер* (курсив мой. – Д. В.). Но противоположность между шатром и одноглавыми храмами по бокам от него остается в силе, все здание не образует такого богатого внутренними ритмами целого, как коломенский храм...»

На более древние шатровые церкви храм Преображения не похож.

Никакого единства композиции в нем не видно. Между тем «итальянские» постройки Москвы хороши, сильны были чуть ли не в первую очередь продуманной, центрированной, единой по замыслу и воплощению композицией. Два придела не позволяют высокому центральному шатру накрениться. Но они несуразно малы по сравнению с ним. Автор замысла, как видно, подчинялся нарождающейся русской эстетике XVII века, а она не требовала от суммы архитектурных элементов быть строго гармонизированным единством, она позволяла воспринимать их по отдельности друг от друга.

Храм дважды опоясан широкой лентой, состоящей из нескольких элементов глубокой резьбы. Это похоже на орнаментальную кайму, коей покрыты полы белого одеяния.

Шатер – могучий, неостановимый – словно рвется ввысь из морских глубин. Он «выстреливает» из бурных волн к небу, пронзает облака и уходит выше, выше: к солнцу и к Богу. «Пена морская» застывает в виде *четырех ярусов* килевидных кокошников у самого

основания шатра – там, где он начинает стремительный взлет, вырастая из главного объема церкви. А «облачный слой» оседает на карнизе, коим отделена верхняя часть шатра и главка с крестом от его нижней части. Это еще два яруса кокошников килевидных плюс еще один – треугольных!

Кокошников не то что много, кокошников – избыток, ливень, водопад. Негде окна прорезать, и вместо нормальных окон – узкие световые «щели». Сумма ярусов напоминает кружевной «гофрированный» воротник фрез вокруг шеи какой-нибудь французской герцогини... Но таких «фреза» – два. Два! Невиданное дело. Храм выглядит «нарисованным» дивом или, вернее, дивом «разукрашенным». Портретом красавицы в вычурном, сложном, придворном наряде, над которым поработала кисть Николаса Хиллиарда.

Вокруг основания шатра зодчий расставил 12 каменных «свечек» – низеньких каменных тумб с маленькими, слабо заметными на фоне титанического шатра главками. Христианская архитектурная символика требует видеть в них 12 апостолов, стоящих рядом с Христом. Но это не просто апостолы, а еще и люди-карлики, несоразмерные великану-Богу. Тем огромное, тем величественнее выглядит громада шатра – по контрасту...

Историк архитектуры В. В. Кавельмахер восхищался смелостью замысла. Он видел в Преображенском храме своего рода мостик, связывающий два принципиально разных архитектурных стиля: тот, что господствовал у нас до середины XVI века, и тот, что приобретет доминирующее значение после Смуты, при первых Романовых. Первый – ученик Ренессанса и отчасти поздней готики. Второй – нечто в основе своей эклектичное, соединившее в одной литейной формочке и Москву, и Псков, и Италию, и Германию, чтобы

получить в итоге собственный, до предела обрусевший сплав.

По его словам, один из рабочих нашел во время реставрационных работ детали архитектурного убранства, надежно свидетельствовавшие о том, что «... крыльца были богатейшими, покрытыми крупной, броской резьбой, еще сдержанного рисунка, но уже предвещавшей будущую церковную и дворцовую архитектуру эпохи Алексея Михайловича. Не исключено, что архитектура самой паперти была скромной, а архитектура крылец с рундуками – прекрасной и пышной, нарядной, избыточной». На фрагментах каменного наряда церкви, поднятых из-под земли, реставраторы увидели чешую, ромбы, накладные жгуты. Иными словами, каменное «узорочье», коим так славятся старомосковские зодчие XVII века.

Далее Кавельмахер уверенно пишет: «В Острове мы присутствуем при зарождении национального зодчества XVII столетия, образцы которого нам подарили церкви Троицы в Никитниках, Вознесения в Великом Устюге, памятники посадской архитектуры Ярославля и Костромы. Преображенский храм стал истинным предтечей зодчества времен Алексея Михайловича... Шатровый вариант храма на примере церкви Преображения не “опростился”, не “опустился”, не “подурнел”, не “усложнился” в негативном смысле этого слова, а стал художественным открытием, дерзостью, архитектурным щегольством... Церковь Преображения в Острове, великолепный усадебный храм Бориса Годунова, для древнерусской архитектуры – не “упадок жанра”, а откровение. Не “старение”, а смена поэтики. Не “утрата”, а приобретение. Не “потеря себя”, а разумное формотворчество. Не “распад стиля”, а рождение архитектуры XVII века».

Самое большое сходство с Преображенским храмом – у очень поздней шатровой постройки. Она юнее

церкви в селе Остров на три десятилетия, но возведена «тщанием» человека, который был молод в эпоху царя Бориса Федоровича и, как видно, достаточно восприимчив к чудесам и диковинам изысканного архитектурного стиля того времени, чтобы потребовать от строителей своей эпохи создания чего-то близко родственного храмам его молодости. Это боярин, князь и воевода Дмитрий Михайлович Пожарский. Тот самый – военный вождь Второго земского ополчения, освободитель Москвы, обладатель крепчайшей веры. Он любил храмоздательство не меньше Годуновых. По его воле появился мощный шатер Покровской церкви в Медведкове, посаженный на двойное кольцо кокошников и подпертый маленькими, теряющимися в тени великана придельчиками с миниатюрными главочками на миниатюрных барабанчиках...

Годунов-монарх велел надстроить кремлевскую колокольню Ивана Великого, добавив к строгому основанию затейливый верх. Он же начал грандиозное строительство в серпуховском Владычном монастыре. Он планировал также создание в Кремле церкви «Святая святых» – по образцу храма Гроба Господня в Иерусалиме. Деревянная модель его успела увидеть свет, но до строительства дело не дошло. Борис Федорович ушел из жизни, а затем на страну обрушились бедствия Смуты, и о величественных архитектурных проектах Москве пришлось надолго забыть.

Чего требовала московская, или, как выразился Кавельмахер, «национальная» поэтика храмовой архитектуры? Та, что начиналась при государях Федоре Ивановиче и Борисе Федоровиче. Та, что создавалась народом, уже немало поучившимся у иноземцев и умудренным. Та, что опиралась на старомосковское мировидение, созданное учеными монахами. Та, что

начала поднимать голову в эпоху, когда русские ненадолго получили относительный достаток и покой, когда страна их перестала напоминать океанический шторм.

Прежде всего – *нарядности*. Русский дворянин любил выходить на бой в лучших одеяниях, в роскошном, в ярком. Оттого-то поляки и литовцы часто видели во всяком сколько-нибудь значительном военачальнике «боярина». Русский прихожанин являлся на воскресную службу... опять-таки в лучшем одеянии! Вся та дерюга, серая рванина, унылая срамота, которой награждают старомосковский люд наши кинематографисты, имеет мало общего с бытовой правдой. В допетровской Руси даже небогатый человек, даже и не дворянин, не купец и не стрелец – и тот хотел выглядеть щеголевато. А уж знать одевалась фантастически дорого, красиво, пышно. Особенно когда речь шла не о самом обычном дне, а о празднике или ином торжестве.

Но если это стремление к нарядности, к декоративности, к щегольству проявлялось по отношению не к людям, а к Богу, тогда, тем более, русский мог вынести всё лучшее, что имел, и отдать. И он желал, конечно, в одеяниях своего храма увидеть сложное, затейливое узорочье. Пусть оно никак не связано с устройством храма. Пусть оно наносится резцом, словно кистью, т. е. будто выводится художником по стенам, барабанам и шатрам. – Это неважно! Иное важнее: драгоценной «вышивки по камню» должно быть много. И чем больше – тем лучше человек угодил Богу, а также обществу, которое храмоздателя окружает.

Таков истинный, глубинный вкус старой Москвы в архитектурных затеях.

Чем он плох? Чем эта эстетика ниже более строгой и более рациональной эстетики времен «итальянского

господства»? Да ничем. Она просто – другая. Она – родная для Москвы, своя, теплая.

Но она только-только набирала ход, когда на Россию обрушилась Смута. Всё творческое, всё высокоинтеллектуальное, всё тонкое затихло на полтора десятилетия. А потом, раздавленное нищетой первых послесмутных лет, вело жизнь скудную, многошвенную, сажая одну заплату на другую, питаюсь не во всякий день... И начало вновь оживать лишь во второй половине 1620-х, но более – в 1630-х годах.

Именно тогда появился Покровский храм в Рубцове, близ Москвы, при загородном дворце государя Михаила Федоровича. К 1626 году, когда родился этот храм, казна всё еще задыхалась от недостатка средств. Потому, наверное, постройка, пусть и царская, а все же вышла невелика.

Тишь, Яуза, дворцовый сад да небольшая церковь... Чем ее украсить? Барабану под главкой даровали древний поясок из арок и колонок, как делали деда, прадеды и прапрадеды... А из времен недавних, из годуновских времен – последних зажиточных перед великими потрясениями, – вспомнили ту самую, сердца согревавшую подушку из кокошников. Три яруса, как до Смуты. Как в золотые счастливые годы. Смотри, Господи, мы опять можем радовать тебя фигурными «бармами» на плечах церкви!

Грубовато вышло, тяжеловато. Слишком мал барабан, слишком велики кокошники, слишком топорно рассчитан основной объем здания под верхом... Но ведь это – лиха беда начало!

Десять лет спустя по велению того же Михаила Федоровича строится Теремной дворец. И уж он-то сооружается продуманно и тонко. В то же время, декор его столь богат, столь разнообразен, что и впрямь вызывает ассоциацию со сказочным теремом. Изящные

карнизы, резные пояски, окна в форме двойной арочки...

Блистательный знаток московской архитектуры И. Л. Бусева-Давыдова пишет о нем: «Декор Теремного дворца – роскошные резные порталы и наличники с треугольными или разорванными фронтонами, обрамляющие многолопастные или двойные с подвесной гирькой оконные проемы. Резьба, покрывающая их, сложна по мотивам и виртуозна по исполнению. Тонкие переплетающиеся растительные побеги образуют фон для выступающих фигур. Подбор этих фигур (грифоны, единороги, крылатые кони, павлины, попугаи, стрелки из лука, похожие на кентавров, и т. п.) и типология растительного орнамента неоспоримо указывают на источник – западноевропейские орнаментальные гравюры позднего ренессанса, выпускавшиеся специально как пособие для декораторов». Московские зодчие взяли изобразительные мотивы, выработанные в Европе, и вписали их в собственную эстетику. Справедливости ради – не все фигуры взяты из европейских «пособий».

Вообще, когда требовалось «обновить наряд», сделать доселе не виданную вышивку, на Москве не стеснялись приспособлять к своему «узорочью» детали с Запада, с Востока, из провинции, да хоть с образцов деревянной архитектуры. Ценилось – многообразие.

И вот со второй половины 1630-х годов Москва взрывается новым стилем. Теремной дворец – преддверие. А воистину «рванула» церковь Троицы в Никитниках.

Этатический монолит XVI столетия, эксперименты итальянцев и немцев, оказавшихся вдруг на службе у наших государей, громады, мощь, тяжесть, выверенная гармония форм, скудно декорированное совершенство

сменились пестротой, буйством разнообразия, поэтикой асимметрии, пышностью каменного узорочья, хвастовством и суетой, но в то же время – верой радостной и стойкой, легко, воздушно преобразующейся в храмы-терема. Вышло из сердца Москвы нарядное варварство; красоты рационального в нем мало; зато живой силы много, неистовых чувств, обуздываемых одной только верой и под влиянием одной только веры принимающих согласованные формы. XVI век – сильнее, разумнее, холоднее. XVII век – сила уже надломлена, хоть еще велика, но теплоты больше, души больше, радости и сердечности больше. Руси в конечном счете больше...

Что потребовалось для вспышки нового стиля? В сущности, лишь относительный покой в центральных областях страны. Народ начал понемногу «обрастать мясом», выходить из скудости. Появилась материальная основа, и то, что исподволь накапливалось в сердцах и умах, живо вышло на поверхность.

В истории русской архитектуры нет строгого определения для того преобладающего типа храмов, которые строились в Москве с середины 1630-х годов по 1680-е, т. е. полстолетия. Часто говорят и пишут о «русском узорочье». Содержание его расплывчато, неясно. В качестве характерных черт «русского узорочья» называют прежде всего обилие декора и сложность композиции; обязательно звучат слова «затейливость» и «живописность», к числу искусствоведческих терминов никак не относящиеся.

Но что такое *«сложность композиции»*? В первую очередь это... беспорядочность композиции.

Вот основной объем храма, «четверик», параллелепипед, вытянутый то с востока на запад, то по высоте, а то и вовсе превращающийся в куб. Над ним – либо пять глав, либо одна. До 1653 года для оформления верха у церковного здания разрешается

использовать роскошный каменный шатер, затем патриарх Никон вводит строгий запрет: *«По чину правильного и уставного законоположения, как о сем правило и устав церковный повелевает, строить о единой, о трех, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить»*. Свод – сомкнутый, столпы, его поддерживающие, отсутствуют, зато храм ставится на высокий подклет. Всё это – приметы довольно простой строительной техники, отягощенной заботой о защите от весенних наводнений. Ничего сверх того. Какая тут сложность? Наверное, она состоит в том, что к основному объему здания беспорядочно пристраивают крытые галереи, трапезную, высокое каменное крылечко-«паперть», колоколенку, а потом маленькие придельчики с главками, никак не связанными с центральным одно- или пятиглавием – там, где осталось место. Строители руководствуются при этом соображениями удобства, воли священника, воли ктитора, воли прихода – чем угодно, только не соображениями композиционного единства. «Сложность» композиции тех времен – ложная. Просто эстетическое чувство середины XVII века позволяет воспринимать храм как дерево – можно любоваться по отдельности каждой веточкой, каждым цветком, каждым плодом. Всякая отдельная часть достойна рассматривания, похвалы или хулы, но сумма отдельных элементов интересует постольку-поскольку. Несимметрично? Не имеет центральной оси? Хаотично расставлено? Ну и что! По отдельности – всё очень приятно выглядит, веселит глаз и радует душу. В совокупности получается «живописный»... беспорядок, но он и зодчему московскому мил, и самому москвичу.

Вот Покровская и Михаила Архангела церковь в Овчинниках (Замоскворечье). Многочисленные перестройки и доделки превратили ее в странное создание: середина XVII века торчит из-под начала XVIII,

и тут же, рядом, пристроился век XIX... Странно, дивно, пестро... всякого наверчено. Однако это странное смешение неожиданно дало гармонию. Перекосы и добавки разного рода слились в доброе единство. Храм – словно сама жизнь: невиданно, не по уму, но... притягивает. Словно здание росло как дерево или как гриб – из земли, приподнимая травинки и расталкивая веточки, то чуть кривясь, то выравниваясь. Беспорядочно несимметричное, но живое. А кругом полно «правильных» безликих домов, сработанных ровно, рассудочно, по строгому плану.

Любопытно, что вот таких невеликих по размеру храмов с нарочито лишенной стройного порядка композицией Москва в XVII веке возвела великое множество. По самым скромным подсчетам, от 100 до 200. А правильных, «регулярных», как ренессансное палаццо или французский парк, громад русская столица на протяжении всего столетия почти не знала. Чтобы было понятнее: великие соборы, образцом для которых мог выступать Успенский собор в Кремле, а также близкие к нему по композиции или хотя бы габаритам постройки московскими зодчими тогда возводились до крайности редко.

Средства к тому были – и у Алексея Михайловича, и у Федора Алексеевича, и у царевны Софьи. Да и не только у царственных особ, но и у глав Церкви, архиереев, богатейших аристократов. Сосчитаем же, что появилось тогда в столице России и ее окрестностях из «громад». Таковы Преображенский собор Новоспасского монастыря (1640-е годы), Рождественский собор в Измайлове (1676), Воскресенский собор в Новом Иерусалиме (1656–1685), новый собор Донской обители (1680-е – 1690-е), да еще Никольский собор Николо-Перервинской обители (1696–1700). Негусто. Притом «итальянские» традиции, иными словами, традиции ренессансные, сконцентрированные

в творении Аристотеля Фиораванти, присущи лишь первым двум из них.

То, что строил патриарх Никон, а затем достраивал патриарх Иоаким в Новоиерусалимском монастыре, – ни в какую традицию включить невозможно, изо всего выламывается. Новый собор Донской иконы Божией Матери – архитектурный эксперимент, весьма смелый и несколько сомнительный. Ну а Никольский собор – в не меньшей степени эксперимент, притом совершенно неудачный, даже нелепый. О нем еще пойдет речь ниже.

Новый архитектурный стиль и новая эстетика получили яркое выражение в малых постройках. Для «громзд» они оказались просто непригодны. Даже, наверное, неуместны.

Что такое *«обилие декора»* — когда речь заходит о «русском узорочье»?

Тогда много строили купцы да прочие посадские люди. На свои средства они соответственно и заказывали, что им нравилось. А они имели христианское чувство простое, наивное и вместе с тем весьма сильное. Им, как уже говорилось, нравилось ходить к обедне в лучших одеждах. Они и храмы создавали наподобие красивых, с красной вышивкой, рубах. Им нравилось дарить Богу что-нибудь нарядное, затейливое, преухищенное всякими каменными штукаами, предназначенными для долгого приятного рассматривания... Им надобно минимум порядка, дисциплины духа, симметрии и побольше разнообразия форм.

Именно так, тщанием Григория Леонтьевича Никитникова, «торгового человека» из богатейшей корпорации «гостей», в 1630-х появляется храм Троицы в Никитниках.

Храм – полная чаша! Словно купец поднял к небу руки с подносом, на котором навалены фрукты, золотые

монеты, жемчуг и какие-нибудь поливные горшки. Господи, я так Тебя люблю, возьми же, это от чистого сердца!

Красные стены, белая резьба, зеленые купола! Кокошники, кокошнички, нишки всяких форм, каменные бусины, колонки^[68] целыми пучками, резные наличники на окнах и фронтоны над оконными проемами, аркатурные пояски, крытые паперти, яркие изразцы, всякая всячина без особого ладу, но с такой живописью самой жизни!

Или, скажем, знаменитая, дивной резьбой покрытая от основания до главок церковь Рождества Пречистой Богородицы в Путинках (1652).

Она вызывающе асимметрична. Кокошники разных типов и размеров, иногда собранные в «горки» по три штуки, обильно разбросаны повсюду и везде. Резные пояски с квадратными нишками окаймляют главное здание, придел и колокольню. Прямо в эти пояски вклиниваются многообразные резные фронтоны над окнами – килевидные, треугольные, «разорванные» по центру.

Над крыльцом – каменный шатер, опирающийся на куб с прорезанными в нем тремя двойными арками, кои украшены навесными «гирьками» по центру каждой.

Еще три шатра – высокий старший брат и двое меньших слева и справа – поставлены в ряд над самим храмом. Все они – такая же часть декора, как и наличники на окнах, кокошники, нишки, колонки. В них нет световых окон, они не являются необходимой частью конструкции храма, они просто – великолепное украшение.

Колокольня пристроена к главному объему церковного здания и сделана вертикальной доминантой всей композиции. Ажурная, с вытянутыми по вертикали подколокольными арками, с гипертрофированно

большими «слухами» на гранях шатра, с худенькой «шеей», на которой возвышается главка, она оставляет впечатление тонкой работы и одновременно – хрупкости, ломкости.

Сравнение храмов, составляющих славу «русского узорочья», с ювелирными изделиями банально, об этом писали многое множество раз. Но сто раз повторенное, оно не становится ошибочным. Храм Рождества Богородицы в Путинках напоминает шкатулку, вырезанную не из камня, а из слоновой кости. Как будто строительный материал не создает и не принимает на себя тяжесть многотонных масс, как будто он невесом и к тому же мягок, а потому легко поддается резцу мастера. *Камень исчез, камня нет.*

Основные впечатления, которые вызывает этот храм, – изысканность и легкость. Слово прихожане, строившие его на свои средства^[69], бесконечно изоощряли воображение, подсказывая зодчему новые и новые резные затеи, а когда работа была все-таки закончена, они пожелали отправить такую красоту самому Господу в рай, наполнили ее воздухом, но прикрепили к земле, чтобы еще немного полюбоваться; такой она и осталась – пусть и зацеплена какими-то невидимыми крючьями за выступы в тверди, но все же легка, словно шарик воздушный, отцепи – и сейчас же унесется к облакам.

Та же И. Л. Бусева-Давыдова с тревожным восторгом пишет об этой церкви: «Ее композиция по сравнению с никитниковской усложнилась, став запутанной; трапезная, колокольня, придел Неопалимой Купины и основной храм расположились по отношению друг к другу достаточно случайно, внутренняя структура здания снаружи читается с трудом... Все составные части церкви обильно украшены декором, поражающим своим разнообразием... Изобилие декора,

различного на разных фасадах и разных частях постройки, соответствует асимметрии композиции и создает впечатление деятельной, напряженной и автономной жизни его элементов в целом. Эта автономность декора проявляется и в его смелых и прихотливых сдвигах по вертикали и горизонтали, выраженных гораздо заметнее, чем в церкви Св. Троицы в Никитниках. Если там вертикальные элементы – лопатки и полуколонки – располагались упорядоченно, друг над другом, то на западном фасаде придела Неопалимой Купины из шести колонок верхнего яруса четыре не совпадают с нижележащими. Горизонтальная тяга как бы разрезает здание на две половины и не только придает ему ложную “двухэтажность”... но и продолжает в вертикальном измерении мотив “наборности”, многосоставности, заложенный в планировке церкви... Горизонтальные сдвиги декора сообщают украшенной им форме оттенок неустойчивого равновесия: верхние части здания, верхние элементы декора как бы балансируют над нижними. Этот же мотив обыгран в центральном наличнике западного фасада Неопалимовского придела. Его завершение поддерживается не колонками, а балясинками, чередующимися с розетками. Каждая пара балясин утверждена на круглой форме, а объединяющий их трехлопастной кокошник словно вибрирует, пытаясь удержать равновесие на столь неустойчивой основе. Нарушения тектоники, логики конструкции в этом памятнике настолько нарочиты, что, очевидно, являются программными. Формы становятся своевольными, непослушны...»

И. Л. Бусевой-Давыдовой кажется, что композиция храма саморазрушительна, что в ней как будто целая эпоха, достигнув предела, уничтожает себя, прощается с собой. Но, думается, происходит прямо противоположное: эта церковь – эстетический пик

самостоятельного архитектурного стиля. В ней поэтика раннеромановской Москвы достигает максимального самовыражения, максимальной передачи народной веры.

Во второй половине 1660-х на средства государя Алексея Михайловича и «тщанием» его духовника протопопа Андрея Савинова сооружается храм Григория Неокесарийского на Полянке. Те, кто видел церковь Рождества Богородицы в Путинках, усомнились бы в том, что на стенах и верхах столь же незначительного по габаритам храма можно уместить больше декора; но вышло именно так.

Те же затейливые наличники на окнах, иная замысловатая резьба, связки из трех округлых полуколонн по углам здания, обилие кокошников – всё это уже было, всё это уже видели москвичи на одеяниях церквей, возведенных раньше. К новой постройке применили еще один способ «расцвечивания». Григорьевский храм выглядит как рыба из тропических морей, как экзотическая птица из жарких стран, – из-за пестрой цветовой гаммы. Обычно московский храм середины XVII века либо в основном белый, либо в основном красный, но с белыми деталями резьбы. А тут, помимо традиционных красного с белым, еще и бирюза, и травяная зелень. Сам царь распорядился придать церкви столь яркую раскраску: «прописать суриком в кирпич», «стрелки у шатра перевить», «расписать бирюзой и белилами».

Более того, главный объем церковного здания и колокольня получили широкие пояса из полихромных изразцов «павлинье око», изготовленных знаменитейшим умельцем того времени Степаном Ивановичем Полубесом.

На вкус современного интеллектуала, наверное, это уже чересчур: храм облачившийся в многоцветье восточного базара...

Но московский люд того времени прозвал церковь «красной», т. е. «красивой». Эстетические предпочтения XVII века несходны с современными. Ныне люди приучены ловить «общее впечатление». Тогда – предпочитали разглядывать детали, восхищаться их дробностью, сложностью в исполнении. Цветовая дробность предполагает не просто пестроту, а и бóльший труд во славу Божью, и бóльшую тонкость, и бóльшую радость, получаемую верующим от лицезрения Божьего мира.

Бывает ли цветущий луг монохромным?

Так почему церкви не быть как цветущий луг?

Той веселой, затейливо вышитой, изразцовой, резьбою изузоренной Москвы осталось много. Славен Господь! Дает утеху нашим душам.

Пышные и сверхпышные постройки плоть от плоти никитниковского, путинковского, полянского храмов воздвигались очень долго, до 1680-х годов, а некоторые – и позже.

Это Владимирский храм в Старых Садах (середина XVII века), и Казанский храм в Коломенском (1649–1653), и церковь Николы на Берсеневке (1650-е), и храм Иоанна Богослова в Бронной слободе (1652–1665), и Никольские церкви в Пыжах (1672) и в Хамовниках (1679–1682), Благовещенский храм в Тайнинском (вторая половина 1670-х) и Троицкий в Останкине (1677–1692).

И всяк хорош, необычен по-своему.

Например, церковь Владимира Равноапостольного выделяется особой, причудливой резьбой на барабанах под главками.

А у храма в Тайнинском – изящные удлиненные окна и невиданное крыльцо-терем с двумя шатрами, между которыми, над центральным входом, зодчие вписали

«бочку», – словно это крыша деревянных палат, а не каменной постройки...

Никола на Берсеневке увешан резными наличниками разных видов – с большими и малыми треугольными фронтончиками, с полукруглыми, килевидными и даже фэнтезийными трехлопастными.

Вообще, та эпоха любила выдумывать всё новые и новые оформления для оконных проемов, изгибала фронтоны, разрывала («выгрызала») их, заставляла их лучами расходиться в разные стороны, а порой вырезала их даже там, где вообще нет окон! Вот три окна и... пять фронтонов: три над и два – между.

Москва старая, Москва церковная вызывала бешеное раздражение у большевиков. Они ей были – чужаки. И та национальная русская, старомосковская архитектура, которая в большом обилии сохранилась к 1920-м и 1930-м годам, «выкорчевывалась» с остервенением.

Так исчезли прекрасные памятники раннеромановского времени. В их числе Космодамиановский храм в Кадашах (1650-е), церкви Воскресения в Гончарах (1654) и Николы в Столпах (1669). Тогда же был уничтожен блистательный храм Николы Большой Крест (1680).

Этот последний был вытянут по вертикали так, словно пытался дотянуться главками до небесного свода. Его украсили новомодными восьмигранными окнами, каменными завитками-волютами, прихотливо изрезанными фронтонами, а также каменными створками раковин – как на Архангельском соборе Кремля. Элегантная, оригинальная конструкция, неповторимое смешение европейского и русского в декоре... Какой-то старомосковский денди!

Снесли в 1933-м.

Сейчас на этом месте чахлый скверик.

К тому времени, когда Церковь ввела запрет на возведение шатровых храмов, шатер сделался излюбленным приемом московских зодчих, с ним не хотелось расставаться. И его сохранили – для колоколен. Невысокая шатровая колоколенка как будто пустила корни в московскую землю. До революции она являлась принадлежностью чуть ли не каждого третьего квартала.

Однако иногда колокольня оказывалась намного выше и даже величественнее самого храма. Так произошло с церковью Троицы Живоначальной в Зубове (1652). Через несколько десятилетий после строительства самого храма, довольно скромного, была сооружена чудо-колокольня – самая высокая из всех шатровых колоколен Москвы и, наверное, пышнее всех украшенная. Три яруса «слухов» на гранях шатра, и над каждым слухом по кокошничку. Балюстрада в подколокольных арках. Декоративные нишки с изразцами. Окна с резными наличниками. Гордость местных жителей...

Такого безобразия большевики допустить не могли и, конечно же, снесли ее вместе с храмом в 1933-м.

Существует немало храмов, самым явным образом принадлежащих той эпохе, составляющих самую сердцевину московской архитектуры, однако лишенных буйства и невероятного обилия декоративных деталей. Нет там никакого «узорочья», каменные украшения куда как скромнее того, что можно обозначить этим словом. Однако все приметы хаотизированной композиции обнаруживаются в полной мере. А все любимые элементы резного декора, пусть и не столь «густо», встречаются на их стенах, барабанах, крылечках-папертях. Чаще же всего – резной фронтончик над окнами с двумя округлыми «щеками» и

«шипом» посередине. Такова «визитная карточка» стиля.

Список подобных церковных зданий очень велик.

Туда входят Успенская церковь «что в Старой Певчей» с двумя декоративными шатрами (1640), а также близкая по композиции двухшатровая Ильинская на Воронцовом поле (1650-е). К ним же относятся храм Успения в Гончарах (1654) и Андрея Стратилата в бывшем Андреевском монастыре (1677), оба богато украшенные изразцами. В тот же реестр попадают церковь Троицы в Листах (1650-е – начало 1660-х), храм Георгия в Ендове (1653), «пламенеющий» обилием резных украшений; церковь Михаила и Федора Черниговских в Замоскворечье (1675) – маленький изящный «ларчик»; любимый московской интеллигенцией храм Симеона Столпника на Поварской (конец 1670-х); Знаменская церковь за Петровскими воротами (1681); Софийский храм в Средних Садовниках... да еще много, очень много.

А если включить сюда еще и многочисленные храмы, убитые большевиками, список выйдет колоссальный. А ведь среди них были первоклассные памятники! Например, пышный, щедро декорированный шатровыми завершениями, изразцами, резьбой Воскресенский храм в Гончарах (1649).

«Узорочья», стоит напомнить, при всех архитектурных достоинствах названных церквей, там маловато. Во всяком случае оно присутствует далеко не в той концентрации, как на Троице в Никитниках и Рождестве в Путинках.

Каким же образом тогда именовать весь громадный корпус храмовых зданий, воздвигнутых за многие десятилетия? Наверное, условно их можно назвать *«посадское барокко»*.

Да, их строили, бывало, по заказу наших государей, бояр, архиереев, а не только посадских людей. Да, есть

они не только на посаде, но и в монастырях, да и в самом Кремле появилось несколько зданий такого рода. В их числе нарядная домовая церковь боярина И. Д. Милославского – храм Похвалы Пречистой Богородицы в Потешном дворе (1652). К ним же следует отнести здание, собравшее сразу несколько маленьких «теремных церквей». Верх его перестроили при царе Федоре Алексеевиче, в конце 1670-х – начале 1680-х, украсив яркими многоцветными изразцами на барабанах под главками. Это самое пёстрое храмовое здание во всем Кремле.

Но все же, все же... Душу вдохнул в эти постройки московский купец, ремесленник, ямщик, стрелец; оттого-то их столь много на посадской земле; оттого-то невелики они в большинстве своем – рассчитаны на жителей одной улочки, на народ переулочка – и «тщанием» тутошнего населения возведены. В крайнем случае, со вспомоществованием казны.

Часто пишут, что в русском искусстве XVII века видны черты «обмирщения». Иначе говоря, стремления установить первенство светских идеалов над церковными. Более того, «обмирщение» будто бы скорыми темпами усиливается. Но где оно тут, в посадском барокко, это самое «обмирщение»? Ничего подобного! Напротив, видно, скорее, «движение веры», абсолютно лишённое рассудочности. Были мы бедны – сделались чуть богаче. Могли дать Богу мало – теперь можно дать больше. Так дадим же ему всё, что возможно! Больше! Больше, еще больше!

Итак, посадское барокко.

Покатилось оно по России, дошло до посадов Ярославля, Костромы, Муром, Великого Устюга. В Муроме приобрело черты сказки, неудержимого фантазирования. Несколько муромских построек середины XVII века иногда называют «муромским

барокко». Прежде всего – часть зданий Троицкого и Благовещенского монастырей, возведенных на средства купца Тарасия Борисова. Эти муромские храмы обилием резьбы перещеголяли даже московские церкви, «эталонные» для стиля в целом. Троицкий монастырь в наши дни сравнили со «свадебным тортом» – несколько нетактично, однако весьма метко.

До начала XVIII века московские постройки могут соотноситься с понятием «барокко» лишь очень условно. Уж очень они не похожи на европейское барокко. Уж очень разными маршрутами шло развитие архитектуры в Европе и России.

Но по духу они вполне этому понятию соответствуют.

Барокко – стиль эмоциональный, чувственный и вычурный. Он заставляет камень терять вес и «дышать», то отступая от линии фасада вглубь, то придвигаясь к зрителю. Это стиль, возникший в какой-то степени из усталости от торжества ratio, а еще того более из скуки, рожденной рассудочною умеренностью. По всей Европе идут религиозные войны, кровь льется реками, сладострастие становится позволительным и даже обретает романтический ореол, чувства приведены во взбудораженное состояние... Как тут не поддаться обаянию сумасшествия, вытекающего из подвалов человеческой личности? Барокко и есть в какой-то степени разрешенное безумие...

Отсюда – буйство декора, отсюда – бешеное экспериментирование с формами, их нарочитое, дерзкое усложнение. Ёмко и точно выразилась Наталья Сосновская. По ее словам, стиль барокко «...отличает изогнутость линий, нагромождение деталей, сложные формы, декоративная пышность и живописность».

Но разве не то же самое характерно и для построек, которые автор этих строк позволил себе объединить под названием «посадское барокко»?

И разве Московское государство являло по сравнению с Европой образец спокойствия? О, нет. Весь XVII век оно, не переставая, клокотало, выпуская кровавый пар. Не зря само столетие это в нашей истории получило имя «бунташного». Москва познала Смуту, Соляной бунт, Медный, а также несколько стрельецких... Понятие об общественной норме, о правильном порядке размылось. И вкусами москвичей руководило тогда не только обостренное чувство веры, но и обнаженная, расхристанная витальность. Христианская вера ходила тогда рука об руку с вовсе не христианской страстностью.

Вот и пришлось нам впору своё, домотканое барокко.

В 1680-х «посадское барокко» стало постепенно отходить на второй план, уступая место другому архитектурному поветрию. Его именуют по-разному: то «московским барокко», то «нарышкинским барокко», то «нарышкинским стилем». Одно время его рождение связывали с семейством Нарышкиных, откуда вышла царица Наталья Кирилловна – вторая жена Алексея Михайловича, мать Петра I. Нарышкины действительно являлись заказчиками многих построек, выполненных в новой манере. Но подобные здания возводились задолго до того, как этим стилем заинтересовалась венценосная фамилия. У его истоков историкам архитектуры виделась то царевна Софья, то род князей Голицыных...

В действительности же, очевидно, его появление связано с деятельностью царя Федора Алексеевича (1676–1682 гг.). И прежде погружения в нарышкинское барокко следует рассказать о великой архитектурной эпопее его царствования.

Федор Алексеевич строил фантастически много. По интенсивности строительства в Москве и ее окрестностях недолгие годы его правления превосходят

царствование любого другого русского монарха XVII столетия.

При Федоре Алексеевиче русскую столицу приводили в порядок с большой основательностью: все переулки вымостили деревом, запаслись булыжником и приготовились менять деревянные мостовые на каменные. В Кремле провели новую канализационную систему. Жестоко боролись с уголовщиной: «Полицыя была... довольно поправлена и в лучшее состояние приведена»^[70]. Руководило ее действиями особое учреждение – Земский приказ.

О Москве царь деятельно заботился. Он не только сберегал ее от грязи и преступников, не только стремился подтолкнуть к «каменному строению» подданных, но и сам очень много строил. Если бы требовалось подобрать этому монарху пристойное прозвище, наверное, слово «Строитель» подошло бы наилучшим образом.

В Котельниках по царскому указу возвели нарядную пятиглавую церковь Казанской иконы Божией Матери. Сретенский монастырь обрел новый собор. В Симонове монастыре появились Тихвинская церковь и трапезная палата. Тогда же родился маленький шедевр каменного узорочья – храм Симеона Столпника на Поварской. Он полностью выстроен на казенные средства. При Федоре Алексеевиче появилась одна из красивейших церквей Москвы – Никола в Хамовниках, а также церковь Пимена Великого, что в Старых Воротниках, и другие знаменитые храмовые здания. По столице буквально прокатилась мощная волна храмового строительства.

Особенное внимание государь уделил Кремлю. На протяжении второй половины его царствования здесь не стихали строительные работы. Постоянно сновали плотники, каменщики, резчики, живописцы, расписывавшие новые постройки.

К сожалению, из всего великолепия, появившегося на территории Кремля за несколько лет, сохранилось очень немного. Многие памятники архитектуры исчезли уже во времена Российской империи, некоторые были скошены косою советского энтузиазма...

Собор Алексия, митрополита Московского, был возведен по чертежу самого царя в Чудове монастыре. Великолепная постройка счастливо уничтожена большевиками в 1931 году. Тогда же исчезла Андреевская церковь, заложенная по указу Федора Алексеевича. Пропало и несколько деревянных храмов, созданных в годы его царствования.

Унылым и утомительным выглядит колоссальный реестр зданий, поставленных на территории Кремля при этом государе, а впоследствии сгинувших. Длинное перечисление, думается, ничего не даст ни уму, ни сердцу.

Лучше попытаться представить себе территорию Кремля в совершенно ином виде, нежели предстает она перед посетителями сейчас. Ныне гость Кремля может видеть лишь пустынные площади. Прежде на их месте громоздилось невиданно-сложное переплетение свежесрубленных хором, малых церквочек и великих соборов, расписных беседок, крытых переходов, прудов, водовзводных башенок... Кремль Федора Алексеевича – прихотливое деревянно-каменное кружево, состоящее из многочисленных соединенных друг с другом палат с высокими крылечками, фигурными крышами, главками домовых «верховых» церквей, лесом труб – и всё это в обрамлении садов. Кремль утопал в зелени, в цветах, а по весне наполнялся щебетом певчих птиц.

Федор Алексеевич особенно любил висячие сады, устроенные на столбах и решетках. Набережные сады – Нижний и Верхний – в годы его царствования обернулись истинным чудом садового искусства.

Нижний «Красный» сад устроили на особом каменном постаменте, к которому со стороны Тайницких ворот был подведен каменный бык, или контрфорс.

Нет уже деревянных дворцов, где жило царское семейство. Нет множества хозяйственных построек, зданий приказов и мастерских. Нет непривычной для русского глаза «Голгофы» – вроде иерусалимской, с обильной лепниною из алебаstra. Весьма точное ее описание составил историк Москвы И. Е. Забелин: «В 1679 г., среди верховых церквей... государь повелел устроить “Голгофу”, где быть “Страстям Господним”. В узком коридоре, который разделяет... церкви, живописец Дорофей Ермолаев сделал алебастровый свод, или пещеру, которую ученики его расписали “черпашным аспидом”, то есть под мрамор. В этой пещере, на каменной горе, расписанной также красками, поставлено было, на большом белом камне, кипарисное Распятие... вырезанное рельефно старцем Ипполитом, искуснейшим резчиком того времени. Пещера эта была украшена алебастровыми колоннами... посреди этих колонн, против Голгофской горы, поставлена была плащаница, или Гроб Господень, над которым висели на проволоках шестьдесят алебастровых херувимов, расписанных красками... с золочеными “нетленными венцами” и крыльями. Около Гроба Господня висели также 12 стеклянных лампад, а у стен стояли живописные картины, изображавшие евангельские притчи». «Голгофу» устроили после того, как молодой государь вдохновился величественными постройками подмосковной Новоиерусалимской обители.

Великая строительная эпопея преобразила Кремль при Федоре Алексеевиче. Самое красивое из зданий, дошедших до нашего времени после нее, принадлежит Крестовоздвиженскому храму. Оно стоит на краю Соборной площади. Гряда главок и яркое изразцовое

«одеяние» придают ему сходство со сказочным теремом. Но это всего лишь тень прежнего великолепия...

Зато со времен сего недолго правившего государя в Кремле сохранилось то, что делает его узнаваемым по всей планете. До Федора Алексеевича крепостные башни столичной цитадели выглядели сурово и мрачно. Если кто-нибудь захочет составить точное представление о Московском Кремле XVI – середины XVII века, пусть взглянет на стены и башни Коломенского кремля. Они оставляют впечатление чудовищной, неодолимой мощи, лишенной каких-либо милых архитектурных мелочей, нарядных завитушек, «ювелирных украшений» из камня. Одна голая сила. Так выглядел и Московский Кремль до конца XVII столетия. И только Спасская (Фроловская) башня отличалась от прочих. Над нею еще при царе Михаиле Федоровиче соорудили шатровое завершение, а также создали ярус белокаменных украшений: арочек, островерхих башенок, фигурок... И стояла она, словно красавица в окружении суровых бойцов. Так вот, Федор Алексеевич указал изменить облик стен, башен, а вместе с ними еще и всей Красной площади.

Именно при нем кремлевские башни, помимо Спасской, получили шатровые «верхи», вызвавшие у народа восхищение и одобрение. Ныне это их роскошное убранство в первую очередь и вспоминается, когда заходит речь о Кремле. По всему миру известны кирпичные шатры московской твердыни. Стены отремонтировали, а затем тщательно выбелили известью (1680). Так что в XVIII век древняя крепость вступила в сиянии белизны.

Новая краса Кремля выгодно смотрелась на опустевшей Красной площади: тут снесли все лавочки, будочки, шалашики и халупки, архитектурно загрязнявшие ее простор. Не пощадили даже десяток

обветшалых деревянных церквочек – их потерю Федор Алексеевич возместил обширным строительством каменных храмов в иных местах «стольного города». Красная площадь сделалась дивно хороша и оставалась таковой... покуда там не появился новый архитектурный мусор: аляповатый картонный балаган катка.

При Федоре Алексеевиче Кремль пережил кратковременный, но пышный расцвет перед эпохой длительного увядания.

Государь весьма часто привлекал к своим архитектурным затеям иностранных зодчих. Он, оставаясь человеком старомосковской закваски, являлся поклонником европейской культуры, свободно говорил по-польски, знал латынь, вводил партесное пение в Церкви, владел искусством стихосложения, малоизвестном тогда на Руси.

Вот и «нарышкинское барокко» начиналось с архитектурных затей царя Федора Алексеевича. Самый древний памятник «нарышкинского» стиля, известный автору этих строк, – храм Иконы Божией Матери Неопалимая Купина на Новой Конюшенной слободе. Его построили то ли в 1679-м, то ли в 1680 году. Сейчас Неопалимовской церкви уже нет, остались только фото. Зодчий, нанятый царскими конюхами, взгромоздил на «четверик» (параллелепипед) основного объема тяжелый «восьмерик» (восьмигранную призму). Идея – очень необычная, можно сказать, неестественная для московской архитектуры середины XVII века. Скорее всего ее заимствовали из Европы, может быть, из той же Польши, Литвы или Малороссии – культурные новшества, исходившие от Речи Посполитой, тогда как раз входили в моду. Польское, украинское влияние очень хорошо чувствуется в русском искусстве конца XVII века.

Но... как ни странно, москвичам эта идея понравилась.

«Посадское барокко», изощрившись за полстолетия до предела, уже исчерпало возможности развития. В рамках того, что вошло в обычай, его просто некуда было развивать. Всё, что народ хотел сказать через него, уже прозвучало. И теперь требовалось обновление.

Москвичи искали доселе не опробованные формы для декоративных затей. И они спокойно пошли по привычному пути заимствования европейских *деталей* с целью их последующего переваривания и включения в русскую *сумму*.

Восьмерик? Отлично! Появляются новые плоскости, которые можно покрыть «узорочьем».

Входят в моду «разорванные фронтоны»? Витиевато. А значит – годится, добавим.

Из Европы к нам везут маскароны, волюты, картуши? Хитро выдуманно! Добавим и это к нашему плетению камня.

Прежний хаос композиции уже не в почете. Не пора ли ему уступить место строгому центрированию? Не пора ли вводить четко обозначенный вертикальный стержень композиции? Больно умственно! Ну... можно и это. Попробуем.

Иноземцы тащат в Москву свою ордерную архитектуру? Лепота! Изобразим чисто декоративную ордерность. Пусть колонны, фронтоны, карнизы, создающие эффект ложного деления на этажи, будут красиво обозначены на стенах. Частью конструкции они все равно не станут, оставшись средством украшения...

Так называемое «нарышкинское барокко» представляет собой компромисс между традиционной московской архитектурой, тем самым «посадским барокко» середины века, и архитектурой чисто европейской. Европа поставляла новые идеи, новые

элементы декора, Москва пока еще могла встроить всё это в родное, сердечно любимое традиционное зодчество, не меняя его кардинально. Фактически «посадское барокко», заняв у соседей кое-какие «новины», плавно, путем эволюционного развития перешло в барокко «нарышкинское».

В итоге получился очень яркий, очень нарядный межеумочный стиль, продержавшийся двадцать лет. Историк В. П. Даркевич назвал его «эфемерным, но полным грации», сравнил с причудливым, вскоре увядшим цветком.

Что ж, для архитектурного стиля два десятилетия – срок и впрямь небольшой. «Нарышкинское барокко» скоро исчезло под натиском катастрофической европеизации петровских времен. Но было ли оно эфемерным? Вот уж нет.

Во-первых, оно опиралось на могучую традицию «посадского барокко». Относительно многих московских церквей невозможно со всей определенностью сказать, относятся ли они к «нарышкинскому барокко», или принадлежат более ранней архитектурной традиции. Известны разного рода «переходные варианты», показывающие, сколь близки были эти две линии в русском зодчестве.

Вот широко известный храм Воскресения в Кадашах (конец 1687–1695). Где ж восьмерик? Барабаны под главами – граненые, но это именно барабаны, а не дополнительная часть основного объема. Зато разорванные фронтоны, столь любезные «нарышкинскому барокко», практически ставшие его «визитной карточкой», заменили собой кокошники. Они возвышаются горкой над карнизом, и если в нижнем ярусе – фронтоны просто безумные, чудовищных размеров, то к верхнему они превращаются в изящные прихотливые штучки. Этим вновь достигается эффект вспененного камня, как на шатре Преображенской

церкви в селе Остров, только на сей раз другими средствами – без шатра и без кокошников.

А вот храм Введения в Барашихах, достроенный аж в 1701 году (!). Опять никакого восьмерика на четверике. Никакой «ордерной архитектуры». Никакого центрирования композиции. Но много есть и «нарышкинских» черт.

Во-вторых, если взять лишь самые известные постройки, входящие в «обойму» нового стиля, лишь те, где этот стиль выразил себя с наибольшей силой, получится список не из двух-трех и не из пяти-шести памятников, а как минимум из полутора десятков.

Таковы знаменитые церковные здания Новодевичьего, Богоявленского и Высокопетровского монастырей^[71]; Знаменский храм на Шереметьевом дворе; церкви Троицы в Лыкове и Покрова в Филях. До наших дней еще не дошли ранняя «нарышкинская» церковь царевича Иоасафа в Измайлове и храм Параскевы Пятницы в Охотном Ряду. Сюда же стоит добавить Успенский храм на Покровке, возведенный богатейшим «гостем» И. М. Сверчковым во второй половине 1690-х. пышностью декора и устремленностью ввысь церковь вызывает ассоциации со зрелой готикой. Она принадлежит отчасти к «нарышкинскому барокко», отчасти украинскому, отчасти же – никуда не вписывается, выламывается из всех рамок... Большевики бодро «зачистили» экзотичную красавицу в 1930-х. Теперь о ее убранстве можно судить лишь по фотографиям.

Шлейф «нарышкинского барокко» тянулся очень долго. Уже и сменило его «петровское барокко», совсем с нашей средневековой архитектурой не связанное, полностью европеизированное, уже и судьба самого царя Петра Алексеевича идет к закату, а в Москве все еще появляются храмы, несущие явственный отпечаток

этого стиля. Например, церковь Ризоположения в Леонове. А ведь ее возвели уже в 1722 году!

Какая уж тут эфемерность! Нарышкинская архитектура прочно укоренена в предыдущем стиле, успела развиваться в полной мере, дать множество превосходных памятников, да и угасла отнюдь не одномоментно.

Любопытно мнение, высказанное о «нарышкинском барокко» искусствоведем Варварой Вельской: «Некоторые исследователи возражают, что нарышкинское барокко – не стиль, потому что стиль предполагает смену мировоззрения, а здесь речь идет только о перемене вкусов заказчиков. Но дело ведь не происходит так, что некий боярин думает: “А будут-ка мне теперь нравиться ярусные центричные храмы с широким использованием ордерных элементов”, – вкусы формируются под влиянием именно мировоззрения... Другие ученые говорят, что нельзя говорить о нарышкинском барокко как о стиле, поскольку он использует старую тектоническую систему (то есть соотношение опорных и несущих конструкций), а новые элементы применяет только как декор. Однако для смены стиля вовсе не обязательно смены старой тектонической системы... Для нарышкинского барокко характерны центричность, ярусность, симметрия, равновесие масс, известные по отдельности и ранее и сложившиеся здесь в целостную систему, дополненную ордерными деталями. Типичные его постройки – церкви в подмосковных усадьбах, ярусные, на подклете, с галереями... Стиль манерен, театрален: колонны, которые ничего не поддерживают (часто они имеют валик на уровне энтазиса, то есть места утолщения колонны, на которое падает основная нагрузка, и если бы они что-то несли, то именно по этому валику бы и сломались), фронтоны, которые ничего не прикрывают,

кронштейны, которые ничего не держат, окна-обманки и т. д. ... Как же все-таки человеку, не будучи специалистом в архитектуре, с большой долей вероятия определить нарышкинский стиль? Некий специалист-практик сразу указывал на разорванный фронто́н, считая его необходимым и достаточным признаком стиля. В какой-то степени это так. Нарышкинский храм в общих чертах сохранил форму старого посадского храма, и на нее наложен декор, лишенный всякого конструктивного смысла. Все эти колонны, фронтоны, кронштейны и т. д. и т. п. можно смахнуть со стены, как мел с доски, – и конструкция здания от этого несколько не пострадает. (А попробуйте убрать хоть одну колонну из здания настоящего барокко!) Для чего же они тогда нужны? А они несут, ограничивают, прикрывают и т. д. и т. п. *зрительно*».

Можно добавить сюда только одно: «посадское барокко» (тем более вершина его – «русское узорочье») тоже было стилем в высшей степени декоративным, «рисованным», рассчитанным на *зрительный эффект*. В этом смысле ничего не изменилось.

Для строительства храмов-громад новый стиль годился еще меньше, чем предыдущий. Но конец XVII века вообще – время экспериментов, переходных форм, смешения стилей и смещения норм. Поэтому как минимум дважды качества, присущие «нарышкинскому барокко», пытались применить к постройкам титанических габаритов.

Во-первых, это произошло, когда возводили новый собор Донского монастыря (середина 1680-х – середина 1690-х). Монументальное традиционное пятиглавие венчает его. Но боковые главы поставлены не по углам четверика, а по сторонам света – на колоссальных «лепестках», выступающих из основного объема и скругленных по углам. В плане собор крестовиден. Композиционно это «нарышкинское барокко». Скупо

рассыпанный декор – вполне родной для него. Однако приемы, ставшие принадлежностью этого стиля, превратили собор в странное, мрачноватое создание полужакарменного вида. Никакой нарядности, вычурности, изящества нет. Получилась просто плохо организованная тяжесть.

Во-вторых, когда строился Никольский собор Николо-Перервинского монастыря (1696–1700). Он был любимым детищем патриарха Адриана, а тот по своим архитектурным вкусам явно тяготел к величественной старине. Но и нарядную «нарышкинскую» версию принимал – как дань новомодным веяниям. Между тем эта, последняя, уже пребывала на излете, уже начала превращаться в прошлое... Патриарху требовался весьма значительный по размерам храм, способный прославить обитель, которая до сих пор не отличалась особенной известностью; он решил возвести монументальное здание, но в современном архитектурном духе и с современными же причудами декора. В итоге получилось несоответствие изящного, декоративного стиля внушительным габаритам церковного здания. Восьмерик, вознесенный над четвериком, несоразмерно, угнетающе тяжел. Глава всего одна, зато мощная, тяжкая. Она оставляет впечатление цельнометаллической репы, страшно давящей на всю конструкцию.

Что тут скажешь? Как «посадское барокко», так и его дитя – «нарышкинское» – возникли из нужд и запросов торгово-ремесленного населения, служилых людей, московской аристократии. Они лучше всего подходили для малых, приходских, «уличанских», «домовых» церквей. Они годились также и для усадебного зодчества. Но для монументальных проектов государей и патриархов оказались категорически непригодными.

Начался XVIII век.

Москва перестала быть столицей и наполнилась Европой. Гремящие потоки Европы ворвались на московские улицы, многое смыли, нанесли всякого: как нестерпимого, так и полезного.

С начала XVIII века архитектурные моды меняются кардинально. В их мелодиях очень долго не будут слышаться национальные ноты.

Но в эстетическом смысле допетровское барокко продолжало нравиться москвичам, они его любили и берегли как нечто родное, близкое, свое. И не только «нарышкинский» вариант, но и более древний.

Особенно – невысокие шатровые колоколенки. Они, кажется, надолго стали одной из главных примет московского городского ландшафта, да чуть ли не общерусского. Вот «Московский дворик» Поленова: на заднем плане стоит именно такая колокольня. А вот «Грачи прилетели» Саврасова – такая же...

Даже когда «нарышкинское барокко» и старый добрый стиль времен Алексея Михайловича стали сущей архаикой, москвичи нет-нет, да возвращались к любимым формам, к привычному декору. Церковь Введения в Барашах появилась на рубеже XVII и XVIII веков, но она в полной мере принадлежит предыдущей эпохе. Знаменский храм в Зубове, погибший при большевиках, – ровесник Полтавской баталии. Однако если бы его возвели при батюшке царя, победившего шведов, т. е. на полстолетия раньше, никто не высказал бы удивления. Как говорится, «полностью вписывается». Храм Николы на Болвановке достроили тремя годами позднее, но он представляет собой всё то же «посадское барокко».

Ну а в смысле чисто технологическом простая и надежная конструкция храмов, возведенных в стиле «посадского барокко», гарантировала как недюжинную прочность здания, так и его феноменальную

долговечность. По самым скромным подсчетам, *к концу XIX века* в Москве и ее ближайших окрестностях сохранялось полторы сотни храмов, носивших резную «вышивку» допетровского барокко!

Их, конечно, ремонтировали, перестраивали, иначе, по-новому, растесывали и оформляли оконные проемы, барабаны и главки, но старомосковская основа, которую трудно с чем-либо перепутать, сохранялась хотя бы частично, по-прежнему радовала глаз.

В начале XX века петербуржец Б. М. Эйхенбаум писал о Москве: «Каждый житель Петрограда, попав в Москву, поражен ее своеобразием, начиная с архаического пейзажа и кончая людьми. Вместо графической четкости линий – краски и цветовые пятна. Вместо единообразия и прямой перспективы – прихотливые сочетания стилей тонов, широкие площади и узкие переулки. Церкви на каждом углу – они трогательно уживаются среди домов, нисколько не чуждаясь, тогда как в Петрограде церквей, собственно, нет, а есть только торжественно отдаленные от домов храмы. И чем настойчивее бродит петроградец по улицам Москвы, вчитываясь в их причудливые названия, тем сильнее он чувствует, что у Москвы есть какая-то своя душа – сложная, загадочная и непохожая на душу Петрограда... Москва не знает раздумья, не любит рассудка, живет полнотою и разнообразием чувств. Москва – живописна...»

Трудно было не чувствовать московской души, когда сама близость московских «церковок» к домам ощущалась как тесное родство! Москвичи задолго до Империи твердо поняли, что им нравится, сотворили для Бога и для себя именно такие храмы, а потом окружили их домами. И стали дома выглядеть как дети, радостно обступившие главу фамилии, минуту назад пришедшего со службы...

Эти-то «церковки» и составили главную часть московской «живописности», про которую так много писали в годы Золотого и Серебряного веков нашей литературы. Местным жителям и приезжим они внешним видом своим напоминали о старинном московском мифе, о третьеримских временах, о покровительстве Богородицы.

В собственных малых храмах, рассыпанных повсюду и везде, москвичи выразили и себя, и свой город. Древняя душа Москвы, разлитая меж ними, лучше всего проявила свою суть в архитектуре, когда державный XVI век сменился торговым XVII, – при Борисе Годунове и первых Романовых. Иными словами, когда своё слово в зодчестве сказали люди, никак не связанные с царским семейством Калитичей, люди, стоящие ближе к народной гуще, дышащие ее бытом и ее упованиями.

Отыскалось в этой душе много веры, много страсти и необоримое стремление к нарядности. Москва по духу своему христианка, по предназначению – державная владычица, а по внутренней склонности... щеголиха.

«Мысленный собор». Образ Москвы у славянофилов

Как живописно раскинулась Москва по горам и пригоркам, с совершенно барским привольем и прихотями, с истинно русской нерасчетливостью, и как роскошно утонула она в зелени садов и бульваров своих! Сколько переулков и закоулков в Москве! И все эти переулки зигзагами: нет ни одной улицы прямой, – Москва ненавидит прямых линий. И какая она пестрая, узорчатая!

И. И. Панаев. 1840

Мифы великих городов непостоянны. Никогда не бывали они чем-то навечно застывшим, окостеневшим. Никогда не обращались они в ледяные глыбы, способные лишь наращивать массу, пока мороз, да сбавлять вес, попав в экваториальные воды. Подобные мифы постоянно развиваются и обновляются.

Образ Москвы, созданный ею самой в допетровскую эпоху, образ города-чаши, принявшей в себя благодать, ушедшую из ветхого Иерусалима, дабы перейти в Иерусалим новый; образ города-крепости, откуда полки христолюбивого воинства выступают в дальние края ради их покорения под руку православному государю и просвещения истинной верой; образ города-лампады, сияющей над погруженным во тьму миром, – этот образ сильно потускнел в XVIII столетии. После Петра Москва немотствовала. Может быть, она на какое-то время перестала осознавать себя чем-то величественным,

самостоятельным, – словно ее оглушила новая жизнь. В Доме Пречистой воцарилось молчание.

Город отдает мастеровых, купцов, чиновников новой столице. Академия оказывается в состоянии полусна. Обезглавленная и униженная Церковь латает прорехи в своем рубище... Великие дела грохочут вдалеке, здесь же – тишь, безгласие...

Однако это тишь глубокой реки. На поверхности – медленный ток воды, неподвижные кувшинки, да висят над илистой пучиной стрекозы, да едва колышутся ленты водорослей... а ниже... ниже не разглядеть. В придонных глубинах плавают большие рыбы, и лишь редкий плеск свидетельствует об их сокровенной жизни, когда одна из обитательниц подводного царства поднимается ночью наверх и разбивает хвостом лунный круг на тихих волнах.

Москва предается тягучим думам о себе, о сути своей. Покой ее вод изредка нарушается людьми тяжкими, наполненными узловатой мощью. Ломоносов с Университетом, Новиков с вольной печатью во имя масонских идеалов, Архаров с дюжими молодцами, корчующими старинное зло – привычное, но разросшееся донельзя... Их появление, их труды подсказывают: на глубине жизнь мысли и движение общественных форм не прекратились, нечто должно произойти в будущем, нечто вспыхнет еще.

Великий город видит тревожные сны. От сих кошмаров судороги проходят по его телу. Страшная корча пронизывает его, когда эпидемия и вспыхнувший за нею чумной бунт причиняют боль колоссальной московской туше. Почти пробуждается Москва при звуках пороховых взрывов: самонадеянный Баженов мечтает превратить древний Кремль в какое-то подобие мрачного замка с евролицыми привидениями. Город на краткое время покинул страну сновидений, ударил

львиною лапой раз, другой... Кремль сохранился; Баженов отступил.

Это недолгое восстание ото сна дает понять: душа города жива, Москва не желает быть глиной в чужих руках, она отстаивает древнюю свою царственность и гонит от себя избыточные эманации Европы.

Но все-таки ложе кошмарных сновидений Порфирогенита покинет гораздо позже – не при Екатерине, а при Александре I. Нашествие иноземных варваров, пожар, осквернение святынь, страшное вооруженное противоборство и титаническое строительство, обновившее город, – словно вдохнули жизнь в общественные силы, долго не покидавшие глубоких омутов.

Москве сделали больно; Москва, оставляя дрему, рефлекторно совершила резкое движение; нанесла удар почти случайный, но при ее древней титанической мощи – сокрушительный. Увидев, какая энергия сокрыта в черных водах, образованный класс восхитился, наполнился гордостью оттого, что и сам составляет часть ее. Мудрый Пушкин, в сосудах которого капля бешеной Африки растворена ведром боярского достоинства, слагает гимн Москве – древней царице:

...Перед ними
Уж белокаменной Москвы
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церковей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

Древности московские, жизнь глубокая и сильная,
любовное чувство ко всякой церковной маковке, ко
временам боярства и патриаршества, родные сады,
входящие в райский цвет по летней поре, неспешный
ток Москвы-реки, родовые гнёзда русской знати,
народный гомон на торгах – всё это, а не питерский
гранит, не питерские казенные мундиры – переломило
высшую силу, какая только могла выйти из недр
Европы.

Лермонтов восклицает:

Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!

И стихи Дмитриева, написанные без малого за два
десятилетия до освобождения Москвы, притом о

временах Пожарского, читаются с новым, свежим чувством:

В каком ты блеске ныне зрима,
Княжений знаменитых мать!
Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Венец твой перлами украшен;
Алмазный скиптр в твоих руках;
Верхи твоих огромных башен
Сияют в злате, как в лучах;
От Норда, Юга и Востока —
Отвсюду быстротой потока
К тебе сокровища текут;
Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы,
А девы – розами цветут!

Один лукавый Грибоедов недоволен Москвой, где Чацким зажимают рты «обеда, ужины и танцы». Ну да чем был доволен Грибоедов?

Тот же Дмитриев взывал к Москве:

Где ты, славянов храбрых сила!
Проснись, восстань, российска мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осенняя ночь...

И старина московская всколыхнулась, протерла очи, взялась за гребень, кликнула прислугу: «Подайте платье!»

Москва грибоедовская и – не пушкинская даже, нет, скорее, «ларинская» – брожение разнородных умственных соков, ярмарки невест, резонерство

клубных завсегдатаев на грани большой крамолы, свежие воспоминания о победе над чужаком-исполином, офицерское щегольство, университетский философический запал, всё это еще только созидало благодатную почву. Молчание заменилось глухим ропотом. Республика частных лиц осторожно пробовала голос. Какое-то невнятное бормотание, полусознанный Шеллинг, положенный на патриархальный православный быт... Лукавство оппозиции соединялось с волею к романтическим мечтаниям, а оттуда недалеко и до романтических действий: вот, говорят, в Петербурге уже *попытались!* Но туда ли пошли? Не слишком ли много французского кругом – в словах и действиях? Не слишком ли много заемного в умах? Не слишком ли подражательны позы тех, кто хватается за цареубийственный кинжал? То, что на севере промелькнуло, здесь продумывается, прощупывается долго, примеряется и отвергается.

Нужно – иное!

И почва для иного уже готова.

Новый образ даруют Москве славянофилы. Несколько великих умов за два десятилетия – с конца 1830-х по начало царствования Александра II – возвращают Москве столичное самосознание. Потом поверхностные поклонники, суетливые ниспровергатели, ученые комментаторы станут без конца мусолить славянофильские схемы и отдельные находки. Но вся эта «надстройка» получила право на существование лишь после того, как славянофилы выполнили необходимую интеллектуальную работу.

Среди славянофилов был лишь один мыслитель, склонный строить системы, объяснять их смысл в динамике, комментировать их устройство – А. С. Хомяков. Единственный, повторюсь, систематик, он в 1839 году предложил свою генерализованную схему русской истории, отдав Москве чуть ли не центральное

место в ней. Хомяков почувствовал, до какой степени Москва XIV столетия являлась Петербургом удельного времени, до какой степени она являлась «городом новым» и должна была выполнить работу, от которой старинные наши центры отшатывались в бессильном изнеможении.

Вот слова Алексея Степановича: «В то время, когда ханы уничтожили всю восточную и южную полосу России, когда Запад ее, волей или неволею, признал над собою владычество грубого племени Литовского... возникла новая Россия... Беглецы с берегов Дона и Днепра, изгнанники из богатых областей Волыни и Курска, бросились в леса, покрывающие берега Оки и Тверцы, верховья Волги... Старые города переполнились, выросли новые села, выстроились новые города, север и юг смешались, проникнули друг в друга, и началась в пустопорожних землях, в диких полях Москвы, новая жизнь, уже не племенная и не окруженная, но обще-русская... Москва была город новый, не имеющий прошедшего, не представляющий никакого определенного характера, смешение разных славянских семей, и это ее достоинство. Она была столько же созданием князей, как и дочерью народа; следственно она совместила в тесном союзе государственную внешность и внутренность, и вот тайна ее силы. Наружная форма для нее уже не была случайною, но живою, органическою, и торжество ее в борьбе с другими княжениями было несомненно. От этого-то так рано в этом молодом городке (который по обычаям Русской старины, засвидетельствованным летописцами, и по местничеству городов должен был быть смиренным и тихим) родилось вдруг такое буйное честолюбие князей, и от того народ мог сочувствовать с князьями... Как скоро она объявила желание быть Россиею, это желание должно было исполниться, потому что оно выразилось вдруг и в князе, и в

гражданине, и в духовенстве, представленном в лице митрополита. Новгород устоять не мог, потому что идея города должна была уступить идее государства; князья противиться долго не могли, потому что они были случайностью в своих княжествах; областная свобода и зависть городов, разбитых и уничтоженных Монголами, и не могли служить препотою, потому что инстинкт народа, после кровавого урока, им полученного, стремился к соединению сил, а духовенство, обращавшееся к Москве, как к главе православия русского, приучало умы людей покоряться ее благодетельной воле» («О старом и новом»).

У Хомякова это было лишь блистательное предчувствие, лишь самый первый приступ к теме. В сущности, он заговорил о том, что и до него вполне осознавали историки: Москва – объединитель земли Русской, центр нарождающейся державы, а значит, средоточие народных упований. Но – и всё.

К московской старине Хомяков изначально относился с известным скепсисом. Славянофилы, сказавшие слово русское и православное в середине XIX столетия, когда ничего более русского и более православного образованному человеку произнести было невозможно, в очень большой степени оставались европейцами. В их легких накопился воздух «Просвещения», который вдыхали еще поколения их отцов и дедов; атмосфера эта, насыщенная испарениями «общественного договора», пронизанная ядом идей об «общем благе» и «золотом веке», загрязненная преувеличенным вниманием к вопросу об «освобождении личности», туманила сознание, рождая образы очередного «рая на земле». Умнейшие, сильнейшие из славянофилов, освобождаясь от нее частично, фактически выламывались из вестернизированного русского общества, но в то же

время не могли, да и не собирались до конца перерезать эту «пуповину».

Поэтому время от времени даже у них встречаются рассуждения о каком-то гнетущем деспотизме допетровской эпохи: «Распространение России, развитие сил вещественных, уничтожений областных прав, угнетение быта общинного, покорение всякой личности мысли государства, сосредоточение мысли государства в лице государя, – добро и зло допетровской России. С Петром начинается новая эпоха. Россия сходится с Западом, который до того времени был совершенно чужд ей... Но это движение не было действием воли народной; Петербург был и будет единственным городом правительственным и, может быть, для здорового и разумного развития России не осталось и не останется бесполезным такое разъединение в самом центре государства. Жизнь власти государственной и жизни духа народного разделились даже в местности их сосредоточения. Одна из Петербурга движет всеми видимыми силам России, всеми ее изменениями формальными, всею внешней ее деятельностью; другая незаметно воспитывает характер будущего времени, мысли и чувства, которым еще суждено облечься в образ и перейти из инстинктов в полную, разумную, проявленную деятельность». Таким образом, выходит, что Москву следовало освободить от правительственного присутствия, чтобы она сделалась коллективным создателем общественного идеала.

Была ли в подобном разъединении насущная необходимость? Требовалось ли России разрубить связь между жизнью народного духа и правительственной работой, чтобы народ мог творить свободно и плодотворно? Бог весть. Кажется, призрак духовной несвободы допетровских времен получил в сознании Хомякова чудовищные, устрашающие масштабы. Между

тем истинная, т. е. историческая, Москва XVI-XVII столетий играла роль мощного центра интеллектуальных трудов.

Вместе с тем Алексей Степанович нащупывает верное видение Москвы как творца высших смыслов для всей страны. И впоследствии он вернется к этой своей интуиции, придаст ей большую прозрачность и силу, очистит от наносных излишеств.

В 1859 году Хомяков открыто скажет о Москве как о *столице народа*. Для эпохи Русского царства – от Ивана Великого до царевны Софьи – Москва, разумеется, в первую очередь создание русского народа, необходимое для воздвижения крепкой государственности и общего единства народных сил. Но помимо этого город играл роль места, где народная душа вступает в диалог с людьми власти, высказывает им свои чаяния, формулирует свой выбор: «...недаром ряд земских соборов обозначали эпоху московского единодержавия. Какая бы ни была форма, и как ни было часто или редко повторение соборов... я утверждаю, что Москва была признана, в широком смысле слова, городом земского собора, т. е. городом земского сосредоточения. Таково свидетельство истории. Когда пресекался род Грозного, как бы в наказание за его кровавые казни; когда Промысел позволил России впасть в бездну почти беспримерных бедствий, как бы за то, что она могла произвести владыку, первым сознанием России было, что ей нужен царь. Но Москва взята... Зачем изменяется временно сознание народное; зачем земля, которая так глубоко чувствовала потребность в едином царе, не приступает к выбору? Зачем ополчения городов низовых и всех других, поднявшихся за свободу великой родины, зачем, говоря, забывают они свою задачу? Зачем не созываются земцы в какую-нибудь свободную еще область? Ответ простой: Москва в руках врага: нет города для великого

собора и выбор царя еще не возможен. К Москве, к ее освобождению, как к необходимому условию будущего единства, обращаются все силы русской земли; и только на ее освобожденном пепелище выбирают царя, для которого уже приготовлен город собора, город мысленного сосредоточения земли».

И вот это уже звучит с необыкновенной силой: Москва – город, где народ наш может высказаться, более того, только здесь-то он и обретает полный голос! Москва оказывается в роли инструмента для народного высказывания. Это право – совершить высказывание – порой обретается через пролитие крови, через невероятное напряжение всех русских сил и всегда реализуется в священном, «царственном» месте.

XVIII век отнял у Москвы право на государственное творчество, но дал ей, по мысли Хомякова, свободу от забот о пестрой суеде практической правительственной деятельности. Тут Алексей Степанович уже отошел от рассуждений об «угнетении» и мыслительной «покорности» – и слава Богу! Лишнее, ненужное ушло из его исторической системы... Итак, Москва, утратив прерогативы администрирования, получила возможность посвятить себя чему-то другому. Тем полнее может она теперь, пребывая в своем покое, совершать интеллектуальный труд, лежащий в области «самоуглубления общественного духа». Вместе с тем она не перестала быть городом «земского сосредоточения». Именно здесь происходит работа общественных сил, разрабатывающих маршрут национального движения из настоящего в будущее.

Москва сохраняет древнее свое предназначение – быть инструментом для общенародного высказывания. Она – народная столица или, если угодно, «общественная столица».

Алексей Степанович видит будущее Москвы именно в том, чтобы она, оставив мечтания о возврате к государственным трудам, к державности, усиливала в себе именно эту способность – быть общим мозгом и общим языком для русского народа. Он пишет: «...духовная деятельность общества, развиваясь, созидает себе местные центры и потом, для полного своего собора, для полной мысленной беседы, совокупляется в одно живое сосредоточение. Мне кажется, такова Москва, таково ее живое и официально признанное значение. Вот почему сохраняет она свое имя столицы... Да, милостивые государи, чем внимательнее всмотримся мы в умственное движение русское и в отношения к нему Москвы, тем более убедимся мы, что именно в ней постоянно совершается серьезный обмен мысли, что в ней созидаются, так сказать, формы общественных направлений. Конечно, и великий художник, и великий мыслитель могут возникнуть и воспитаться в каком угодно углу русской земли; но составиться, созреть, сделаться всеобщим достоянием мысль общественная может только здесь. Русский, чтобы сдуматься, столкнуться с русскими, обращается к Москве. В ней, можно сказать, постоянно нынче вырабатывается завтрашняя мысль русского общества». И, далее: «...значение Москвы, как столицы этого общения для всей земли русской, как места ее общественного сосредоточения, как города ее мысленного собора». Следовательно, по Хомякову, возвращение высшей государственной власти в Белокаменную не столь уж необходимо.

Другой видный славянофил, К. С. Аксаков, напротив, обращался к государю, доказывая: надобно перенести столицу в Москву!

Для него Москва – прежде всего город, где заключается союз главнейших сил Русской земли: народа и монарха. Здесь составляется своего рода

общественный договор в отечественном варианте. А значит, Великий город – это прежде всего место русского единения, колоссальная «скрепа» для жизни всей страны: «Москва подняла знамя *всей России*, встала столицей. Она, скажем выражением древним, *собрала* Русскую землю... Столица, возникшая в минуту государственного *единства* и народного единства страны, скажу более, даровавшая, утвердившая и выразившая это единство, есть истинная столица. Такова Москва. Созная целость Земли и целость Государства, Москва признавала существование, значение и право как Земли, так и Государства. Итак, с Москвою начался новый период: единоедержавия для Государства и целости для Русской земли. Как бы в проявление единства Государства и единства Земли, как бы в выражение ясного самосознания Русской страны первый единоедержавный Царь созывает первый Земской Собор. Земля и Государство в новом постоянном своем виде единства и целости встречаются и видятся лицом к лицу в Москве, на Соборе, и утверждается между ними дружественный, полный доверия союз. Земля признает за Государством неограниченную правительственную власть, Государство признает за Землею полную свободу духа и жизни. Москва, где таким образом Земля и Государство подали друг другу руку, представляет желанное согласие обоих элементов, государственного и земского, желанный союз Царя и народа. Весь дальнейший ход России во все время Москвы как столицы определяется этим союзом. Неоднократно требовало Государство мнения Земли; неоднократно Царь призывал Русский народ на совет» («Значение столицы», 1856).

Союз царя и народа, переживший Смуту, позволил присоединить «Южную Русь, с... Киевом и священными и славными воспоминаниями», затем основать

Академию, а следовательно, начать «благой подвиг просвещения». Константин Сергеевич всюду подчеркивает самобытность русского пути. Россия спешит заняться просвещением, не покидая «коренных начал» и воздвигая на «русских самостояньях... гражданское русское устройство». И все это, подчеркивает К. С. Аксаков, было возможным в эпоху, когда Москва являлась «столицею Земли и Государства».

Когда Москва осталась «средоточием народным» и перестала быть «столицей государства», когда высшим администратором стал Петербург, Россия получила внутреннюю язву, жестоко терзавшую страну и постепенно увеличивавшуюся. Дошло до тяжкого поражения Империи в Крымской войне. Константин Сергеевич уверен – не будь этого трагического разделения, не случилось бы и великого срама для русского оружия.

Хомяков и Аксаков во многом несогласны меж собою. Но кое в чем едины. Оба утверждают: Москва – средоточие народа, «земская столица», главный город Земли. Иначе говоря, они творят для Москвы обновленный миф, годный для XIX века: Москва как столица нации. Как величайший центр русского народа, русской культуры, русских интеллектуальных сил, да и вообще русскости как таковой. Здесь формулируется русское будущее.

Славянофилы не столько схватывали разумом, сколько, прежде всего, чуяли чуждость Петербурга России. Слишком много там прозревали они элементов, отрицающих исконные предания народа, слишком много видели иноземного, заимствованного. Они интуитивно противопоставляли Петербургу Москву, как город «органический», сам себя строивший и развивавший.

Но была в славянофильстве позиция и гораздо более радикальная.

Николай Петрович Аксаков уже и в средневековой Москве видел слишком много нерусского. Да, по его мнению, присутствовало и в самой Москве и, подавно, в московском периоде русской истории осознанное «право земли». Оно вообще имеет домосковское происхождение, и московские времена унаследовали его от более древней эпохи. Однако государство засоряло традицию «византизмом», а Москва источала гордыню, мучила страну волокитой. Что же касается преодоления Смуты, то и тогда освободительное земское движение «...началось не в Москве, а далеко от Москвы, преимущественно на окраинах тогдашней России, там, где московское влияние было наименее сильно» («Москва и московский народ», 1886). Более того, роль «земли» умалилась, по мнению Н. П. Аксакова, при московских государях. Он видит «...стремление правителей по возможности чуждаться мнения земли и по возможности освобождаться от ее опеки», хотя полное отчуждение и невозможно. В сущности, монархи московские хороши были тем, что они превосходно осознавали потребность «совета» с землей. При них «разрозненные вечи воскресли в виде одного единого земского собора...». Достойно сожаления то, сколь нерегулярно созывался собор и как много вреда принесло нежелание прислушаться к мнению земли, высказанному на его заседаниях.

Николай Петрович Аксаков, с одной стороны, считал необходимым избавиться от «благоговенья перед специально московской Русью», с другой стороны, всё же признавал, что при господстве Москвы еще не разрушилась «сущность исторического предания Руси». И он, сам к тому, быть может, не стремясь, добавлял аргументов в пользу идей Хомякова: слово «земли» – то, что в XIX веке назовут «общественным мнением», –

звучало полновластно только в Москве, поскольку здесь соединялось с государственной силой. А значит, Москва – прежде всего опять-таки средоточие «земли», столица «почвы», ее ум и душа. Иными словами, *центр нации*.

Дав Москве эту роль, славянофилы совершили огромное дело. «Вторая столица» вновь возвысилась, вновь обрела достоинство, вновь дала России основание, чтобы говорить о великом городе в превосходнейших тонах.

Откуда это взялось? Как вышло? Отчего почва вновь запела в сердцах нашего оевропеившегося дворянства?

Русские образованные люди, исколесив Европу, на немецком поговорив с профессорами Гейдельбергского университета, на французском – с просветителями и масонами времен Вольтера и Руссо, на итальянском – с какими-нибудь чудовищными карбонариями, вернулись домой. Разъехались по городским усадьбам в Никитском со́роке Белокаменной. Огляделись. Это не Гейдельберг! Но... сердце так сладко ноет от соприкосновения с теми местами, где рос, где слышал слово живое, где ходил в церковь и читал первый раз «Ивангое» Вальтера Скотта, где посещал тайное собрание и разочаровался, и взалкал чистой мысли, философической пищи голодному уму, а романтическое плавание по холодным водам высокомерного разума завершил, пришвартовавшись у берега веры, женившись, заведя детей... да почему же считают, что у нас тут плохо? Почему неправильно? Улицы кривы, да переулки петлисты – так велика ли беда? Грязи больше? Зато и милосердия тоже больше... а разве есть где-нибудь еще столь же сладостный колокольный звон? Да у нас ведь хорошо, господа!

И даже Белинский, ни в малой степени не славянофил, бывало, отдавал Москве должное. Смеялся, корчил рожи, подтрунивал, но все же – мимо доброго не прошел: «Характер семейственности лежит на всем и во

всем московском!.. Родство даже до сих пор играет великую роль в Москве. Там никто не живет без родни. Если вы родились бобылем и приехали жить в Москву – вас сейчас женят, и у вас будет огромное родство до семьдесят седьмого колена. Не любить и не уважать родни в Москве считается хуже, чем вольнодумством» («Петербург и Москва», 1844). Допустим, для западника-Белинского то, что «...стоит час походить по кривым и косым улицам Москвы – и вы тотчас заметите, что это город патриархальной семейственности: дома стоят особняком, почти при каждом есть довольно обширный двор, поросший травой и окруженный службами», – хаос, архаика, живописная нелепица. Но он же видит и совсем другую Москву, преобразующуюся: «По смерти Петра Великого Москва сделалась убежищем опальных дворян высшего разряда и местом отдохновения удалившихся от дела вельмож. Вследствие этого она получила какой-то аристократический характер, который особенно развился в царствование Екатерины Великой. Кто не слышал о широкой, распашной жизни вельмож в Москве? Кто не слышал рассказов о том, как в своих великолепных палатах ежедневно угощали они столом и званого, и незваного... и в городе, и в деревне, где для всех отворяли свои пышные сады?.. Но с предшествовавшего царствия Москва мало-помалу начала делаться городом торговым, промышленным и мануфактурным. Она одевает всю Россию своими бумажнопрядельными изделиями, ее отдаленные части, ее окрестности и ее уезд – все это усеяно фабриками и заводами, большими и малыми (курсив мой. – Д. В.). И в этом отношении не Петербургу тягаться с нею, потому что самое ее положение почти в середине России назначило ей быть центром внутренней промышленности... Ядро коренного московского народонаселения составляет купечество. Девять

десятих этого многочисленного сословия носят православную, от предков завещанную бороду... Сколько старинных вельможных домов перешло теперь в собственность купечества!»

Виссарион Григорьевич не столько хвалил Москву, сколько искал в ней признаки будущего взрастания европеизма.

Не этого или, во всяком случае, не только этого требовало образованное общество. Больше чуткости к сему запросу оказалось у славянофилов.

В сущности, славянофилы отвечали на вопрос, заданный самим временем сильному общему патриотическому чувству: «Чем же тут у нас хорошо? Чай, не Париж!»

Славянофильский миф – родной для Москвы. Только тут могли прославить «силу земли». Только тут – вдалеке от казармы и кнута Северной Пальмиры. Творение Петра слишком уж благоухало барабанным боем, слишком бил в глаза казенный цвет его одеяний, слишком мало воли давали там уму... Либо думать строем, либо сговариваться с единомышленниками о мятеже. А ведь мятеж в копилку умственных завоеваний нации ничего добавить не может. Чтобы сотворить нечто, возвышающее народ, нужен-то и впрямь покой, самоуглубление, ровное любомудрие. Москва нужна. Потом, чтобы во весь голос, красиво, внятно, звонко выговорить созданное, потребна здоровая интеллектуальная оппозиционность, лишенная и сервилизма, и бешеной тяги к бунту. Опять – Москва.

И особенная городская среда её, патриархальная, духовитая, сладким церковным вином наполненная до краев, широкодушная, размеренная и хлебосольная, посверкивающая огоньками былого величия, *поставила голос* старшим славянофилам.

Московские особнячки середины XIX века, последняя краса дворянской России, фасадами напоминают добропорядочных европейцев. Что ни персона, то всё истинный классицист или же страстный поклонник ампира. А выберешься через проезжую арку с улицы во двор, так там всего понемногу, но только ничего европейского. Сарайчики, амбарчики, лабазики, баньки, сторожки, яблоневый сад, черемуховые заросли, лопухи в полроста человеческого, овражина с ручейком, старая голубятня, вид на соседнюю церковь за пустырем, огород на треть версты, козы пасутся, позвякивая колокольчиками... И пустили в баньку странников, приехавших откуда-нибудь из Муромы ко московским ко святыням, да и пристроиться у родни к какому ни на есть делу. И живет в сторожке столетний приживал, мхом зеленым заросший до бровей; внучка из господского дома принесла ему певчую птицу, он же то послушает птичьи коленца, а то помолится, а то соснет маненечко. Проснувшись же, подивится: экой заливиста! Да и предастся мыслям о Страшном суде, кой близок. Хорошо... Золотая дрема. В доме же собрались умные господа, спорят о будущем, поминают русскую историю, франкскую историю, тевтонскую историю, не нарадуются на Шеллинга, похваляют-поругивают Карамзина, ни во что ставят ужасающего Фейербаха, с хитрецей цитируют Чаадаева, осторожно прикасаются к писаниям святых отец...

Вечером же все – и господа, и странники, и приживал, и внучка его, и дворня господская – идут к храму. Ударили в колокол, надо собираться. Тут и сила земли, и ум ее, и душа, все сливаются в одном благодарении Богу.

Золотая Московская дрёма!

Из дворов твоих, из салонов, из покоя улиц и мыслительного жара, из цветущей черемухи, из философии и молитв выросло прекрасное полуденное

марево: град великий с пурпурными куполами, весь в цветущих садах, бредущий по временам и землям из прошлого в будущее. Порфиноносный град, то молодеющий, то дряхлеющий, и на плечах его – мантия царственности. Вечной царственности.

Елоховский собор как припоминание московских древностей

Году в двухтысячном или чуть позже я был в одном городке, расположенном в нескольких сотнях километров к югу от Москвы. Не буду называть его, чтобы не обидеть местных жителей. Так вот, там почти ничего не осталось от старины. Город страшно распахала Отечественная. А до нее и после постарались прорабы совстроая, украсившие улицы и площади серыми бетонными коробками...

Городок испытал расцвет в ту пору, когда степной юг играл роль пылающего порубежья России – в XVI и XVII столетиях. Тогда здесь стояла деревянная крепостица, башни, жили бдительные стрельцы, дворяне, специалисты по стрельбе из тяжелых ружей – почти пушек – «затинных пищалей», а «сторóжи» уходили далеко на юг, отыскивая следы врага на беспокойных степных шляхах. В эпоху Российской империи граница шагнула аж к Черному морю, жизнь тут успокоилась, и город-пограничник обернулся сонным провинциальным захолустьем, богатым лавками, купеческими домами, особнячками местных дворян, храмами...

Теперь тут безобразие и срам. Церковка – одна, маленькая, и не поймешь, как ее называть: то ли полуразрушенная, то ли полувосстановленная. Денег на ее окончательное восстановление не хватает, хотя на одной из центральных улиц столичный банк недавно отгрохал колизейных размеров офис... На это средства нашлись. Тут все – в трещинах, здесь и там стоят дома горелые и заброшенные, мостовая испещрена

рытвинами, бетонная брусчатка на площадях окантована травяными ростками, на окраинах – руины заводиков, всюду – те самые безобразные коробки совстроая, обветшалые донельзя. Город выглядит как песня о нищете, и тем он похож на десятки, сотни маленьких других городов и ПоГосТов европейской части России. Но в людях всё еще живет мечта о лучшей доле. Чудом сохранился особняк XIX века – самой простой и в тысячах копий размноженной архитектуры: белые колонны у входа, ровный треугольник фронтона над ними... Когда я посещал город, этот дом пребывал в скверном состоянии: обшарпанный, изувеченный трещинами, с пятнами отвалившейся штукатурки. Что хорошего может произойти со старинным особняком, когда туда вселилось отделение милиции? Но именно туда подъехали два автомобиля со свадьбой, вышла невеста, за нею жених и свидетели с цветами... Они вышли и встали рядом с белыми колоннами, желая сфотографироваться в том месте, которое – одно на весь город! – сообщает им нечто о существовании иной, более красивой, более устроенной жизни.

Я навсегда запомнил ту сцену. Прогуливаясь по Москве, я часто ее вспоминаю. Да, столице России тоже крепко досталось от строителей сталинской и хрущевской поры. Да, очень многое изгажено и разрушено. Да, и сейчас застройщики ничтоже сумняшеся убивают добрую московскую красу. Но все-таки еще очень многое осталось от того Великого города, каким была Москва в старину. При последних Рюриковичах, первых Романовых, в XVIII веке, когда здесь любило жить оппозиционное престолу дворянство, а потом в XIX, когда переустройством Москвы занялось богатое купечество. В Москве было красиво, и в Москве кое-что осталось красивым. Для колоссального мегаполиса, каким является Москва в наши дни, – это именно «кое-что». Но если бы возникла

чудесная возможность собрать воедино заповедные уголки русской столицы, то из них сложился бы, наверное, город небольших размеров...

Пречистенка. Остоженка. Ивановская горка. Замоскворечье. Никольская. Знаменка. Рождественка. Дмитровки. Никитские. Басманные. Патриаршие пруды. Поварская. Солянка. Бульвары. Таганка. Лефортово. Окрестности Новослободской. Царицыно. Коломенское. Кусково. Останкино. Да еще много, много всего: разве перечислишь каждую улицу, каждый переулок, каждый дом, носящий отпечаток благородной старины?

И – поставить рядом тот самый обшарпанный особнячок с районным отделением милиции... Да Москва фантастически богата историей! Просто жители ее, даже коренные москвичи, порой не представляют себе, каким богатством они обладают.

Как правило, уже миновав юные годы, человек задумывается о своих корнях, оглядывается, определяет для себя ту почву, из которой он вырос и сформировался. И далеко не всякий москвич научен, где и как ему отыскать эту самую почву в собственном городе, где ощутить, как череда поколений связывает его семью с теми, кто жил тут при последнем государе или, скажем, во времена изгнания Наполеона из России, в «век золотой» Екатерины, при князе Пожарском или же в юную эру Ивана Калиты.

Один из таких оазисов старины – Елоховская площадь. Она далеко не столь известна, как Коломенское, Замоскворечье или Патриаршие пруды. Но эта старинная площадь хранит очарование имперской провинции – когда у Москвы отъяли право называться стольным городом, передав его Санкт-Петербургу, но сила и богатство отнюдь не вытекли из города, они продолжали наполнять его до краев.

Здесь сходятся Новорязанская, Бакунинская улица и Елоховский переулок. Эта местность поздно вошла в

черту города – только в XVIII столетии. Еще при Дмитрие Донском Москва далеко не доходила до сих мест. Здесь располагалось село Елохово, а кругом стояли заросли ольхи («елохи»), рядом же протекал ручей Ольховец. Лишь в XVI тут выросла Елоховская дворцовая слобода.

Самое величественное здание площади – Елоховский Богоявленский собор. На его месте раньше стояла церковь 1717 года (в ней крестили А. С. Пушкина), и зодчие нового храма кое-что оставили от этой постройки. Нынешний собор завершили возводить в 1845 году по проекту знаменитого архитектора Е. Д. Тюриня, а потом еще восемь лет занимались отделкой. Так что полное освящение произошло только в 1853-м, а в 1889-м здание незначительно перестроили.

Громада Елоховского собора стала одним из символов Москвы, и, кроме того, это одно из самых крупных церковных зданий города.

Мало кто знает, что треть издержек на возведение этого гиганта покрыта московским купцом В. И. Щаповым, и позже щедро дававшим средства на нужды собора. В 1930-х годах, когда большевики закрыли или же разрушили множество церквей, Елоховский храм принял честь великую и – по тем временам – опасную, став патриаршим кафедральным собором. Эта честь перешла от него к Успенскому собору Кремля лишь в начале 90-х. Ну а тогда, в 30-х, статус кафедрального собора выглядел своего рода «терновым венцом», вечно грозившим местному духовенству муками от властей. Патриарха в ту пору не было – лишь патриарший местоблюститель...

Позднее Бог вложит советским властям добрые побуждения в души, и во главе Церкви вновь появится патриарх. Владыка Сергей Страгородский скончался в 1944-м, уже будучи в патриаршем сане, и его

похоронили именно здесь. Через много лет в Елоховском же соборе нашел пристанище прах другого первоиерарха нашей Церкви – Алексия II. А с 1947 года тут покоятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского (XIV век).

Богоявленский собор передает своим архитектурным убранством дух имперской, дворянско-купеческой Москвы времен Николая I. Это поистине могучая постройка стиля ампир с громадным куполом в центре и еще четырьмя – на башенках – по углам. Камень собора как будто дышит мощью города, житейской крепостью люда, населяющего Белокаменную, прочностью купеческого и ремесленного исповедания веры. Здесь, в этом месте, у входа в храм, древние корни Москвы чувствуются с особой силой.

Да, Елоховский собор построен по архитектурной моде середины XIX столетия.

Но нарядная тяжесть его, прихотливость и основательность роднят храм с церквями допетровской эпохи гораздо больше, чем с сухими, рассудочными классицистическими церковными зданиями второй половины XVIII века. Это ведь совершенно невесомая субстанция – дух города. И даже талантливый архитектор иногда ловит его, иногда не может схватить... Так вот, Евграф Тюрин эту самую «московскость» самым очевидным образом поймал.

Елоховский собор это... это... словно гениальное припоминание о древнем величии, о древней святости, но прежде всего – о древней самости Москвы, посетившее прежнюю столицу в ее опальной дрёме. А раз о самости, то, следовательно, и об инакости в отношении новых времен с их унылой, размеренной регулярщиной.

Елоховский собор построен на 100 процентов по-европейски в смысле архитектурных и строительных

технологий. Но он худо вписывается в холодный европеизм петербургской эпохи.

Ампирную громаду собора венчает традиционное русское пятиглавие, символизирующее в православной традиции Господа в окружении четырех евангелистов. И пусть архитектурная отделка здания весьма далеко отстоит от пятиглавого Успенского собора в Московском Кремле, ставшего образцом для множества храмовых построек допетровской России, пусть еще того далее она и от величия Успенского собора во Владимире – старшего брата кремлевского Успения. Пусть. Но родство меж ним все-таки очевидно.

Все три сверкают огромными шеломами своими, все три сочетают устремленность глав соборных к небу с тяжелой устойчивостью, крепким, трезвым, полнокровным «стоянием на земле». Эстетические вкусы эпох, разделенных многими веками, наложили отпечаток на убранство трех разных церковных зданий. Но основа, ради которой они воздвигались, – мистическое приближение к Христу, вера, пронизывающая корнями пласты русских столетий, – сохранилась и сохранила базовый смысл, вложенный зодчими в планы этих соборов. Во всех трех случаях ум побеждается верой и служит ей, во всех трех случаях он не имеет никаких шансов на главенство в этом диалоге, но у него не отымается права на рациональное высказывание.

А Москва не-рациональна. Не-логична. Жизнь ее в большей степени постигается интуицией, да еще благим упованием на Бога. И Богоявленский собор, ушедший от холодного ratio, приблизившийся к теплу древних святых наших, мил Москве, он – плоть от плоти Порфирогениты.

Елоховский собор – одно из маленьких сокровищ столицы. Если видеть в Москве ларец, наполненный всякой всячиной под самую крышку, то в нем советские

гвозди, детальки от сломанного плеера и легкие алюминиевые монеты соседствуют с драгоценностями работы старых мастеров. И где-то на самом дне укрылся от небрежных рук неприметный перстень с прекрасной жемчужиной – Елоховским собором.

Марфо-Мариинская обитель и русский стиль в архитектуре Москвы

Марфо-Мариинская обитель – один из самых молодых монастырей в Москве.

Она возникла незадолго до великого пожара Первой мировой и революционного лихолетья. Но всего за несколько лет обитель завоевала у москвичей добрую славу. Она считалась местом особого, деятельного благочестия. А заодно – жемчужиной русского стиля в архитектуре.

Парадокс: именно Марфо-Мариинская обитель, блистательный пример русской древности, ожившей на рубеже XIX и XX столетий в творениях архитекторов, возникла благодаря воле немки, которая до изрядного возраста вообще была крайне мало осведомлена о России и ее культуре. Эта благородная женщина происходила из Гессен-Дармштадтской династии. Но именно она приняла на себя роль творческой силы правящего дома Романовых; изо всех представителей царствующего семейства ей удалось двинуть русское дело в большей степени, чем кому бы то ни было со времен царствования Александра III.

Итак, основательницей обители стала великая княгиня Елизавета Федоровна. Ее судьба связана с судьбой Москвы невидимыми, но крепчайшими нитями. Именно такие использует Небо, сшивая события, личностей и обстоятельства в нераздельное целое.

Здесь, в Великом городе, Елизавета Федоровна прожила много лет. В 1905 году на московскую землю пролилась кровь ее супруга, великого князя Сергея Александровича, погибшего от рук террориста. А 1918

году чудовище революции убило и ее: большевики вывезли Елизавету Федоровну из Москвы на Урал, а затем сбросили ее, вместе с другими представителями дома Романовых, в глубокую шахту под Алапаевском. Русская православная церковь причислила ее к лику святых – как новомученицу – и поместила в Собор Московских святых.

Между этими двумя страшными датами Елизавета Федоровна совершила главную духовную работу своей жизни.

После смерти мужа она продала фамильные драгоценности, особняк в Санкт-Петербурге, призвала помочь высокопоставленную родню; накопив достаточно средств, великая княгиня купила в Замоскворечье усадьбу с четырьмя домами и садом. Здесь Елизавета Федоровна в 1909 году основала обитель. К 1917-му в ней уже было три новых церкви и обитало множество насельниц. Туда принимались православные девушки и женщины от 21 до 45 лет. Сестры с первых шагов не давали монашеских обетов, не облачались в черное. Они могли выходить в мир, имели право покинуть обитель и обвенчаться (Павел Корин, трудившийся над росписью соборного храма обители, сам был женат на ее бывшей воспитаннице), но могли и постричься в монашество. Главная идея Елизаветы Федоровны состояла в том, чтобы соединить молитвенное сосредоточение монастыря с деятельной помощью ближним. Сестры заботились о больных, помогали сиротам, учили детей, занимались делами благотворительности.

Настоятельнице потребовалась большая вера, чтобы забыть роскошные наряды и облачиться в скромные монашеские одеяния, большая воля, чтобы из года в год упорно вести обширное хозяйство обители, не оставляя в то же время постоянных молитв, большое милосердие, чтобы лично обихаживать тяжелобольных и отыскивать

на самом дне московской жизни детей, нуждающихся в помощи.

Обитель в целом и один из ее храмов получили имя в честь двух евангельских персонажей – святых Марфы и Марии. Они были родными сестрами святого праведного Лазаря, коего чудесным образом воскресил Иисус Христос. Обе они уверовали до Воскресения Спасителя. Когда их дом посетил Господь с учениками, Марфа принялась заботиться об угощении гостей. В то же самое время Мария села у ног Христа внимать Его Слову и за то получила Его одобрение. Марфа попросила отпустить сестру – помогать по хозяйству, но Господь упрекнул ее в излишней хлопотливости, когда пришло время сосредоточиться на служении духовном, а не хозяйственном. Впрочем, Господь не отверг и Марфу: в Евангелии сказано, что Он любил обеих. Елизавета Федоровна мечтала в стенах обители соединить эти два служения, и ей дарован был успех.

Марфо-Мариинская обитель стоит на одной из красивейших улиц Москвы – Большой Ордынке. Рядом с нею сохранились добротные купеческие особняки, чудом не снесенные в советские годы и таким же чудом пока еще не уничтоженные ради современной многоэтажной застройки. Большая Ордынка когда-то была средоточием посадской жизни, районом купцов и ремесленников. Здесь допетровская культура, устои времен первых государей из рода Романовых плавно, без какого-то страшного слома, без надрыва слились с европеизированной имперской культурой, во многом переиначив и перестроив под себя последнюю. Ныне здесь любят гулять москвичи, знающие и ценящие столичную старину. На Большой Ордынке, как нигде более, легко представить себя в гуще жизни позапрошлого века, с ее викторианской неспешностью, с осанистым духовенством, сублильными курсистками, щедрыми промышленниками-меценатами, городскими

при окладистых бородах, солидными купеческими семействами в каретах. Летними сумерками, взглядевшись в недавнее прошлое, можно увидеть газовые фонари, дам в длинных юбках и шляпках, пролетки с ямщиками, а если повезет, различить едва слышный цокот копыт по булыжной мостовой... И тогда замоскворецкие храмы – убитые и живые – выступят из суеты городской, из человеческого кипения с поразительной отчетливостью, опустевшие улицы изменят ритм, канув из дерганой современности в неспешную старину. И полетит по бульварам и переулочкам, по Кадашевским, по Пятницкой, по Старомонетному, по Черниговскому тягучий звон вечерних колоколов...

Среди всего этого великолепия устроилась Марфо-Мариинская обитель – словно драгоценный камень в оправе из серебра, потемневшего под действием времени, или, может быть, маленький кусочек рая, всплывший из глубины тысячелетий на поверхность настоящего.

Архитектурный ансамбль его выполнен в русском стиле, и о том, что собой этот стиль представлял, стоит поговорить особо.

В конце XIX – начале XX века происходит возрождение как религиозного, так и национального чувства в России. Значительная часть образованного класса поворачивается лицом и к русской истории как безусловной ценности, и к православию как к чему-то более высокому, нежели сиюминутные измышления Бюхнеров, Фохтов и Молешоттов – великих гуру простецкого материализма третьей четверти XIX столетия. Под действием столь значительной перемены уходят старые архитектурные стили, начинаются эксперименты с новыми. Классицистская и ампирная рассудочность отступают, эклектизм перестает удовлетворять просвещенное общество.

Русский стиль в архитектуре рождается из этого ренессанса православия и народности. Тут сложились воедино и самые искренние чувства царствующего дома, и казенный задор чиновничества, и устремления творческих людей, и сохранившееся в купеческой среде теплое отношение к допетровской старине.

Попытки создать новый стиль усилиями одного государства приводили к спорным результатам. Столь спорным, как, например, творчество того же К. Тона и его учеников.

Работы этого человека столь долго ругали самыми черными словами, что немногие сейчас осмелятся находить в них эстетические достоинства, а они между тем очевидны. Так, созданный им Большой Кремлевский дворец представляет собой органичное единство европейской строительной техники, европейской стилистической основы и допетровских мотивов русского зодчества. Тон искусно напомнил москвичам, что когда-то первые Романовы жили в Теремном дворце государя Михаила Федоровича, часть которого оказалась встроенной в Большой Кремлевский дворец. И этот последний, юный богатырь, напитан идеями, которые вложены старомосковскими зодчими в декор древней постройки.

Из государственной инициативы выросли превосходные памятники русского стиля: Спасский храм «на крови» в Петербурге, Крестовоздвиженская церковь в Ливадии, бесчисленное количество храмовых построек времени Александра III, для Москвы прежде всего – нарядная Всехсвятская церковь Алексеевского монастыря.

Но чаще удавались памятники русского стиля, рожденные частной инициативой: Марфо-Мариинская обитель, «палаты» Щукина в старомосковском стиле, Спасский храм в Абрамцевском имении С. И. Мамонтова.

Очень хороши Ярославский и Казанский вокзалы. Чудный «теремок» в начале Остоженки. Фасад Третьяковки. Удивительное каменное узорочье малых церквей Николо-Угрешской обители. Да много всего! И, разумеется, не только в Москве: в Киево-Печерской лавре есть первоклассный памятник русско-византийского стиля – собор Антония и Феодосия Печерских, в Натальевке под Харьковом – Спасская церковь, вся в каменной резьбе, на Куликовом поле – храм Сергия Радонежского с «богатырским» фасадом.

Вернемся к Белокаменной.

Близ входа в парк «Сокольники» стоит великолепный храм Воскресения Христова, не закрывавшийся на протяжении всего советского периода. Его творец, архитектор П. А. Толстых, соединил древнемосковский шатер и малые фигурные главки вокруг него с мягкими, текучими формами архисовременного модерна. Воскресенская церковь – не только высокий образец русского стиля в архитектуре, это еще и храм-мечта. Мечта о том, что милостивый Господь когда-нибудь подарит нашей жизни больше тепла, снимет груз с наших плеч, даст нам чистой радости – столько, чтобы можно было ею вдоволь напиться. Мечта о том, что всё будет хорошо.

Храм построили перед началом Первой мировой. Мало ему досталось спокойного времени... И сколько бед обрушилось на православный мир, когда церкви сокольнической было от роду всего несколько лет! Но эта надежда, эта мечта, это упование на милость Божью были столь сильны, что пересилили всю темень, сокрушили всю печаль, всё победили. Храм выжил.

В русском стиле архитектуры были свои классики. Кого-то из них помнят – как, например, А. В. Щусева. А кого-то забыли. В частности, плодовитого и весьма одаренного Александра Степановича Каминского, приходившегося зятем Павлу Михайловичу Третьякову.

Преображенский собор Николо-Угрешской обители, Третьяковский проезд на Лубянке, Третьяковская галерея (главный фасад – по проекту В. М. Васнецова), царский павильон на Ходынском поле, дача А. Н. Мамонтова и павильон Абрикосовых на московской выставке 1890 года – таковы лишь самые знаменитые его работы.

Не видно, к сожалению, чтобы кто-то пытался всерьез пересмотреть отношение к русскому стилю в постсоветский период. Экскурсоводы всё так же пичкают людей бреднями о «псевдорусской манере» такого-то архитектора. А что там, собственно, «псевдо»? Всё это ложится на душу как нельзя лучше, всё это – наши корни, родное.

Вероятно, лучшим из всего, что есть в Москве русского стиля, и является Марфо-Мариинская обитель.

Над архитектурным и живописным убранством главнейших зданий обители трудились выдающиеся люди дореволюционной России. Елизавета Федоровна не жалела усилий, привлекая их к работе. Она стремилась придать монастырю ни с чем не сравнимую красоту.

Зодчим обители стал Алексей Викторович Щусев, позднее – блистательный автор Казанского вокзала (до 1894 – Рязанского), выполненного в стиле старомосковских башен, церквей и палат XVII века. Именно ему принадлежит идея придать обители сходство с храмами и теремами псковско-новгородской Руси, а главный храм – Покровский – украсить белокаменной резьбой по мотивам средневекового русского искусства. Поэтому ныне церковь Покрова Богородицы выглядит так, будто она сошла со сказочных картин В. М. Васнецова, а где-то близ нее, за оградой, скачет на сером волке Иван-царевич и

богатырская застава объезжает сонные переулки дозором. От храма веет изначальем православной Руси.

Расписывали храмы Марфо-Мариинской обители столь знаменитые мастера русского религиозного возрождения, как Михаил Нестеров и Павел Корин.

Марфо-Мариинская обитель предъявляет русский стиль в концентрированном виде. Так же как, например, Спасский храм из Абрамцевской усадьбы Саввы Ивановича Мамонтова. Это, можно сказать, эталонные постройки. В обоих случаях древнерусская традиция христианского искусства соединяется с народной верой и, одновременно, с высокой культурой образованных людей XIX века.

И то, и другое в эстетическом смысле – изысканно-тонкие, аристократичные произведения архитектуры. Кажущаяся простота их композиции основывается на изощренной сложности. И то, и другое – результат осознанного выбора русской православной старины как источника для художественных исканий. И то, и другое – воплощение в камне искреннего христианского чувства, которое испытывали рафинированные интеллектуалы.

При большевиках обитель, разумеется, закрыли, – это произошло в 1926 году. Ее постройки были переданы Церкви лишь в 1992 году, а Покровский храм – только в 2006-м. К тому времени старые здания пришли в скверное состояние. Реставрация длилась несколько лет. Обитель стала чудо как хороша, нарядна, тепла. Физическое восстановление Марфо-Мариинской обители дарит надежду и на возрождение нравственное: быть может, оттуда вновь распространится благое начинание деятельного благочестия – служения, соединяющего роль Марфы и роль Марии в неразрывное целое.

Ныне вокруг скорой реставрации Марфо-Мариинской обители идут споры: многие специалисты недовольны

ее результатами. В прессе время от времени раздаются голоса: напрасно с реставрацией поторопились – некоторые здания вскоре после завершения работ пошли трещинами, кое-где старинные дома подверглись невнятным перестройкам и доделкам, а мемориальный сад, существовавший еще при Елизавете Федоровне, по неизвестным причинам оказался вырублен. Но... но... и то что есть ныне, вызывает своим видом, своим духом острое чувство любви и к святой Елизавете Федоровне, и к старой Москве.

Московский миф – с тех самых времен, когда он только-только появился на свет, – в основе своей христианский, по преимуществу Богородичный. В середине XIX – начале XX века ему придавали новые формы, но фундамент по необходимости должен был остаться прежним. А значит, православную суть его требовалось хорошенько припомнить. Сначала – в мысли, в слове, а затем уже в камне.

Почувствовали, угадали или же отчетливо поняли создатели Марфо-Мариинской обители эту глубинную суть – Бог весть. Но что более соответствует «Дому Пречистой», как не храм Покрова Богородицы?

Червонное сердце

Образ Москвы времен Серебряного века – бесприютен, искажен, расщеплен.

Миф Петербурга конца XIX – начала XX века создан Анненским и Мандельштамом. Андрею Белому оставалось добавить «мяса» на тот каркас, который два титана возвели меж царем, не сумевшим раздавить змею, и броненосцем, чудовищно отсыпающимся в доке.

С Москвой – сложнее. Кто творил, кто прорезал на досках времени лик ее в ту эпоху? Кто ярче, точнее, пленительнее прочих создавал свой маленький миф Москвы, ставший потом частью большого общего мифа Багрянородной монархии?

Первому взгляду на эпоху нужное имя не открывается, не приходит оно в первый же миг на язык, нет. Оно... словно бы спрятано. Оно... словно бы требует интеллектуальных раскопок.

Москва Серебряного века как будто двоится, расплывается. Кто-то из великанов того времени и впрямь создавал ее образ. А кто-то продуцировал миражи, симулякры, мутные антимифы, рассчитанные на то, чтобы заместить собою истинный миф Порфирогениты.

И к этому странному, тьмой наполненному строительству миражей оказались причастны столь значительные фигуры, как Валерий Брюсов и Андрей Белый.

***Мастер и город. Образы Москвы у Валерия
Брюсова***

Талант Валерия Брюсова вырос на лоне Москвы, ее колокольным звоном напитан, из ее темного купеческого чрева поднялся. Мастер долго чувствовал связь со средой «деловых людей» Великого города и честно признавал эту среду родственной для себя.

Но... постепенно отдалялся от нее и однажды расстался с нею окончательно. Поселился в царствии богемы. Стал вести образ жизни, чуть ли не прямо противоположный обычаям предков. Возлюбил спиритические сеансы – не столько веруя в действительную силу вызывателей духов, сколько чая в этом темном движении большую силу и упоая, что она сила вознесет его высоко, придаст особенный блеск его поэтическому дару... да еще, пожалуй, взыскуя острых ощущений, не связанных с пресной повседневностью.

Брюсов, величайший столп русского символизма, предстает перед потомками как личность, имеющая три взаимосвязанные, но несхожие друг с другом ипостаси.

Неизменно сильным бывало то, что высказывал он, пребывая в первой из них, т. е. в согласии с кряжистой своей купеческой натурой. Брюсов имел к жизни хватку, унаследовал свойства практического дельца – человека расчетливого, рассудочного, прагматичного. Его отличала недюжинная внимательность к мелочам – в характерах и вещах. Он был цепок в отношении духа времени. И когда поэт просто называл то, что видел вокруг себя, скрепляя поэтическим языком самые простые впечатления от реальности, – образы, им созданные, выходили пронзительно точными.

Он же во второй ипостаси – создатель прекрасных выдуманных миров. Творчество Брюсова имеет общую кровь с современным фэнтези. Не обрета от оккультизма и спиритизма никаких откровений, помимо того, что в темноте бывает приятно ухватить податливую девицу за выступающие части тела (об

этом прямо свидетельствует дневник поэта) и поугагать соседей фальшивыми стуками из «загробного мира», Брюсов построил из слов всё, чего недополучил от шальных игр с душами мертвецов. Возводя возвышенные, изящнейшие миры силой воображения, он мастерски создавал соблазнительные сказки.

К сожалению, Брюсова часто подводил его практицизм, его огромное честолюбие.

Он чувствовал в себе жилку вождя, у него явно была складка человека, поднимающего большие «проекты» – если говорить современным языком. Так он стал переводчиком и редактором антологии «Поэзия Армении» (1916) и разработал план гораздо более значительной антологии армянской исторической литературы. Способности арт-администратора, что ж тут плохого?

Однако эта горделивая сила лидера в третьей его ипостаси оборачивалась скверно. Поставив себя на место лидера оккультистов символистского сообщества, главного «темного мага» поэзии, мэтра, связанного с «неземными силами», – иными словами, общественно-значимой фигуры, – он должен был время от времени «пророчествовать», встав на цыпочки. В этой третьей ипостаси ему приходилось, дабы не отстать от того самого духа времени, вещать фальшивым голосом какую-то, прости, Господи, поэтическую публицистику о «высших смыслах»... а потом и о благе революции. Марина Цветаева видела в Брюсове «римлянина» и «волка», т. е. человека весьма волевого, умевшего всего добиваться, хотя бы и оскалив клыки. И тут уж не до чистоты помыслов.

Так вот, куда жива была в Брюсове первая его ипостась, Москва любила мастера и дарила ему способность высказывать потаенную правду о себе.

Вот он еще молод, звезда его только восходит, 1895 год:

Я люблю у застав переулки Москвы,
Разноцветные, узкие, длинные, —
По углам у заборов обрывки травы,
Тротуары, и в полдень пустынные.

Эта тихая жизнь, эта жизнь слободы,
Эта тишь в долетающем грохоте...

Тысячи московских интеллектуалов нашего времени любят в своем городе именно то, о чем кратко и точно сказал Брюсов: тишь, переулки, зелень по соседству с дорожным полотном, разноцветные ленты старинных домиков... Да и в пору, когда набирал силу Серебряный век, многие любили то же самое, сердцами прикипая к тишине, к пустынным кривым улочкам, видя в том великую отраду и отдохновение души.

Дальше и дальше уходя в декадентство, в путанные ритуалы ордена богемных эзотериков, Брюсов все еще с болью признавал: да, он покинул коренную московскую жизнь, но к ее старинному теплу тянется от его личности прочная нить:

...Ну что же? Я таков ли,
Каким желал я быть? Добыл ли я венец?
Иль эти здания, все из стекла и стали,
Восставшие в душе, как призрачный дворец,
Все утоленные восторги и печали,
Всё это новое – напрасно взяло верх
Над миром тем, что мне столетья завещали,
Который был моим, который я отверг!

Это уже 1903 год. В памяти Брюсова мир, «завещанный столетьями», еще очень свеж, еще силен. И он с томительной, сладостной болью ностальгии

перебирает его черты, будто потемневшие от времени
серебряные перстни, извлеченные из драгоценной
шкатулки:

Амбары темные, огромные кули,
Подвалы под полом, в грудях земли,
Со сходами, припрятанными в трапах,
Картинки в рамочках на выцветшей стене,
Старинные скамьи и прочные конторки,
Сквозь пыльное окно какой-то свет незоркий...

Звучит так, словно мир этот, когда-то ставший
постылым, отойдя вдаль, вновь сделался дорог:

Я помню: за окном, за дверью с хриплым блоком
Был плоский и глухой, всегда нечистый двор.
Стеной и вывеской кончался кругозор
(Порой закат блистал на куполе далеком).
И этот старый двор всегда был пуст и тих,
Мелькнет монахиня... купец в поддевке синей...
Поспешно пробегут два юрких половых...
И снова душный сон всех звуков, красок, линий.

Когда въезжал сюда телег тяжелый ряд
С самоуверенным и беспощадным скрипом,
И дюжим лошадям, и безобразным кипам,
И громким окрикам сам двор казался рад.
Шумели молодцы, стуча вскрывались люки,
Мелькали руки, пахло кумачом...
Но проходил тот час, вновь умирали звуки,
Двор застывал во сне, привычном и немом...

Сколько тут неподдельных, живых деталей! Сколько
созерцательной меткости! И сколько тоски – по миру,

ушедшему в темные трюмы души, но все еще дающему тягучую, сладкую, печальную творческую силу.

Эту честную, «прямую» и... настоящую Москву Брюсова почти никто не помнит, помимо литературоведов. Мало ее. К сожалению, очень мало.

В русскую литературу, в коллективный ум образованного класса врезалось другое. Брюсов первым, или, во всяком случае, одним из первых, стал заполнять мощное, устоявшееся культурное поле Москвы символами и знаками, заимствованными из других культурных полей. Брюсов стремился на сто скачков обгонять свое время, а время это неласково обходилось со старомосковскими традициями, с третьеримством и второиерусалимством древнего города.

К середине XIX века Москва вот уже более полутора столетий переживала вестернизацию, постепенно растворяя пришлую Европу в себе, приспособлявая ее к своей душе. Но... это были не последние, не самые сильные и не самые коварные волны наводнения Западом. Явились – одно за другим – три поколения купцов, финансистов и фабрикантов, погрузившихся в рафинированную европейскую культуру, пронизанную атеизмом. Из этих людей вышли блистательные меценаты... а в одно время с ними – чудовищные богоборцы. Немногие из них умели гармонично соединять в себе отеческую веру с новейшими научными знаниями и культурными веяниями – как, например, П. М. Третьяков или А. А. Карзинкин...

Отец Валерия Брюсова, крупный делец, являлся игроком, мотом и большим безбожником.

Покатился по Москве купеческий стиль модерн – изощренный, утонченный, роскошный. И его Москва переварит, переделает под себя, как прежде переварила барокко, классицизм, ампир... Но уже не полностью. Разновидность модернистской архитектуры,

копирующая стиль западноевропейского Средневековья, своего рода новая готика, связанная со внезапно вспыхнувшей у российских дельцов англофилией, – пусть отцы и деды, быть может, кроме Псалтыри да лампадки, ничего не читали, – вгрызлась в плоть Москвы, отвоевывая для себя острова пространства, никак не связанного с местной культурной традицией.

Серебряный век – время, когда романтизм Богаевского, Сомова и Борисова-Мусатова отчаянно пытался победить урбанизм Добужинского. Мстислав Добужинский – серо-желтые стены, грязный камень, заводские трубы, копоть, суета, размалеванная фальшь вывесок, безнадежность покосившихся фонарей... Иными словами, реальность мегаполиса, стремительно разрушавшая романтическое благородство средневековой старины, всё еще сохранявшееся в больших городах Империи. Богаевский бежал из мегаполисного пространства в магию Киммерии, в сказку теплых морей и гобеленных водопадов. Борисов-Мусатов также бежал – в прелести дворянских усадеб, в прекрасный изумрудно-белый миф, наполненный мечтательной созерцательностью. Сомов – в краски мундирного XVIII века, в куртуазность, в милое дамское угодничество. Да кто только не бежал тогда! Серебрякова – в поэтизацию крестьянского быта. Виктор Васнецов – в древнюю сказку, в Святую Русь. Как иначе? От гремящего, дымного, толпливого, нечеловечески холодного города, приведенного в художественную реальность Добужинским, трудно было не сбежать. Осознанно противопоставить этой новой мегаполисной реальности нечто принципиально иное, вложить в художественную культуру резистентный идеал, а не просто бежать умели немногие. Суриков с его русскостью, Нестеров с его чистой верой и тихой гармонией...

В литературе шел тот же самый процесс. Серебряный век до Гумилева, до 1-го цеха акмеистов, до «крестьянских поэтов» прививал писателю и поэту навык эскапизма. Отсюда, из здесь-и-сейчас, следовало бежать. В неуюмную, сумасшедшую, безмерную любовь. В мистику, магию, оккультизм. В декорации того же европейского Средневековья или в экзотику Востока, африканскую дикость.

Родившийся тогда русский символизм вытекает из тех же источников, что и русское фэнтези наших дней. Вот они: разрушение христианской традиции, наступление эзотерики и оккультизма, гибель городского быта и городских ландшафтов, комфортных для человека. Брюсов, старинный житель Белокаменной, знал еще «Замоскворечье Островского», видел «невзрачно-скромный город» двухэтажных конок, пустырей, утиных прудов и старых фонарей, удивленно разглядывающих газовые рожки. Перед его взглядом милая, родная Москва стремительно дурнела. Как...

...изменилось всё! Ты стала, в буйстве злобы,
Всё сокрушать, спеша очиститься от скверн,
На месте флигельков восстали небоскребы,
И всюду запестрел бесстыдный стиль – модерн...

(1909)

К Богу прибегать с такими кручинами уже разучились. Приникли к символизму. А символизм повелевал либо уходить в мир выдуманный, в романтические картинки каких-то невиданных духовных сущностей, либо же трансформировать окружающую реальность, придавая ей черты иных эпох, иных мест, да просто оплавляя ее собственным творчеством до неузнаваемости.

Брюсов пошел по последнему маршруту. Создав роман «Огненный ангел», он опрокинул Москву начала XX века в Кёльн эпохи Реформации. Неистовая связь поэта с Ниной Петровской не только привела к созданию «Огненного ангела», который сам Брюсов в письмах к Петровской называл «Твой роман» (именно так, с большой буквы, как к божеству), она еще и дала неиссякаемый источник для подражания. Творцы русского символизма легко впадали в полумистическое-полулюбовное буйство, не разделяя творчество и распутство, жизнь действительную и выходы в фэнтэзийную реальность.

Московская гостиница «Русь», где проходили первые любовные свидания Брюсова и Петровской, обернулась немецким постоялым двором. Там одержимая бесом прекрасная Рената дождалась своего защитника – рыцаря Рупрехта. Богемные истории Москвы, например более ранний роман Петровской-Ренаты и Андрея Белого, выступившего в книге под именем графа Генриха, обрели звучание мистических событий. Чувства, бродившие меж Цветным бульваром да домом в Тарусе, где жил Брюсов, и подмосковной дачей, откуда писала ему страстные письма Петровская, утратили черты любви земной и преобразились в подобие алхимической «перековки душ» – с магическими опытами, поиском колдовских истин, борьбой с демонами, рыцарскими поединками.

Брюсов разрубил главную любовь своей жизни на поленья, очистил с них кору московских бульваров и особняков, чтобы сунуть полученный горючий материал в топку творчества. В результате появилась иная реальность – столь осязаемая, столь совершенная в художественном смысле и столь прелестная в христианском, что кажется, будто она пребывала в одном шаге от действительного мира. Москва-Кёльн, Москва – театр страстей в декорациях XVI века

выглядела притягательнее просто-Москвы с ее просто-переулочками, просто-тишиной, просто-колоколами.

Многие женщины мечтали тогда заменить собою Петровскую в роли Ренаты. Юной Надежде Львовой это на краткое время удалось: бешенство ее эмоций ненадолго сделало ее второй Ренатой, даже большей Ренатой, чем была за несколько лет до того Петровская... Львова завладела чувствами Брюсова. Чем она могла победить Петровскую, помимо молодой свежести? Многоопытный Брюсов, написав постфактум «исповедь» под названием «Правда о смерти Н. Г. Львовой», сообщил, что он, скорее, «уступил» страсти Львовой и ее угрозам отравиться, нежели потерял голову в эротическом угаре. Но так ли это? Одна ли тут была «уступка»? Львова имела одно несомненное достоинство: она стала почти рабой Брюсова, желала быть с ним (при живой жене и при связи поэта с Петровской) кем угодно: «знакомой, другом, любовницей, слугой». А Брюсов, завершив сюжет романа «Огненный ангел» смертью Ренаты на костре, и в жизни, как видно, искал такого же «завершения романа». Рената настоящая, то есть романная, была мертва. А вот Петровская – страдающая, любящая, сходящая с ума, искренне желая сыграть последнюю сцену уже законченной книги, – всё ещё оставалась среди живых. Она попытается убить себя и даже попробует убить Брюсова. Но при жизни поэта Нина Петровская порог царства мертвых не перейдет. Чувство к Брюсову, пусть безнадежное, пусть тупиковое, будет в ней бороться с волей к смерти. Зато другая женщина, юнее и безумнее, решится стать истинной Ренатой, иначе говоря, Ренатой мертвой... Не это ли легкое отношение Львовой к возможности совершить суицид так привлекало Брюсова, так много преимущества дало ей перед Петровской? Брюсов

подарил ей браунинг, из которого «вторая Рената» и застрелилась...

Петровская всю жизнь несла на себе отпечаток Ренаты. Чувствовала себя ею, смешивала персонажей и положения романа с реальными личностями и обстоятельствами жизни. Даже католичество приняла, будучи в эмиграции, под именем Рената. И она с мучительной болью переживала, что рядом с Брюсовым – другая Рената, что роман поэта и мистической возлюбленной... повторяется! Даже в деталях... Незадолго до отъезда за рубеж она с горечью написала ему: «Теперь же, пока у тебя игра с девочкой (Н. Г. Львова. – *Д. В.*), мне слишком тяжело быть с тобой. Я не могу тебе сказать: не приходи никогда, потому что не выдержу и когда-нибудь позову. Но теперь, пока – не мучь меня, не ходи ко мне и не лги, что ничего нет. Есть! Я видела. Чувствовала до твоего признанья. Это хуже, чем знать о твоей жене, – это уже слишком много. Судьба есть! В тот вечер, когда я тебя безумно хотела видеть, когда мне был нужен ты, твоя поддержка, ласка, доброта, – ты увлекся девочкой 18 лет. Если бы меня спросил Генрих (Андрей Белый. – *Д. В.*), почему я не могу, и выслушал мой ответ, я думаю, он понял бы, что не всё может вынести больная, измученная, разорванная душа. Я рада, если ты можешь быть живым и влюбленным снова, и не хочу быть тебе “помехой”, но видеть тебя, вспоминающего свиданье и спешащего на другое, со стихами на губах, с желаньем новых губ, свежих ласк, полудетской любви, – нет, Валерий, этого я не могу».

Но и после сих строк Ренатой быть не перестала. До последнего вздоха... пока не убила себя все-таки. Рената ведь должна быть мертва. Впрочем, Брюсов не узнал об этом: к тому времени «маг» вот уже несколько лет лежал в гробу.

Обе «Ренаты», Нина и Надя, любили «Рупрехта» с невероятной силой. И как знать, сколько было в этом рыцаре от настоящего Брюсова?

Если взглянуть на ситуацию двух Ренат, отрешившись от черного очарования «Огненного ангела», станет видно: Львова за «роль» в мире ненастоящем, хоть и прекрасном, заплатила в реальном мире смертным грехом самоубийства, душу свою погубила. Это величайшая похвала Брюсову-художнику: под его пером родился темный мир, эфирные стены, дороги и небеса которого могли с необоримой силой вырывать из подсолнечного, подБожьего мира его обитателей. Но это же и приговор для Брюсова-мистика. Его руками воздвигся великий, горчайший соблазн. Притом соблазн, соединенный и с блудным грехом, и со страшными смертями в жизни действительной.

Москва-Кёльн Брюсова, оккультный град, утопленный в «тонких материях» магии, «сокровенных истинах» и тайных науках, – сущая темень. Мираж аспидно-черный, демонический, получивший разрушительную власть над умами. Лучше бы его не существовало! Он затягивает в себя нестойкие души, живущие на грани, ищущие сумасшедшей, безбрежной любви и не находящие ее в своем окружении, а затянув, превращает судьбы уловленных в духовный тупик. Это так ясно видно на примере двух Ренат, двух возлюбленных Брюсова – наркоманки Петровской (сделавшей наркоманом самого Брюсова) и самоубийцы Львовой.

Брюсовский мираж Москвы-Кёльна полюбился Серебряному веку. Он и сейчас силен. Но правды об истинной Москве в нем мало. Всего лишь правда об отношениях в кругу символистской богемы, отравленной оккультизмом, не более того.

А потому нет в оном мираже строительного материала для великого мифа Москвы, Москвы – Богом

данной государыни.

После этого низвержения души Брюсов, испытывая колебания, пытался вернуться к чему-то коренному, живущему в сердце с тех пор, когда он был насельником «пустого и тихого» двора. И в его стихах еще реют «...стрижи вокруг церкви Бориса и Глеба», и еще печалится душа при виде дряхлеющих вековых парков «...с аллеями душистых лип. / Над прудом, где гниют беседки, / В тиши, в часы вечеровые, / Лишь выпи слышен зыбкий всхлип». Но как только Брюсов попытался воспеть родной город, как только лиру свою настроил на славление, вышло... как нельзя хуже. Москва отомстила ему за окунание в Кёльн. Пытается запеть Брюсов, а слышится рифмованный пересказ Карамзина:

Град, что строил Долгорукий
Посреди глухих лесов,
Вознесли любовно внуки
Выше прочих городов!
Здесь Иван Васильич Третий
Иго рабства раздробил,
Здесь, за длинный ряд столетий
Был источник наших сил...

И т. д. и т. п.

И хотя в финале звучат правильные слова, хотя доброе чувство начинает слышаться:

Расширяясь, возрастая,
Вся в дворцах и вся в садах
Ты стоишь, Москва святая,
На своих семи холмах...

(1911)

– а всё одно, звучит холодно, казенно, будто официальный гимн, сделанный по заказу городского начальства. Мир, возрадивший Брюсова, отвергнутый им, но все-таки по инерции любимый, больше не давал ему сил для творчества. Или, вернее, не давал в себя возвращаться...

Тогда Брюсов заставил себя ликовать при звуках пальбы, раздававшихся в Москве осенью 1917-го, и благословлять разрушителей древней красоты:

И когда в Москве трагические
Залпы радовали слух...

(1920)

Мастер возненавидел город. Мастер вышел против города. Мастер, великий мастер, стал понемногу превращаться в советского администратора-от-литературы.

И он одним из первых приложил руку к возвращению коммунистического мифа Москвы. Той Москвы, где Третий интернационал, той Москвы, где Кремль, в котором заседают наркомы. Той... которая вся укладывается в оформление коробочки с духами «Красная Москва».

В том же 1920 году, обращаясь к «русской революции», он взфанфарит:

И все, и пророк и незоркий,
Глаза обратив на восток —
В Берлине, в Париже, в Нью-Йорке, —
Видят твой огненный скок.

Там взыграв, там кляня свой жребий,
Встречает в смятеньи земля

На рассветном пылающем небе
Красный призрак Кремля.

Тут и добавить нечего.

А когда-то... давным-давно... мастер жил с городом в мире. И город давал мастеру великую силу. Для творческого человека это очень тонкий вопрос: верность месту, которое тебя породило. Ты его чтишь, и оно тебя возвышает. Ты его отвергаешь, и оно обессиливает тебя...

Карга. Москва Андрея Белого

В 1924 году вышли первые главы романа Андрея Белого «Москва». Один из создателей русского символизма, прославленный поэт и прозаик, Белый сделал книгу, не добавившую ничего доброго к его репутации.

Автор приклеил на лоб дореволюционной Москве омерзительную визитную карточку: дескать, была когда-то, если не врут, Белокаменной, златоглавой, а сделалась безобразной дряхлой каргой; такой бы – поскорее на кладбище! Посмотрите же, посмотрите, – словно кричал он посреди послевоенных 20-х в лицо тем, кто еще помнил статью Порфирородной монархини, кто еще смел ее любить, – посмотрите на свою старуху! Это она! Та, «...которая кувердилась чепцом из линялых фестончиков в черной кофте своей желтоглазой, которая к вечеру, распухая, становится очень огромной старухой, вяжущей тысяченитийный роковой свой чулок. Та старуха Москва».

Город люб Белому лишь в зимнюю пору, когда «обкладывается снежайшими морховатыми шапками синий щепастый заборчик», а морозец «обтрескивает

все заборики». Зимы укрывают больную, дурно пахнущую, покрытую язвами плоть старухи-Москвы одеялом; снежный чехол делает тайной ее вонючие болячки; мороз прогоняет рои мух, звенящие над ее телом и приостанавливает распад тканей. «Зимами весело!» – оттого и весело, что секрет дряхлости и скорой смерти задрапирован в холодную чистоту.

Ничтожество чувств, ничтожество мыслей, ничтожество ландшафта – вот какую выведена старая Москва на подмостки романа.

О судьбе одного из центральных персонажей, профессора Коробкина, сказано: «С детства мещанилась жизнь мелюзговиной; грубо бабахнула пушкой, рукой надзирателя ухватила за ухо, таская по годам; и бросила к повару, за полинялую занавеску, чтобы долбил он биномы Ньютона там; выступила клопиными пятнами и прусачным усатником ползала по одеялишку; матершиною шлепала в уши и фукала луковым паром с плиты». Да полно, о человеке ли это? Или, скорее, о городе, живущем под аккомпанемент помоечного смрада?

Профессорский быт – пошл, безжизнен: сплошное окостенение ума и семейного уклада. Быт деловых людей наполнен риском незаконных спекуляций и тягой к извращенности в отношениях с близкими людьми. Страсти – мелки, отношения – фальшивы, разговоры наполнены картонной театральностью.

Даже улицы Москвы – и те противны Белому. Затейливые фасады старых добрых особнячков, «с лепкой, с аканфом, с кариатидами», с кленами у окон, со старинными чугунными решетками, да разномастные церковки-колоколенки – всё это пестрое кружево, как видно, в прежнюю пору теплом толкалось в сердце Белого. И теперь, по советской поре, ходит он вокруг давних отрад душевных, норовит цапнуть, беззубо клацает – не выходит! Жалко же, правду сказать... Но –

надо. А значит, пусть хоть что-то в городском пейзаже пострадает. Ну... вот хоть пустыришко: «...тянулся шершавый забор, полусломанный; в слом глядели трухлявые излыселе земли; зудел свои песни зловеший мухаж; и рос дудочник; пусто плешивилась пустошь; туда привозили кирпич (видно, стройку затеяли, да отложили); но – далее: снова щепастый заборчик, с домишкой; хозяин заохрил его; желтышел на пропеке; в воротах – пространство воняющего двора с желклой травкою; издали щеголяющий лупленой известкой дом белый, с замаранным входом, с подушками в окнах».

Нашел Белый в Москве нищий старый дом, да старый забор, да пустырь и – докопался. Вот она, товарищи, глупая старая Москва! И пахнет она, товарищи, что характерно, до крайности нехорошо...

В сущности, что нашел – то и пахнет.

Мотив дурных запахов, проведенный автором через значительную часть повествования, акцентирован не напрасно. Ведь Москва Андрея Белого нечиста, исполнена скверны. Она не только старуха, она еще и отвратительно молодящаяся старуха. Тут молодое – распутно либо как минимум бездумно. И другим быть не может в принципе, ибо город мертв. Его Белый хоронит с первых страниц романа. А рядом с мертвым, разлагающимся телом и краса юности обретает оттенок жутковатой трупной эротики – прыщаво-мозглячей, суетливой... И даже чистый звон колоколов ввергается в какую-то невнятную надтреснутость: «... прочь переулком зашаркал лет восемнадцати юноша, в черной куртке, в таких же штанах, мокролобый; растительность, неприятно шершавящая загорелые щеки, и лоб, зарастающий, придавали тупое, плаксивое выражение лицу; из расщура черничного цвета глаза чуть выглядывали под безбровым надлобьем; лицо – нездоровое, серое, с прожелтью, с расколупанными

прыщами; под мышкой правой руки он нес томики, перевязанные веревочкой; левой держал парусиновый картузик. Вот, ерзая задом, какая-то дама с походкой щепливою, юбку подняв и показывая чулочки ажурные, тельного цвета, – в разглазенькой кофточке, веющей лентами, с зонтиком, застрекозила своею красноперою шляпой с вуалькою; около губки припудренный прыщик брусничного цвета прикинулся розовым прыщиком, и... молодой человек стал совсем краснорожим и слюни глотал, расплываясь мозглявой улыбочкой, и показывая свой нечищенный зуб; задом ерзая, за дамой шел барин: мышиный жеребчик... Забебенькала колоколенка – от угла переулка: *стоял катафалк; хоронили кого-то. Москва!* (курсив мой. – Д. В.)».

Москва – тупик истории, полная утрата какого бы то ни было высокого смысла во всём, от простого быта до высокоумных речей интеллигенции.

Многое в той гнилозубой гримасе Москвы, которую расхмылил лукавый скоморох Белый, объясняется самыми простыми его словами, предваряющими текст романа: «...в первой части показывается Москва дореволюционная; во второй части – “новая Москва”. Задание первой части показать: еще до революции многое в старой Москве стало – кучей песку; Москва, как развалина – вот задание этой части; задание второй части – показать, как эта развалина рухнула в условия после-октябрьской жизни». Неведомо, кто в большей степени диктовал Белому эти его «задания»: душа ли его, кривая, ломаная, судорожная душа, но все-таки содержащая в себе еще хотя бы малую частичку того мистического вещества, которое достается творцам литературы от Бога, и которого было когда-то в сердце Белого с избытком, или же... время, лязгнув Кроновыми зубами у самого уха, велело товарищу заняться полезным делом. «Москва» писалась в середине 20-х, тогда уже серебро века мистиков и магов, тогда уже

золото века возрождающейся веры, зыбкая лунность декаданса, добротный электр акмеизма и страданиями добытое солнце исповедничества – всё обильно забрызгано было кровью. Потёки крови время оставило повсюду и везде, всякий талант мог с широко открытыми глазами не видеть алых пятен, не видеть, не видеть... покуда одно из них не начинало расползаться на простыне его брата, отца, любимой, а то и на его собственной простыне. Алый Крон жрал и своих детей, и чужих, не различая по вкусу их плоти, кто ему родной, а кто – чужак.

Лживая дрянь были наши 20-е годы. Лживая дрянь – в литературе, истории, философии. Лживая дрянь – за редким исключением. Пролеткультовский лектор Белый, вернувшись в 1923-м из-за границы, всё пытался облобызаться с советской культурой, всё хотел быть тут своим...

Не потому ли роман Андрея Белого «Петербург» – роман, а его же роман «Москва» – ничто? Опухоль «текущего момента» широко раскинула метастазы. А ну-ка сделай, товарищ, что-нибудь полезное... для нас.

А ведь когда-то молодой Белый создал образ живой московской пестроты, в мелочах переданной исключительно точно. Его «Симфония (2-я, драматическая)» (1902) взошла на материале арбатской повседневности. Писаная тяжкой стихопрозой, она не стала источником цитат, не получила права постоянно присутствовать в интеллектуальном обиходе русской литературы, но всё же сделалась заметным явлением отечественного символизма. И есть в ней музыка, вечность, безумие, мистика и сарказм по отношению к мистике... вот только не превращает она Великий город в гниющую, вонючую свалку, в бессмыслицу истории и философии, как это произойдет через два десятилетия в романе «Москва». «Симфония» искрится юным талантом, которому систематический ум, скорее,

мешает развиваться, нежели способствует (в акматическом возрасте талант Белого будет поглощен и съеден его умом). Начинаясь столь же проказливо, как и роман «Москва», она уже к концу первой части перемежает сатирические тона с тонами светлой печали:

1. В тот час по бульвару шел седовласый старец в шапке с наушниками и распущенным зонтом.

2. Фонари тускло подмигивали. Порой встречались подозрительные личности.

3. Дождь шел как из ведра.

4. Остановился седовласый старец и горестно закричал, потрясая распущенным зонтом: «Боже мой, Боже мой!»

5. Одинокий прохожий изумленно обернулся, услышав этот крик... А деревья шумели, склоняясь, зовя в неизведанную даль.

В завершающей, четвертой, части «Симфония» звучит патетично, величественно, колокольно:

1. И опять была юная весна. Внутри обители высился розовый собор с золотыми и белыми главами. Кругом него возвышались мраморные памятники и часовенки.

2. Шумели деревья над одинокими покойниками.

3. Это было царство застывших слез.

4. И опять, как и год тому назад, у красного домика цвела молодая яблоня белыми, душистыми цветами.

5. Это были цветы забвения болезней и печалей, это были цветы нового дня...

6. И опять, и опять под яблоней сидела монашка, судорожно сжимая четки.

7. И опять, и опять хохотала красная зорька, посылая ветерок на яблоньку...

8. И опять обсыпала яблоня монашку белыми цветами забвения...

9. Раздавался визг стрижей, и монашка бесцельно сгорала в закатном блеске...

Или же, в самом финале:

1. И опять, и опять между могил ходила молодая красавица в весеннем туалете...

2. Это была сказка...

3. И опять, и опять они глядели друг на друга, она и монашка, улыбались, как знакомые друг другу.

4. Без слов передавали друг другу, что еще не все потеряно, что еще много святых радостей осталось для людей...

5. Что приближается, что идет, милое, невозможное, грустно-задумчивое...

6. И сказка, как очарованная, стояла среди могил, слушая шелест металлических венков, колыхаемых ветром.

7. Перед ней раскрывалось грядущее, и загоралась она радостью...

8. Она знала.

9. Огоньки попыхивали кое-где на могилах.

10. Черная монашка зажигала огоньки над иными могилами, а над иными не зажигала.

11. Ветер шумел металлическими венками, да часы медленно отбивали время.

12. Роса пала на часовню серого камня; там были высечены слова: «Мир тебе, Анна, супруга моя!»

Выходит, молодой Андрей Белый видел одну Москву, а зрелый, переставший быть «блестящим мальчиком», ставший глубоко эрудированным недокумиром, недогением, заставил себя увидеть совсем другую.

«Москва и москвичи» Гиляровского появились в условиях той же «после-октябрьской жизни». И, кажется, Гиляровский то ли почуял, то ли получил аналогичное «задание». Но могучая богатырская натура его не позволила обойтись одной только грязеписью. Москва Гиляровского – страшна. Но все-таки под его пером видна бывает блестинка красоты, мощь старинных характеров, да и живет по соседству с грязью какая-то необузданная удаль, неистовая витальность, хотя бы отчасти оправдывающая нагромождения грубости, жестокости и корысти. У Белого – не то. Его Москва смердит. Его Москва безнадежна. Из заблеванных хитровских вертепов Гиляровского выбраться можно. Из мертвой помойки Белого – никогда. Белый как литератор безусловно сильнее Гиляровского, но как личность – уже, скуднее его.

Что вышло у красного Белого?

Антимиф.

Злой призрак Москвы.

Дух ее обезображен автором до неузнаваемости, ритуально убит, осквернен при погребении и вновь вызван пугать нового обывателя беззубой улыбкой и ключьями кожи, свисающими с оголенного черепа.

Какая это Москва?

Это реприза мелкого беса, соллогубьего отродья, пакостничающего на кладбище. Это мерзкое хихиканье, «кощунство» и «глумы» без доброго чувства, без милосердия, без искры Божьей...

Сколько тут правды?

Крупницы, ничтожная мелочь – даже если говорить не об исторической или культурной правде, а о чисто литературной, о правде художественного образа. С такой натугою натягивает Андрей Белый на живое лицо города маску мертвеца, кряхтя и морщась, юродствуя и клоунствуя попеременно, что выходит у него вместо

полноценного романа зятая проказа, пестрая озорнина, чрезмерная во всем.

Оно и кануло в могилу, не оставив литер вечности на сердцах.

«Певучий город». Москва Марины Цветаевой

Марина Цветаева – плоть от плоти Багрянородного города, сердцевинно-московский человек. Она глубоко укоренена в московской старине, московской культуре, духе московском. Белокаменная, или, как любила говорить сама Марина Ивановна, «Семихолмая», – ее дом. Когда дом этот оказался утраченным, Цветаева горячими слезами восплачет о нем на чужбине и не отыщет больше пристанища, которое сможет назвать домом.

Меж обступающих громад —
Дом-пережиток, дом-магнат,
Скрывающийся между лип.
Девический дагерротип

Души моей...

(1931)

Особняк в Трехпрудном переулке, столь милый Марине Ивановне, давно исчез со столичной карты. Но прежде для ее души, маявшейся в эмиграции, долгая бесприютность уничтожила само понятие дома:

Мне совершенно всё равно —
Где совершенно-одинокой

Быть, по каким камням домой

Брести с кошелкою базарной
В дом и не знающий, что – мой,
Как госпиталь или казарма.

И, далее:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина...

(1934)

Чувство дома ушло, но осталась тянкая боль на том месте, которое в душе опустело. Вернуться – некуда. Но боль все-таки сочится из тайного лаза во времени: там, где пласты детства, там, где пласты юного счастья, дом существует. Вот только убежать туда можно лишь сердцем.

Москва невозможна без Христа, Москва вне православия – бессмысленна. Гаснут лампы у икон, и с ними гаснет свет в глазах Великого города...

Цветаева находилась в очень непростых отношениях с Богом. Иной раз дерзила Ему, иной раз смертно грешила и выставляла грехи свои напоказ. Но всё же... всё же... богоборицей она никогда не была, и никогда не отрекалась от имени Его. Весной – летом 1916 года появились ее «Стихи о Москве» – лучшее, что положил Серебряный век в копилку мифа о городе, облаченном в пурпур. Автор цикла очень бережно, очень любовно обошелся со старинными, по преимуществу православными преданиями.

С чем чаще всего связывает Марина Ивановна Москву в своем цикле?

Купола. «Сорока церквей». Кремль с «ночными башнями», со Спасскими воротами и «пятисоборным несравненным кругом». Иверская на Красной площади. Паломники, монашки, попы, а рядом с ними – «... московский сброд, / Юродивый, воровской, хлыстовский!»

Цветаева, перелистывая улицы московские, самоё себя на их фоне мыслит как «болярыню Марину», в будущем – странницу ко святыням, бредущую по Калужской дороге, по «колокольной земле московской».

И течет окрест, обступая ее, перекатываясь над ее головой, колокольный звон:

Семь холмов – как семь колоколов,
На семи колоколах – колокольни.
Всех счетом: сорок сороков, —
Колокольное семихолмие!

Появление цикла связано с прогулками по Москве рука об руку с Осипом Мандельштамом. Ему, «чужеземному гостю», пришельцу от чухонских палестин, Марина Ивановна дарит город, в то же время утверждая «неоспоримое первенство Москвы» над полночной столицей империи. Более того, Цветаева дает этому первенству обоснование, удивительно близкое тому, о чем говорили когда-то славянофилы. У них Москва выступала как сердце нации. У Марины Цветаевой – такое же сердце, по-матерински теплое к странникам, бредущим сюда со всех концов Руси:

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем.

И далее:

...А вон за тою дверцей,
Куда народ валит —
Там Иверское сердце
Червонное горит.

И льется аллилуйя
На смуглые поля.
— Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

Цветаева – одна из всех поэтов Москвы, процветших в Серебряном веке, – могла вести диалог с великой петербургской поэтической культурой того времени, представляя свой город. Она одна умела, как равная, положить борозду между двумя великими душами двух великих городов, признавая высоту творческого круга северян.

Вот фрагмент этого диалога, обращенный к Александру Блоку:

У меня в Москве – купола горят,
У меня в Москве – колокола звенят,
И гробницы, в ряд, у меня стоят,
В них царицы спят, и цари.

И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Легче дышится – чем на всей земле!
И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Я молюсь тебе – до зари.

И проходишь ты над своей Невой
О ту пору, как над рекой-Москвой
Я стою с опущенной головой,

И слипаются фонари...

(1916)

А вот обращение к Анне Ахматовой:

Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной своей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий...
– И я дарю тебе свой колокольный град
– Ахматова – и сердце свое в придачу!

(1916)

«Певучий град» – самое ласковое и самое благодарное слово, обращенное к Москве московскими же поэтами Серебряного века. Цветаева чувствовала, насколько собственная ее внутренняя стихотворная стихия – подарок уличных ритмов, колокольных звонов и лампадного тепла Порфирогениты. Она поёт, и древние мотивы Великого города звучат в ее голосе.

Оттого и больно Цветаевой, когда больно делают Москве. Марина Ивановна не прячет обиды, видя, как штыки смутьянов протыкают колыбель ее творческой силы...

Весна 1918-го. «Семихолмая» лежит в пыли, с переломанными костями и задранном подолом. И Цветаева призывает хоть небесного ее заступника – защитить! – когда силы заступников земных не хватило:

Московский герб: герой пронзает гада.
Дракон в крови. Герой в луче. – Так надо.

Во имя Бога и души живой
Сойди с ворот, Господень часовой!

Верни нам вольность, воин, им – живот,
Страж роковой Москвы – сойди с ворот!

И докажи – народу и дракону —
Что спят мужи – сражаются иконы.

Это уже – молитва отчаяния, последнее упование.
Но чаша гнева Господня еще далеко не вся излилась на
«певучий град», накопивший, как видно, полные
подвалы грехов. За всех ренат и всех рупрехтов
Серебряного века доставалось Москве...

Пережив холод и голод, молясь за мужа и его
товарищей, ушедших на Дон, в Добровольческую
армию, Цветаева сдюжит страшные зимы Гражданской,
но с вырванным сердцем уедет за рубеж.

Всё это будет – потом.

И молитва святому Георгию.

И отъезд из страны.

А до того она вдоволь увидит Смуты, грязи, злобы,
бесстыдства. Доброе море, в котором старый дом ее
стоял, будто сказочный остров, осененный рябиновым
жаром, овеянный колокольным звоном, иссякнет,
обмелеет. Скользкие гады выйдут со дна его, чтобы
рушить всё, к чему от души Марины Ивановны тянутся
прочные нити.

Цветаевой выпало наблюдать страшную борьбу,
разразившуюся в Москве осенью 1917-го. Здесь
сопротивление революционному «дракону» длилось
долго, здесь пролилась первая большая кровь
Гражданской войны. Здесь чаши на весах судьбы
священного Царства колебались, не смея занять

гибельное положение, покуда улицы и площади не наполнились щедро вороньей снедью.

Цветаева честна. Она смеет не лгать. Она находит в себе мужество не восхвалять багровую вакханалию, тогда как многие вокруг нее поддались революционным восторгам.

Сначала – ужас. Сначала – сводки с обширного пространства беды. Сначала – «окаянные дни» по-цветаевски:

Свершается страшная спевка, —
Обедня еще впереди!
– Свобода! – гуляющая девка
на шалой солдатской груди!

(1917)

Потом – гордость. Не сломят!
Обращаясь к Москве, Цветаева вопрошает:

Когда рыжеволосый Самозванец
Тебя схватил – ты не согнула плеч.
Где спесь твоя, княгинюшка? – румянец,
Красавица? – разумница, – где речь?

(декабрь 1917)

Еще Марина Ивановна ждет, что Москва достойно ответит своим обидчикам... Но не судьба тому произойти. А потому за гордостью следует плач:

Гришка-вор тебя не ополячил,
Петр-царь тебя не онемечил.
Что же делаешь, голубка? – Плачу.
– Где же спесь твоя, Москва? – Далече.
– Голубочки где твои? – Нет корму.

- Кто унес его? – Да ворон черный.
- Где кресты твои святые? – Сбиты.
- Где сыны твои, Москва? – Убиты.

(декабрь 1917)

Как есть в древнерусской литературе эпический плач «О гибели земли Русской», так и в творчестве Цветаевой появляются ноты плача, разделяемого со всем народом, не присоединившимся к Смуте. Сила сопереживания Цветаевой родному «певучему граду» невероятно велика. Москва горюет, рыдает, и Цветаева горюет, рыдает вместе с нею – «черными глазами Стрельчихи», смертно тоскующей к вечеру дня, ввергнутого в казнь.

И в финале – решимость: пусть повержена «Семихолмая», пусть жидок «постный звон» колоколов, пусть лютует декабрьский мороз над мертвыми телами юнкеров и офицеров, пусть иссякла надежда победить... пусть даже святой Георгий не спустился с небес для отмщения. Пусть! Зато она сама, «белая кость» московская, не переменится. Старая, гордая, головы ни перед кем не склонявшая Москва останется внутри нее, в душе ее:

Кровных коней запрягайте в дровни!
Графские вина пейте из луж!
Единодержцы штыков и душ!
Распродавайте – на вес – часовни.
Монастыри – с молотка – на слом.
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!

Стойла – в соборы! Соборы – в стойла!
В чортову дюжину – календарь!
Нас под рогожу за слово: царь!

Единодержцы грошей и часа!
На куполах вымещайте злость!
Распродавая нас всех на мясо,
Раб худородный увидит – Расу:
Черная кость – белую кость.

(март 1918)

Не видно, чтобы когда-нибудь, до гробовой доски, до последнего срока Цветаева забыла про бунтовскую чернь, остервенело уродующую ее мир, ее «певучий град». Не видно, чтобы простила она слезы, выкатившиеся из «черных глаз Стрельчихи». Через много лет возвращалась в Россию, в Москву с твердым знанием: нет надежды. Что было – убито. Утонул в крови мир куполов и облаков, на холмах колокольных мертва пылкая рябина. Чистый голос ее не зазвучит, пусть места – те же, чистый жар ее не вернется, пусть дома – знакомые.

Цветаева никогда не срамилась так, как осрамился Белый, пинавший полуживое тело порфирородного города в тошнотворном романе «Москва», или как Брюсов, провещавший на всю Ивановскую «обязательную программу» о «красном призраке Кремля». В ее словах ослепительное величие московского царственного солнца блеснуло последний раз перед долгой ночью.

Ночь – опустилась. Стало черным-красно в Великом городе.

Порфирогенита, измученная, забылась тяжелым сном, сквозь который слышались революционные гимны, «вставай-ка» Интернационала, залпы, подводящие итог, строительные скрежеты конструктивизма... и еще доходил запах крови.

«Золотая дремотная Азия». Москва Сергея Есенина

Есенин для Москвы – чужак, пришелец. Да и Порфирогенита первое время его не жаловала. Венец гения возложила на его пшеничную голову петербургская литературная среда.

Тем не менее, после того как пришла алая эпоха, темный покров опустился над городом и смолкли голоса, прежде столь дерзкие, сквозь ночную духоту зазвучала бесстрашная есенинская песня – одинокая, чистая, откликавшаяся на тысячи чужих болей своей звонкою болью. В ту пору столь многие учились лгать! Есенин же пренебрег этим искусством, не заботясь о том, как бы получше отредактировать простой ритм своего сердца. Тем и люб был Сергей Александрович, порождение рязанской крестьянщины, Марине Цветаевой, «белой кости» московской. За то, наверное, Марина Ивановна и помянула поэта добрым словом:

...И не жалость – мало жил,
И не горечь – мало дал, —
Много жил – кто в наши жил
Дни, всё дал – кто песню дал.

(1926)

А Есенин именно дал песню Москве притихшей, полузадушенной, искалеченной. И песня его дышалась, словно глоток жизни на ладье Харона.

Начало 20-х. Лодочка плыла в гущу смерти. Бедные люди, душой своею прилепившиеся к святым московским старинам, не видели надежды. Куда идти?

Лишить себя жизни? Стать подпольным человеком? И сколько ждать, когда ж наконец безнадежное подполье обернется победой?!

Ежели, пребывая в сердце тьмы, не хочется дышать тьмой, пускать ее внутрь себя, то следует научиться тонкому искусству – отстраняться от нее. Я – отдельно, тьма – отдельно. Пусть бы она и обступала со всех сторон...

Те, кто не мог отстраниться, уйдя в храм – в конце концов и это убежище угрожало тогда физической гибелью, – уходили в кабаки, в дружки, в презрение к новым обычаям и требованиям новой благопристойности:

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук...

(1922)

Надобно было сделаться злодеем в отношении «старого мира», пристойно было «расстреливать по темницам» несчастных, неблагомысленно относившихся к новой власти. Но старая Москва, еще не убитая до конца, дышала другим. Она со всем этим не желала связываться. И Есенин сказал множеству московскому, добродушным людям: воспоём же, как хорошо оставаться в стороне от тьмы века сего. Как хорошо,

пусть и чудачком прослыть, пусть и скандалистом, а всё же – не вляпаться.

Есенин, пережив эсерство и большевизм, отойдя от них, выброшен был деревней – прежде родною, а ныне новой, заалевшей. Деревня в нем больше не нуждалась. И породнился рязанец, некогда чужой Великому городу, с Порфирогенитой, и дал ей клятву верности:

Низкий дом без меня ссутулился,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах...

Вот они – вечные московские купола, главная суть и главная надежда багрянородной судьбы. Купола, любимые славянофилами, купола, промелькнувшие у Брюсова и дорогие сердцу Цветаевой.

А когда ночью светит месяц,
Когда светит... черт знает как!
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

(1922)

Да лучше так, чем «расстреливать несчастных по темницам». Намного лучше – так.

И Москва запомнила Есенина как верного сына, пусть и приемного. Блудный, буйный, порою на Бога наскакивавший, и всё же ни себе не давший замараться кровью, ни в других этого не одоббивший, Есенин избежал сáмой пучины греха. Такое было время: пепел лежал над святыми гробами; люди учились малыми грехами отводить себя от грехов великих.

Эти два стихотворения Есенина и впрямь – точно сказала Цветаева! – стали песнями. А пройдет совсем немного времени после их рождения, и Андрей Белый напишет тошнотворный роман «Москва», умерший на стапеле... Каждому – своё.

В сухом остатке: миф московский, высокий образ города, расходившийся по дорогам и тропам России, в Серебряном веке строили Цветаева и Есенин. Строили, сами того не осознавая...

Москва единственная

Раздвоившись в середине XIX столетия на славянофильство и западничество, русская мысль в дальнейшем бесконечно ветвилась, то давая из этих двух стволов новые побеги, то исторгая отростки гораздо ниже, от самого основания своего, то взрываясь «третьими путями», то пытаясь развилки превратить в перекрестки, то сращивая разные ветви, то вновь их разлучая... Умственная жизнь России пестра – с 20-х годов позапрошлого века по сию пору. Надобно радоваться: нация способна к сложной интеллектуальной жизни – противоречивой, наполненной сомнениями, спорами, неожиданными метафорами.

Отношение к Москве на протяжении двух столетий с необыкновенной четкостью указывало, к какой ветви относится тот или иной мыслитель. Миф города, словно превосходный музыкальный инструмент, соблазнявший хорошего музыканта взять его в руки и исполнить свою мелодию в своей манере, неизменно разделял мастеров по их стилю, школе, личным и групповым пристрастиям.

В начале XX века появился целый сонм историков, публицистов, философов и литераторов, пытавшихся соединить христианство с левизной во взглядах на общественную жизнь. Кто-то из них сочувствовал либералам, кто-то – социалистам, а кто-то лично революционировал... Христианство же родом с неба, а потому не способно ни сочетаться счастливым браком с какой-либо земной правдой, земной философией, ни тем более подчиниться ей. Гибрид Евангелия с профессорской фрондой от раза к разу получался, мягко говоря, корявым. Но соблазн «левого», «розового» христианства всё же набрал тогда необыкновенную

силу. Ему отдали дань люди крупные, притом крепко верующие – как, например, прот. Георгий Флоровский. Ему же покорились знаменитый историк Церкви А. В. Карташев, философ Н. А. Бердяев, публицист Е. Н. Трубецкой.

Самым ярким литературным даром среди всех персон подобного рода обладал Георгий Петрович Федотов.

В 1926 году он опубликовал большое эссе «Три столицы», где прошелся по Москве со всей беспощадностью, продиктованной левыми взглядами. Федотов отрицал старый порядок – монархию (тем более самодержавную), сословность, иосифлянскую линию в нашей Церкви, цивилизационную самостоятельность допетровской Руси. Результат получился странный. Словно автор, выводя фразу за фразой, испытывал страшный внутренний раскол. Сердце тянуло его в одну сторону, а ум – в другую...

Георгий Петрович, человек интеллектуально честный, талантливый художник, искренне верующий христианин, Москву очень любил. Он с болью рассказывает читателю о том, какие терзания причиняет ему разорванность духа: «Когда я пишу эти строки, я пытаюсь с усилием оторваться от того лирического наваждения, перед которым бессилён в Москве. Хочется целовать эти камни и благословлять Бога за то, что они все ещё стоят. Но, вдумавшись, видишь, что это художественное впечатление не глубоко, что идея его бедна...»

Далее Федотов рисует прекрасную, сочную, пышную картину «московства», явно получая от нее удовольствие, но затем строго табуирует ее и для себя самого, и для окружающих: «Московские кокошники, барабаны, крыльца и колокольни – как пасхальный стол с куличами и крашеными яйцами... Веселый трезвон, кумачовые рубахи, шапки набекрень, гуляющая,

веселящаяся Русь! Это идеал великорусской нарядной праздничности. Очевидно, в Москве мы видим пышный закат великого строгого древнерусского искусства». Возрожденный русский стиль, особенно расцветший при Александре III и во многом питавшийся старомосковскими традициями, вызвал у Федотова осуждение как «педантическая пошлость».

Да ведь дивно хорош пасхальный стол! И русский народ, надевший праздничные наряды к праздничной службе, отстоявший ее, гуляющий по улицам Великого города под колокольный звон, христосующийся, поющий песни, жующий калачи, запивая их сбитнем, чем плох?! Напротив, видна мощная витальность, стремление украсить жизнь, расписать ее многоцветьем и разнотравьем так, чтобы радовался глаз, радовалось ухо, радовался ум. Георгий Петрович восклицает: да это всё – только фасад! Иными словами, «...показная пышность царской власти, да бытовая, праздничная сторона уже оплотневающей народной религиозности». И... заставляет себя НЕ ЧУВСТВОВАТЬ, насколько странно, на грани фальши звучат его слова.

Дай Бог такой вот «праздничной стороны» народной религиозности для любого времени в истории России. Сейчас бы открытую торжественную праздничность! Жаль, слабее стала она.

Да и в XVI веке оплотневает отнюдь не живое религиозное чувство, нет. Просто Русская цивилизация постепенно превращается из кипящей лавы, готовой принять любую форму, в набор строго определенных форм, кои творит сам народ. А русский народ и создал тогда формы, пышущие избытком жизненной силы, любовью к затейливому декору, к торжеству, празднику, радости. Федотов вынужден признать: «О, в декоративном чутье нельзя отказать Москве!»

И уж совсем нелепо выглядит словосочетание «показная пышность царской власти». В Москве стоит

резвон колокольный, люди предпочитают кумачовые рубахи всяким другим и строят храмы с прихотливыми украшениями в виде кокошников. Где же тут «царская власть»? И где – ее показная пышность? По сравнению с петербургским периодом государи наши жили весьма скромно: разве только на пирах давали волю роскошеству, но пышных дворцов, наполненных драгоценными безделушками, не знали никогда.

Федотов должен был где-то свернуть на тему азиатчины, самодержавного деспотизма, «туранской безблагодатной стихии», пригнетаемой к земле азиатской тяжестью, к тому же порочной из-за неумения справиться с «пожарами страстей» и «дремой ленью». К этому обязывало его само направление мысли, которому Георгий Петрович принадлежал. Он свернул – неловко, нелогично; идея требовала подчинить ей образ, и образ был искажен ей в угоду. Дескать, кажимость праздничная, а суть мрачна: суровость власти, доходящая до тирании, породнение со степью, мощь, мощь, и нет места для свободного духа, и едва видны проблески строгой дисциплины подлинно христианского культурного роста. Ах, не вина то Москвы, но беда ее, что поддалась она соблазну страшного огосударствления всего и вся! – вот пафос выступления Федотова. «Набеги ханов, – пишет Георгий Петрович, – казни опричнины, поляки в Кремле – всю трагическую повесть Москвы читаем мы на стенах Кремля, повесть о нечеловеческой воле, о жестокой борьбе, о надрыве. Недаром Грозный, Годунов просятся в шекспировскую хронику. Дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа живет в кремлевском дворце под византийско-татарской тяжестью золотых одежд. Грозные цари взнуздали, измучили Русь, но не дали ей развалиться, расползтись по безбрежным просторам».

Очень хорошо видно, как недоволен Федотов тем путем, которым пошла Русь с конца XV века, со времен Ивана III. А Москва просто концентрирует в себе религиозную, эстетическую и политическую суть этого маршрута.

Еще лучше видно, что в уме своем мыслитель холит и лелеет иной культурный идеал. Как нехорошо: русский народ отклонился от сего идеала, совершенно правильного, с точки зрения Георгия Петровича, растратил национальную силу на великие соблазны, одним из которых стал путь старомосковской цивилизации; но в будущем это еще можно исправить. Федотов осторожно высказывает идеи «третьей столицы». Из реальной истории к ней ближе всего стоит древний Киев. Русь домосковская унаследовала от Греции христианскую истину в ее «вселенском средоточии», т. е. в виде «эллинства». А эллинство предполагает соединение христианской традиции с локальной (в данном случае русской), культурной почвы с греческой культурой. Федотова привлекает в этом сплаве не Византия, нет, а именно «классическая Греция, созревающая к Христу» и присутствующая в глубинах Византии, но не равная ей. Перо Федотова изливает на бумагу досаду: слишком рано утвердилась «славяно-русская самобытность», слишком мало оставлено на Руси места для той самой древнегреческой культуры.

Да полно, Георгий Петрович! Стоило ли с такой тонкостью вести дело к такой простоте! Что собой представляет эта самая «классическая Греция» в глазах образованного человека первой четверти XX столетия? Спарта с ее архаичным устройством власти? Героические Фивы? Дальние колонии? Да нет, всю «цветущую сложность» Древней Греции застилает образ афинской полисной демократии, культ свободы и разума, философических дискуссий, ораторских «цветов

красноречия», патриотической гражданственности, проявленной афинянами при Марафоне и Саламине. Разве нет? Подведем итоги: плохо, что Москва в столь малой мере Афины! Киев мог бы стать в очень большой степени Афинами, да вот беда, не стал! Как бы Москве все-таки побольше стать Афинами? Да-да. Больше демократии на русской почве, господа.

Всё самое русское, что есть в Русской цивилизации, суть ее, квинтэссенция, те эстетические элементы, из которых вырастает ее образ, явленный миру, создавались на протяжении нескольких веков – с XIV по XVII. Всё, что было раньше, этой эпохой было творчески преобразовано и положено в основание русской грядки; всё, что произросло из этой грядки от Петра Великого и позже – добавки, присадки, попытки вернуться к основе, попытки убежать от нее или даже разрушить ее, искажения ее и очищения, использование чужого опыта на русском фундаменте, в конечном же итоге – надстройка. И столько раз общественная мысль России пыталась тот четырехвековой самобытный опыт и его позднейшие результаты свести к той или иной смеси внешних элементов! «Евразия», «Скандовизантия», и вот еще федотовская «Грекославия». Между тем собственно-русский опыт государственного и культурного творчества растворяли в замысловатом узоре разнообразных «влияний» или же просто выносили на второй план. Допетровская Москва в политике и в эстетике представляет собой прежде всего результат работы живой национальной стихии, которую вела за собой христианская истина. Не стоит приравливать к старомосковской, т. е. подлинно русской, модели развития линейки с европейской, древнегреческой или тюркской разметкой. Москва выработала свой идеал. Она в первую очередь самобытна, выросла сама из себя, а потом уже всё остальное, все прочие влияния, добавления...

Между Европой и Азией существует самостоятельный большой мир – Россия, как называли его в XVI веке, или Святая Русь, как стали именовать его позже. Внутри этого мира бесконечно сильно государство и бесконечно велика личная духовная свобода монаха-аскета. Личное же начало в обществе, находящемся между двумя полюсами – царским и монашеским, – пригашено, слабо. Личным началом жертвовали ради общей крепости и устойчивости всей постройки. И все-таки русские, ненадолго обретая вольность во время разнообразных бунтов и смут, предпочитали восстановить над собою могучий свод государства. Во всяком случае, покуда чувствовали, что государство – свое, родное, православное. Какая тут демократия? Какой тут греческий полис? Куда его тут поместить? Тут вместо всех этих вещей виден огромный коллективный труд, огромная склонность к соборному делу и огромная христианская жертвенность. Пока мы к этому были способны, у нас многое получалось. А убрать христианство – и мы рассыпаемся, мы глина. Убрать державность – и мы бесхребетны. Убрать соборность – и наши усилия теряют всякую осознанность. Сделать государство неродным народу, и мы – рабы, бессмысленно взирающие на злодеев снизу вверх.

Так вот, ради сохранения этой конструкции, придававшей Русской цивилизации мощь и жизнестойкость, ослабление личного начала компенсируется праздничностью, буйством красок, сложностью декора – эстетикой выходного дня, столь любимой народом. Она ведь нам не столько позволена, сколько предписана, как предписывает врач необходимое лекарство. Ради нашего долготерпения мы научены радоваться жизни сей день, с пронзительной силой воспринимать островки красоты в обыденности, созерцать лучшие ее проявления, наслаждаться в мире

тем, что еще сохраняет совершенство изначального Божьего замысла, выпускать на волю чувства, придавая этим выплескам форму оптимистической трагедии. Впереди-то у нас – свет, Царство Божие. Так что кончится всё хорошо.

Вот и старинная Москва наполнена праздничностью, переданной на языке зодчих. В ту пору она концентрировала в себе общерусское мирозерцание. А потому Москва – не пере-Азия, квази-Греция или недо-Европа. Москва – прежде всего Москва. Такая, какая есть. Сама по себе. Единственная.

Раблезианство грязи. Москва Гиляровского

Историю предреволюционной Москвы прочно связывают с творчеством Владимира Гиляровского – автора множества очерков и рассказов о «второй столице» Российской империи, да и нескольких удачных книг. Среди них особенной известностью пользуется сборник «зарисовок с натуры» «Москва и москвичи».

Одно время Гиляровским восхищались, как точным бытописателем московской старины, притом сильным литератором. Сейчас имя его несколько подзабыто, но всё же еще не истерлось до конца из памяти образованных москвичей. Да, у него ясный, легкий журналистский слог. Да, у него есть необыкновенная цепкость в передаче деталей: всякую мелочь заметит – хоть кружку с орлом, хоть немудрящую одежду на Сухаревском рынке – назовет материал, из которого ее «построили», стоимость пошива, шансы на то, что вещь перекроена из ворованного материала какими-нибудь подпольными «раками» на Хитровке, да еще и скажет с большой долей точности, кто, когда, при каких обстоятельствах этот материал мог украсть.

И – да, Гиляровский обладал своего рода босяцкой отвагой, умом, жизненной ловкостью, позволявшими посещать вонючие притоны, украшенные запекшейся кровью; сидеть за одним столом с ворами, шулерами, душегубцами и уходить живым, невредимым, даже не ограбленным; спускаться в подземную клоаку московскую и топтать ногами месиво из разложившихся трупов; сокрушать кастетом челюсти нефартовому «деловому», который захотел поживиться барахлишком журналиста. Ему литературный мир России премного

обязан за фотографически точную передачу придонных слоев русской городской жизни. Кто бы полез туда, когда б не Гиляровский? Кто бы осмелился? Кто бы не побрезговал?

Этим и впрямь хорош Гиляровский.

Но он, во-первых, «разрешенный мемуарист» послереволюционных лет (так выразился о нем И. Н. Сухих). Соввласть разрешила ему творить. Мало того, что разрешила, а еще и одобрила, ободрила, вознесла, обеспечила хорошенько. А потому Гиляровский в экскурсах о старой Москве всё больше выволакивал читателям на глаза грязь, вонь, уголовщину, нелепицу, подлость властей. Тут кроется какой-то внутренний, подловатый, лишенный света источник его творчества.

Во-вторых, он и в самом прямом смысле выпускал салют за салютом в адрес власти, столь ласково к нему относившейся. То и дело славословил ее преобразования – тут новое здание построили, там очистили Хитровку от опасной рвани, здесь снесли халупник, а вон там провели очень хороший водопровод вместо прежнего дерьмосборника.

Он любил на склоне лет, накачав глаза искренностью, пускаться в дифирамбы новой жизни: «Там, где еще недавно, еще на моей памяти, были болота, теперь – асфальтированные улицы, прямые, широкие. Исчезают нестройные ряды устарелых домишек, на их месте растут новые, огромные дворцы. Один за другим поднимаются первоклассные заводы. Недавние гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а ближние деревни становятся участками столицы. В них входят стадионы – эти московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодежи... и т. п.».

Слышите мотив? Слышите бравурные марши, летящие по «трансляции» изо всякого репродуктора?

Слышите, как наяривают духовые оркестры советских пожарников? Пам-пам-пам-пам! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам! Нам некто дал стальные руки-крылья, а вместо сердца – пламенный моторrrrr! «Москва вводится в план. Но чтобы создать новую Москву на месте старой, почти тысячу лет строившейся кусочками, где какой удобен для строителя, нужны особые, невиданные доселе силы... Это стало возможно только в стране, где советская власть. Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира. Это на наших глазах».

...Земля начинается с Кремля!

Вот они, корешки того советского мифа, который прочил Москве роль столицы коммунизированного, интернационализированного мира. Который восхищал миллионы советских людей, впрыскивал им адреналин в рабочие органы, возвышал их в собственном мнении над всей планетой, делал титанами и... рухнул.

И были для этого мифа чужими взорванные, оскверненные церкви, расстрелянные офицеры, растаскиваемые на макулатуру архивы, относительный достаток среднего класса (улетевший надолго в страну грёз), качество высшего образования (просто забытое) и памятники светлым личностям русского прошлого. Особенно агрессивен был этот миф, когда он только-только начал проговариваться вслух, в 20-х и 30-х. Потом он несколько цивилизовался, приобрел светский лоск и разумную уклончивость, уже не с таким восхищением взирал на собственные корни, на весь этот «революционный романтизм». Однако... однако... Гиляровский и бассейн «Москва» на месте храма Христа Спасителя – родные друг другу, происхождение у них одно. И память бы должна быть о них одна. Взрывники ломали стены церковные, Гиляровский – ломал память, выстраивая на ее месте нечто преобразованное так, чтобы можно было безо всякой опаски положить новую субстанцию истории в фундамент нового мифа.

Гиляровский в его сочных описаниях Москвы привлекает и «держит» читателя прежде всего тем, что у него слишком, что у него чересчур.

Описание еды – поистине раблезианское. Трактир такой-то: русская кухня – расстегаи особенной формы по 15 копеек, белорыбица с дюжиной кулинарных выкрутасов, икра четырех видов, каша гурьевская, окорока миллиона сортов, поросеночек жареный – горячий и холодный, – а к ним какие-нибудь гости из Европы, вроде остендских устриц... и поехало, и поехало, на несколько страниц гурманской порнографии.

Но гораздо больше встречается у Гиляровского раблезианства грязи. Как человеческой грязи, так и самой обыкновенной, которую московская босячина месит дырявыми сапогами на немощеных улицах.

Вот воры – лихие ребята, раздевают посреди улицы, трупы кидают в сточные колодцы, ползают по тайным ходам и «тырбанят slam» с марухами, не забывая подрезать кого-то из своих, чтобы делить на меньшее число лиц. Вот нищенки с «арендованными» младенцами, у которых от холода и грязи отгнивают пальцы. Вот шулера, искусно вытряхивающие из денег что своего брата вора, что пришлого «чайника». Вот скупщики краденого, лезущие в большие господа. Вот мразь, ловко торгующая сапогами с бумажными подметками. Вот испытые торговки, готовые всякого за умеренную цену накормить тухлой колбасой. Вот лавочники, продающие траченное крысами мясо... И всюду пьяный гвалт, рвань, срань, дрянь, нечистоты и лужи пешеходу по пояс. А если спуститься в московскую клоаку, то там такая вонища! И всё такие яркие типы, такие живописные характеры, всё – чересчур.

Московская дрань у Гиляровского перестает быть дранью, на время превращаясь в какую-то

литературную экзотику, чтобы потом затопить собою всё, что не дрань.

Москва высокая, Москва культуры, науки, Москва повседневного труда, Москва дворянского быта, Москва литературных салонов у Гиляровского просто не существует. Студенты представлены у него со странным перекосом: вот бузит, пирует, митингует студенческая голь, и кто не с нею – ничтожества. А ведь не буза, не вечеринки и подавно не митинги соль студенческой жизни, а сидение в библиотеках, на семинарах и лекциях... Или, скажем, московские купцы – какими они предстают у Гиляровского? Купцы жрут в трактирах так много, что непонятно, почему не лопаются по дороге домой, купцы проигрывают в карты целые состояния, купцы шастают к «девочкам», купцы швыряют целковые банной обслуге. Но никогда никого из купцов Гиляровский не описывает за делом. Он, видимо, и представления не имеет, как именно зарабатываются все их миллионы. И, разумеется, он не хочет видеть купеческого быта – того, что в доме, в семье, а не в трактире. Гиляровский играл на сцене и должен был хорошо знать мир театра. Но каковы его актеры? Нищие, с шиком пропивающие последние копейки. Вот они пьют здесь. И вот они напиваются там. И еще вот они собрались в кружок и заставляют кого-то из своих коллег пить штрафную, а те, кто уже «никакие», лежат в «мертвецкой», поскольку до дома им не добраться, пока не протрезвеют. Нищие художники... опять буза, опять водка.

Да что за жизнь такая у русских по Гиляровскому? Какая-то сплошная драка во хмелю! Грязь, грязь, босяки в пестрой рванине, воры, плуты, мерзавцы, прожигающие жизнь, убитые проститутки валяются в помоях...

Гиляровский в двух разных местах описывает один и тот же случай, когда-то виденный им: из дверей кабака,

где собирается уголовщина, выбегает, «ругаясь непристойно», навстречу посетителям «...женщина с окровавленным лицом, и вслед за ней появляется оборванец, валит ее на тротуар и бьет смертным боем, приговаривая:

– У нас жить так жить!

Выскакивают еще двое, лупят оборванца и уводят женщину опять вниз по лестнице. Избитый тщетно пытается встать и переползает на четвереньках, охая и ругаясь, через мостовую и валится на траву бульвара... Из отворенной двери вместе с удушающей струей махорки, пьяного перегара и всякого человеческого зловония оглушает смешение самых несовместимых звуков. Среди сплошного гула резнет высокая нота подголоска-запевалы и грянет звериным ревом хор пьяных голосов, а за ним звон разбитого стекла, и дикий женский визг, и многоголосая ругань».

В этом случае видна самая суть писательской манеры Гиляровского. Он купается в этом. Лихость, удаль, вольность в отрепьях, что ни возьми, – всё через край, навоз – и то сложен исполинскими кучами, всё какая-то песнь в честь эпических оборванцев, коим еще Горький слагал гимны. Но жизнь, которой изо дня в день жили те, кто знал честный труд, те, кто занимался творчеством, те, кто строил Российское государство и поддерживал русскую культуру, – эта жизнь Гиляровскому неинтересна. Яркая грязь ему хороша. Яркие достижения иного рода мало беспокоят его. Тем более далека от него жизнь веры. Разве только архиерей на открытии «Елисеевского», к удивлению Гиляровского, откажется напиваться, поскольку это несовместимо с его званием («Как же так? – слышится в интонациях Гиляровского, – отчего не пьян архиерей, когда кругом все пьяны?!»), разве только знаменитый протодьякон возгласит «Многая лета!» могучим басом –

так, что оконные стекла дадут трещины, – а потом... напьется вусмерть – вот это по-нашему!

Он и сам итожит описание московских клубов, честно признаваясь, что их «казовая» жизнь и без того известна – «симфонические вечера, литературные собеседования», просветительская деятельность – а потому другие о ней напишут, да и пишут уже, а вот тайная жизнь, тысячные пиры, азарт подпольных картежников – это да, об этом же никто не расскажет, так я вот и рассказываю... Звучит странно: надо же кому-то быть золотарем, вот я и буду им! И, кстати, любит Гиляровский сцены, когда посреди улицы явится обоз золотарских бочек на колесах, испортит воздух, а еще лучше, свернут такую бочку лихие пожарные ездоки, кал с мочою разольются по мостовой, то-то веселья! Ха-ха-ха!

Гиляровский – силач, богатырь, спортсмен, большой смельчак – бредил казачьими подвигами, посвящал стихи судьбе Степана Разина, искал в жизни лихости, удали, рискованных дел и хорошей драки. У него в принципе была абсолютно здоровая натура. Хорошо тренированное человеческое тело он чуть ли не обожествлял. Если видел честность в человеке, которого недолюбливал, не забывал написать о ней, как написал по-доброму о «классово чуждом» богате, кондитере Филиппове. С восхищением рассказывал о подвигах пожарных. Любил, когда другой человек в чем-то показывал свое искусство, а потому расхваливал превосходных банщиков и поваров. В конце концов, литературный талант его совершенно очевиден.

Но эта здоровая натура была отравлена ядом бунтовских настроений. Само время его молодости было пронизано сладострастным ожиданием большого мятежа. Пульс общественных настроений задавался революционерами и революционерчиками разного пошиба. Буйство входило в моду. Воли! Дайте воли!

Очарование разрушительных стихий пели декаденты. «До основания! А потом мы возведем прекрасные алюминиевые дворцы для народа!» Тряпичкиным дали право подъелдыкивать государство по всякой малости, трепать имя Церкви, любую честную службу объявлять делом, недостойным порядочного человека. Долой! И Гиляровский, вдосталь напившись из «чаши отравы», не пожелал расти в службу, где таланты его ох какгодились бы. И не пожелал сдерживать мятежные инстинкты. Кто у него герой? Нищий художник, надерзавший великому князю, который захотел купить у него картину. Террористы-душегубы: Каракозов, Нечаев. Понизовая разбойничья вольница воров, каторжников, нищих.

А ведь другую жизнь Гиляровский знал. Проговаривается однажды, как бывал в Английском клубе, да и в других аристократических местах мог бывать, в качестве члена спортивных и охотничьих клубов. Литературный и театральный миры от него вообще не были закрыты, он являлся их полноправным участником.

В сущности, Гиляровский взял на себя очень важную разрушительную работу. Его тексты вытесняли из массового сознания великую Москву – купеческую, церковную, богатую, живописную, Москву «сорока сороков», Москву Университета, Москву музеев, театров, художественных галерей. Большая ложь Гиляровского не в том, что он рассказывает, а в том, о чем он молчит. Его очерки московской жизни у кого угодно отобьют желание любить своих предков, гордиться корнями русской жизни, уважать русскую столицу. Он «зачищает» лучшее, что было в жизни дореволюционной Москвы, меняет благородную московскую старину на похабное раблезианство грязи. Разве можно уважать дебелую проститутку, лежащую в сточной канаве с задранном подолом и пьяную до

потери сознания? Дядя Гиляй с репортерским ухарством ломал хребет старому мифу Москвы, расчищая место для мифа, который еще надиктуют строители «новой жизни» писателям, киношникам, поэтам...

И надобно обладать давно сложившимся взглядом на русских, на Россию и на Москву, чтобы твердо сказать себе, почитав записки Гиляровского: «То, что ты знаешь и говоришь, – один процент правды о нас. А то, что ты знаешь и о чем говорить не хочешь, – остальная правда. Ты лжешь, умалчивая о ней».

Московский пирог vs конструктивизм

Бетонный дракон конструктивизма упал на русские города в 1920-х.

И больше всего досталось от него Москве.

Конструктивизм – то направление в архитектуре, которое больше всего свидетельствует о порче искусства в XX веке. Об утрате тонкости, аристократизма. Об угасании эстетического чувства. Об уравнивании прекрасного и безобразного. О выжигании в человеческой душе сокровенных мест, коими связана была душа с Богом. Об уничтожении связей культуры с воспоминаниями о чудесном Изначалье, о Райском саде и совершенстве Божьего замысла о сущем.

Искусство XX века вело себя с этими тонкостями как взбесившийся слон в посудной лавке.

Москва, жившая памятью о прекрасном боре, занимавшем когда-то ее холмы, о садах, разбитых по велению князей-Даниловичей, о тихих обителях, о боярских палатах, представляла собой город-вызов для искусства «победившего класса». На несколько пластов благородной московской старины накладывался пышный модерн, коим славился город в конце XIX – начале XX века. К началу 1920-х Москва, таким образом, представляла собой «слоеный пирог» с роскошным кремовым верхом. Его и есть приятно, и глазам – отрада...

Однако для ревнителей «пролетарской культуры» этот чудесный пирог выглядел как нечто несъедобное и даже ядовитое.

Вот закончилось великое землетрясение Гражданской. Новым властителям города надо было

кем-то в нем быть – не только с точки зрения политической власти. Нет, этого мало! Этого всегда было мало. Требовалось эстетическое оформление новой жизни. Всякий политический уклад, не декорированный особым стилем искусства, – вроде короля, носящего дедушкины штаны: и не по размеру, и ветхие уже. Вон там дырочка! И вот тут – еще одна. Позволительно ли для особы монарха подобное безобразие?! Петроград отступил в тень, столицей стала Москва. И теперь именно в Москве следовало утвердить новую, революционную эстетику. Можно вписать в город очередной слой художественных исканий – нечто родное городу, уложенное поверх модерна; а можно создать нечто, прямо и радикально отрицающее прежние слои.

И как тут не выбрать второй путь, ежели новая власть, да и люди от искусства, прилепившиеся к ней, слишком чужими чувствовали себя посреди великолепия московской старины.

Обитатели? Гнезда религиозного дурмана! Модерн? Мелкобуржуазный уютник! Особняки дворян? Нам нужно пролетарское искусство! Русский национальный стиль? Забудьте эти слова, у нас пролетарский интернационализм на дворе!

И вот несколько небесталанных людей принимаются теоретизировать по поводу нового революционного искусства. Когда братья Веснины, Моисей Гинзбург, Иофаны, Иван Николаев ударяются в умственное строительство чего-то принципиально нового, они ведь начинают с разрушения традиции. Модерн ими естественным образом отторгается. И если бы отторгался только он, можно было бы поискать в творчестве конструктивистов какую-то попытку реабилитации древнейших слоев Традиции на новом художественном уровне. Но ведь они отрицают *всё*, что существовало до них, не ограничиваясь модерном. Они

не столько созидатели, сколько критики. И на отрицание у них уходит очень много энергии.

Созерцательность? Современный город живет стремительными темпами! Время – вперед! Мы ускоряемся, мы живем невероятно быстро, наша жизнь – слегка замедленный взрыв! Некогда!

Эстетизм? В могилу! Мы ставим во главу угла достижения науки и техники, новые возможности с новыми строительными материалами! Нам важнее технологичность! Нам ближе идеал утилитарности!

Искусство? Его дело – служить производству!

Дом, мой милый дом? К бесу! Дом – машина жилья, камера для сна, средство провести время вне работы и общественных обязанностей! Раскурочим семью! Нам нужно больше свободы! Обобществим быт! Пусть каждый живет носом к носу с каждым! Советскому человеку нечего скрывать от советского человека! Мы строим один социализм на всех! Больше соцсознательности, товарищи! Кто-то смеялся над дворцами из алюминия? Мы воплотим в жизнь штуки посильнее дворцов из алюминия! Р-равнение на... звезды! Стальные челюсти новой жизни сминают старое барахло! Бетонные зори, стеклянные солнца, геометрика производственных ритмов! Вперед и вверх!!! По солнечным трубам к серпастому и молотастому небу! Ввысь, наперегонки с железными птицами!

Каков пафос...

И сколько бумаги ушло на проекты, проекты, проекты...

Кого из конструктивистов ни возьми, всё-то «бумажная архитектура», всё-то проекты и опять проекты, статьи да книги преобладают над действительными постройками. Реально они строили не столь уж много. А из того, что строили, хоть какими-то эстетическими достоинствами обладают совсем

немногие здания. Ведь когда составляется величественный проект, когда карандашик спешит по бумаге, в голову очередного гения от конструктивизма не приходит мысль о действительных возможностях страны. Может ли она, нищая, разоренная, богатая одними беспризорниками да заброшенными землями, страшно пострадавшая от пламени Гражданской, выбрасывать миллионы на архитектурные миражи? Нужна ли кому-то архитектурная фантазия – верх бытового неудобства! – в которой придется жить и работать?

К несчастью, кое-что конструктивистам удалось построить, и лучшее из их наследия находится в Москве. Кажется, камень стонет, сообщая о злых фантазерах из 1920-х годов...

Вот чудовищные дома-коммуны, безобразные, со сплошными линиями окон, со страшной, всему свету открытой коммунальщиной внутри, с абсолютной звукопроницаемостью... Да ведь это по большому счету приговор для жильцов: столько-то лет – в каменном бараке! Желаящие могут полюбоваться, например, безобразным Домом Наркомфина на Новинском бульваре, детищем Моисея Гинзбурга. Нравится? А хочется там жить? А хотелось ли там жить самому Гинзбургу? Широко известно высказывание Ольги Берггольц о том, с каким энтузиазмом, с какой верой в чистое/светлое творческие люди становились обитателями домов-коммун... и как они потом проклинали тамошний бесчеловечный неуют, тамошнюю казарменность. Ничуть не менее того известны слова Евгения Замятина, посмеявшегося над «пролетарским стилем» в романе «Мы». И он же в эссе «Москва – Петербург» (1933) прямо высказался: «Некоторые из левых архитекторов объявили этот... стиль "пролетарским" (а стало быть – самым модным), но... пролетариат не поверил и запротестовал, когда

эти унылые кубы стали расти в пролетарских районах». Да и такая громада архитектуры, как Алексей Щусев, имевший тончайшее чувство стиля, изрек мрачное: «Оказалось, что упрощенный конструктивистский тип архитектуры не во всех случаях близок и понятен массам... Коробкообразная, плохо сработанная поверхность зданий скоро приелась».

Конечно-конечно, вещали отцы-основатели конструктивизма, забудем об эстетизме... если только это не наш, истинно пролетарский эстетизм плаката! Родченко какой-нибудь, изувековеченный в камне. Цветные лозунги на стенах – пожалуйста: см. Дом Моссельпрома с безобразной граненой башенкой, из которой кверху торчат столбы – наподобие ножек от табуретки, брошенной на пол сиденьем книзу. Привет архитектору Струкову с тем же Родченко под локоток. Привет лучшему из лучших – Константину Мельникову, налепившему супрематистский бессмысленный плакат из камня и стекла на фасад гаража, до сих пор пугающего прохожих на Суцевском Валу.

Конечно, мы найдем художественное выражение технологизму. Раз материал дает новые свойства – пусть это видят все! И вот рождается кинотеатр «Ударник», детище Иофанов, похожее то ли на гараж, то ли на крытый бассейн.

А по соседству с «Ударником» – сундук, исполненный угрюмой торжественности. «Дом на набережной» – это очень ласковое имя для него. Лучше было бы назвать «Комод на набережной». Рука тянется открыть створочку и вынуть изнутри табакерку гигантских размеров или коробку с монпансье высотой в два человеческих роста.

А что касается здания газеты «Известия», возведенного именитым конструктивистом Григорием Бархиным в самом центре Москвы, то тут рука тянется разобрать домик на составляющие: уж больно он похож

на творения ребенка, отлично освоившего, как строить дома из деталек детского конструктора. Элиту советской журналистики приговорили жить в серой, унылой кубатуре. Певцы «творческих достижений» конструктивистов пишут о каких-то особенных ритмах и т. п. Встаньте перед фасадом. Что увидите? Тупое чередование квадратов, ленточек и кружочков.

Главные теоретики, братья Веснины, что создали они, чтобы подтвердить гениальность своих теорий? О! Каменное свидетельство взятых ими творческих высот живет до сих пор на юге Москвы. Это ДК ЗИЛа. Присмотримся. Да! Это большое здание. То есть весьма крупное. И – да! У него очень большие окна. Вероятно, Весниных и их современников поражала большая площадь остекления. Новаторство! Стекла – много. И очень новаторский еще полукруглый вход с колонками... правда... несколько напоминающий гипертрофированные детали некоторых фасадов в господских домах провинциальных усадеб XIX века, но на это не стоит обращать внимания... Ведь не напрасно же пострадал Симонов монастырь, покореженный для того, чтобы у гениев конструктивизма было место для творческого самовыражения...

Кажется, лучшие из конструктивистов – те, кто в какой-то мере преодолели в себе конструктивизм. Те, кто хотел заставить москвичей любоваться современными зданиями, а не плевать в них. Те, кто признал за эстетикой определенные права.

Лукавый трюкач Мельников – практик на все сто, практик гораздо больший, чем Веснины и Гинзбург вместе взятые. Этот, кажется, хотел сделать из своих зданий аттракционы, переиначить их сущности. Гараж? Пусть будет пивная бочка. Дом культуры? Пускай напоминает болт, район-то ведь – рабочий! А вот тут мы окна поставим лесенкой – хе-хе! И рядом окошко-кружочек пририсует – ха-ха-ха! И вот пока он отпускал

каменные шуточки, баловался, играл с серьезным лицом, устраивал великолепные клоунады, получая оценки в духе: «Революционное искусство или формализм?» – всё было забавно, рискованно, бесшабашно, даже талантливо в деталях, но... ниже величия. Мельников в большинстве своих построек – талантливый паяц, арлекин, да едва ли не юродивый. Да, именно так, и пусть мудрые искусствоведы числят Мельникова чуть ли не лучшим архитектором России XX столетия. Пусть!

А вот когда он душу вкладывал, не пытаясь великолепно подурочиться на счет государства, а изламывался в страшном, невыносимом для его смешливой природы прыжке – попытке поймать гармонию... тогда и появилось нечто великое. Я имею в виду клуб «Буревестник» и дом-студию, напоминающий башню средневекового волшебника.

Но сильнее всех оказался Илья Голосов, создавший настоящее чудо на Лесной улице – ДК Зуева. Этот дом похож на постоянно работающий агрегат, в котором одни формы перетекают в другие. На станок, отдельные шестеренки и узлы которого вращаются в разных направлениях и с разной скоростью. И тут действительно просматриваются те самые «ритмы», о которых столько писали конструктивисты-теоретики. Они у Голосова поданы так, что каждый из них дает ловко инсценированный перебой, но сумма перебоев создает мерный гуд прекрасно отлаженной машины. ДК Зуева уродлив, как и всё конструктивистское. Но его уродство гениально, поскольку доведено до логического завершения, а потому в чем-то действительно прекрасно. ДК Зуева – редчайшая, может быть, случайная удача конструктивистов...

Что же в целом?

Конструктивисты нарисовали птицу. Птица не оторвалась от бумаги и не полетела. Кое-кто из них,

глядя на эту птицу, издал гениальный щебет.

Потом пришла «пролетарская неоклассика», сталинский ампир, и они-то оказались с Москвой одной крови, они-то вписались как надо...

А эксперимент конструктивистов так и остался забытым рисунком, месивом из бетона и крикливых теорий. Его любят искусствоведы, он наводит тоску на москвичей, и он умер, не успев как следует развиваться.

И слава Богу.

Москва – она ведь не революционерка.

Площадь трех вокзалов. Империя и запахи

В Москве до обидного мало красивых площадей. Площадь Никитских ворот. Суворовская. Цветной бульвар с Трубной. Кому-то нравится Манежная. Театральная, может быть... И уже никак не Красная, вздыбленная испорченная катком. Но, в общем, у нас худо с фонтанами, худо с архитектурной гармонией и соразмерностью, худо с опрятностью и очень хорошо – с сокрушительным долгостроем, который набухает пламенеющими нарывами то тут, то там на протяжении двух десятилетий, нанося глубокие раны телу Москвы.

Наше время плохо ладит с эстетикой. Лучшее, на что оно способно – во всяком случае, пока, – сохранять и восстанавливать московскую старину. Не мешать ей жить, пока не появятся собственные архитектурные силы, собственный стиль, собственная национальная заостренность. Воздействие нашего времени, даже если оно воздерживается от глобального сокрушения благородной старины, даже если оно успевает остановиться в стремлении пересоздать нечто состоявшееся, не имея на то сколько-нибудь серьезного творческого ресурса, всё равно проявляется в нелепых, некрасивых, гадких мелочах. Всё хорошо, хорошо, хорошо, но... какая-нибудь пакость всплывает там, где, кажется, из всех сил старались навести лоск.

Итак, в Москве до обидного мало красивых площадей. Тем печальнее судьба одной из лучших, а именно площади трех вокзалов. Это ведь ворота в столицу России. И это транспортное сердце нашей страны. Дело не только в том, что кровь пассажирских потоков день за днем толчками проходит через

платформы Ярославского, Казанского и Николаевского (Ленинградского). На сортировочных станциях невидимые мускулы приводят в движение мощные грузовые клапаны, открывающие путь для могучих составов с цистернами, товарными вагонами, техникой. Грудь России мерно двигается над ребрами складов, разбросанных на огромном пространстве. И вокзальная площадь служит фасадом не только Москвы – в отношении России, но и России – в отношении Москвы.

Всякое время старалось сделать свой вклад в эстетику площади. От Николая I остался строгий, холодно-правильный Николаевский вокзал. От эпохи модерна – шеломистая богатырская застава, в которую гениальный Шехтель превратил Ярославский. Напротив – восточный «портал Империи», и нет в нем ничего специфически азиатского. Еще один русский архитектурный гений – Щусев – сделал из Казанского вокзала торжество старомосковской эстетики времен Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, добавив, по вкусу заказчиков, слегка восточноватую (а на деле опять-таки чисто русскую) башенку в духе казанской иглы Сююмбике. Даже сталинский ампир, вдвинутый в ландшафт площади грандиозной высотой (гостиница «Ленинградская»), где ресторан по стилю отделки представляет собой смесь советской роскоши с роскошью всё той же старомосковской, палатной, младоромановской, – и тот оказался к месту.

Архитектура прежних времен задает торжественный ритм площади. Человек, попавший туда, на несколько мгновений отрешается от дорожной суеты и попадает в медлительное стремление имперского менуэта, вечного, величественного, покоряющего пространства и души...

Что ж наша эпоха? Казалось бы, не подкачала. Посреди площади появился памятник П. П. Мельникову – министру путей сообщения при государе императоре

Николае Павловиче, достойному государственному мужу, чей образ достойно же передан в бронзе. Имперскость площади только выросла с появлением этого памятника. Скульптор, что называется, «угадал», «вписался» со своим творением в медлительный и торжественный ритм сего места. Да и памятник – по сравнению с тем, что ставили по Москве последние двадцать лет, – один из лучших.

Всё было бы хорошо.

Всё было бы отлично.

Если бы площадь не превратилась в чудовищный бомжатник. Запойные рыла, рванина, подбитые глаза, фиолетовые губы, перекошенные в ходе дружеского мордобоя – так, что правая половина выглядит втрое толще левой, – грязь, эпическая какая-то, гиляровская грязь. И всё побеждающий запах мочи. Он въелся в асфальт, он стоит непереносимо муторным облаком у всякого угла. Он выдержан в подземных переходах многолетним процессом, как выдерживают лучшие коньяки. Недалеко от памятника Мельникову, на трамвайной остановке, есть знаменитая бомжелавочка. Ни один здравомыслящий человек не сядет на нее, если только он не покинул поле здравого смысла под действием тяжелого хмеля. Сесть на нее – значит с гарантией подхватить чесотку, стригучий лишай или что-нибудь еще того хуже. И, конечно, кислый аромат немытого тела, к тому же давно лишенного общения с туалетной бумагой, хранит эту лавочку для бомжей лучше цепного пса.

Вот – вклад нашего времени. Очень весомый вклад, добавленный к величественному памятнику. И никакие люди в фуражках не пытаются разогнать всю эту бомжовщину, мнится, получая какие-то дивиденды от маленьких гешефтов нищих, воря, мошенников и прочей юркой привокзальной бесовщины. От новой

Хитровки^[72] на Ярославском вокзале. Всегда есть человек, назначенный следить за порядком в этом месте, всегда можно узнать его фамилию. Но этот человек никогда на деле не отвечает за отсутствие порядка, и фамилия его в СМИ не звучит. Хотя бомжатник продолжает коллективно испускать вонь только по индивидуальной, строго персональной воле этого человека. Хотел бы – давно бы разогнал. Собственно, причина тут одна. 90-е подняли на высоты власти огромное количество людей, лишенных внутренней культуры, ставящих вопросы финансовые выше всех прочих. И они, даже стараясь выглядеть иначе, культурнее, всё равно проявляют небрежность, нежелание приложить усилия там, где надо довести редкий добрый почин до логического завершения. Тяжело моему городу в таких руках.

Две Москвы

Нынешняя Москва – это две Москвы, живущие друг с другом в тесном объятии, по необходимости терпящие друг друга, но разные по происхождению своему, по идеалам и устремлениям. Каждая из них воспринимает вторую как раковую опухоль в своем теле. Каждая хотела бы избавиться от второй, вырезать ее... Но где взять такие силы? Где отыскать таких врачей? Ведь подобная операция означает миллион надрезов, сделанных по всему телу города, рассечение многих его внутренних органов, такую перемену быта, которая при любом исходе обернется великой болью и долгой немощью.

И, однако, перемена должна произойти. Двум душам в теле одного города не ужиться. Одна из них покинет Москву, расточится, или хотя бы ослабеет до такой степени, что окажется в полном подчинении у другой. Так будет. И хорошо, если трансформация эта пойдет мирным маршрутом, медленно, постепенно. Взятое с бою, надрывно, в ярости и кипении, созданное путем ломки и перекраивания, в конечном счете прочным не бывает. Да и обходится слишком дорого. Поэтому – лучше бы великая борьба приняла формы эволюции, неспешного количественного роста на одной из сторон, перед тем как совершится окончательный качественный переход к ее преобладанию.

Итак, одна душа Великого города – странная, заемная, нечистая. Последнее слово в этом ряду – самое верное. Это именно «нечистый дух», разрушитель и соблазнитель. Он ничего не производит, он к творчеству не способен, ибо в натуре его нет иных потенций, помимо способности обезьянничать, искать свою корысть, прельщать и подчинять слабые души. Именно

он творит тот фантом темной и жестокосердной Москвы, который так ненавидят по всей России. Суть его ложь, фальшь, самозванство; света он не любит, правды опасается. Возрос он из идеала личного комфорта, материального благосостояния и в конечном счете всегда означает приоритет денег.

В Москве слишком много собралось такого человеческого материала, который не только не способен создавать нечто новое, красивое, полезное, но даже и то, что имеется в наличии, не может поддерживать в должном состоянии; более того, когда речь идет об исполнении административных, профессиональных, нравственных обязанностей, уже и они оказываются на втором плане. Тысячи московских чиновников, охваченные властью нечистого духа, обогащаются, брезгуя своей работой, превращая ее в источник дохода, душу и совесть свою продавая по кусочку ежедневно и ежечасно. Тысячи высших предпринимателей, сойдясь с теми же чиновниками в темном альянсе, высасывают из казны деньги на пустое; и даже взяв из казны на стоящее дело, исполняют его худо, немыслимо дорого, а то и вовсе не исполняют, удовольствовавшись дележом добытого. Тысячи их защитников, вооруженных стражей, мыслят о долге своем как о нудной необходимости – устрашая народ, очищая у него карманы.

Что они видят в будущем своем помимо роскоши – всё возрастающей, принимающей самые невероятные формы, близкие уже к бессмыслице, но столь пленительной? Да ничего. Ни города, ни страны, ни народа, ни веры, ни даже самой простой доброты человеческой. Тех, кого интересует нечто большее, выходящее за пределы этой роскоши, они люто презирают. И в среду свою им трудно принять такого человека. Дело их жизни – игры пустоты. Деньги, созданные трудом страны и ее естественными

богатствами, обращаются в бумаги административных циркуляров, в воздух спекулятивных операций, в жир, свисающий с боков милиции, которая ныне вызывает у большинства москвичей страх и омерзение. Эта Москва слишком обильна дорогими машинами, нелепыми скоплениями геометрических ритмов, которые именуются «бизнес-центрами», слишком много тратит на роскошь, ни в малой мере не являющуюся необходимостью, слишком цинично соревнуется в том, сколько золота пойдет на очередной монументальный толчок, воздвигнутый в очередном «замке» на Рублевском шоссе.

В искусстве она выражает себя дорогостоящим сумбуром.

Пляски электрических огней на фасадах казино, хаотическая разностилица архитектуры, бесконечный кубофутуризм и неоконструктивизм банков, торговых центров, корпоративных бараков... Обыкновенное тупое распутство, выведенное на сцену в немыслимо дорогих декорациях, в немыслимо дорогом техническом оформлении, безголосое и безмысленное. Культ холеного тела. Сентиментальная жвачка. Гыгыкающие интонации. Беллетризация потаенных фантазий того безбрежного воинства, которое навечно приковано к офисным компьютерам. И очень большое желание заменить тех, кто живет не так, не того желает, не тем силам подчинен, на полки и армии безгласных «гастов».

Эта Москва распространяет по Российской державе вонь. Не зря у слов «золото» и «золотарь» столь много общего! Золотой блеск бешеной удачи – триумфа в распутстве, в преступлении, в подлости, но все-таки именно успеха, – тянет сюда слабых людей со всей страны. Придите, поклонитесь тельцу, и он, быть может, пожалует, осыплет купюрами! Или даже позволит красоваться на телеэкранах. О, если ты попал

в «ящик», не выполнил ли ты жизненное предназначение?

Поэтому миф, растущий, поднимающийся от этой Москвы, черен. Он обещает: да, там, в пределах МКАД, лежит Эльдорадо. Умный, ловкий, энергичный человек может озолотиться с ног до головы, оттерев косных стариков, послав подальше скучных моралистов и отшвырнув со своего пути тупых ленивых коренных москвичей. Спешите! Вас будут знать миллионы. У вас на счету будут миллиарды. Явитесь на поле чудес, приложите ваши способности, деритесь, ломайте хребты, отдавайтесь, даже работайте много, если ничего другого не остается, и ваше будущее обеспечено. Итак, бросьте всё, придите, поклонитесь тельцу...

Рядом с этой душой Москвы, внутри нее, проникая в нее и со стоном выдерживая ответные проникновения, обитает совершенно другая.

Иная душа издревле живет в Великом городе, время от времени обновляясь. Она – Порфирородная, самым Богом призванная властвовать. По сосудам ее течет царственный дух, как тек он по венам Рима и артериям Константинополя, как наполнял он капилляры Иерусалима. Эта душа благородна, чиста, сильна. Ее сила рождается из крепкого стояния на вере. И даже в те времена, когда Христова истина шаталась на Руси, претерпевала гонения, была унижена и опозорена, в Москве она все-таки не теряла корней, жила, выживала, поднималась на ноги после страшных болезней, после многолетнего истощения. Пусть в советское время ее не знали, не могли знать миллионные массы москвичей, но все-таки присутствие ее чувствовалось. Тепло, исходившее от храмов, эстетическое чувство, коим веяло от старинных домов, от древних улиц и переулочков, возведенных предками-христианами, сила земли, шедшая от прекрасных московских парков, и

даже обезображенная краса Кремля, когда-то призванного оборонять эту царственность, рождали глухое ощущение прекрасной силы, ушедшей в подвалы души, немотствующей, притаившейся, но все-таки ожидающей своего часа.

Вот она возродилась. Сотни тысяч, быть может, миллионы пошли в храмы, поклонились не тельцу, а приходскому иерею, узнали молитвенное правило, исповедь и причастие. Да хотя бы и те, кто ни разу не бывал в церкви, но все-таки унаследовал от родителей, от дедов и прадедов ум, энергию, колоссальную русскую жизнестойкость, колоссальное русское трудолюбие, естественную порядочность, доброту, склонность к милосердию, – что ж, и они стоят на фундаменте христианских добродетелей, до сих пор не до конца разрушенных, до сих пор управляющих судьбами Русской цивилизации.

Это другая Москва. Она трудится, не щадя себя. На двух, а если понадобится, на трех работах, честно добывая хлеб насущный. Она делает свое дело, как надо. А по ночам садится за рабочий стол дома, чтобы украсть у сна время, необходимое для творчества. Она не кичится ни богатством, ни пропиской, ни столичным статусом. Она просто подставляет хребтину под вялую тушу первой, пустой Москвы, она пашет, как и вся Россия, она желает изменить положение дел к лучшему, как и вся Россия, она ищет путей развития, – таких, когда каждому даровано будет право расти в меру способностей, обеспечивать себя и свою семью в меру приложенных усилий, относиться к соотечественникам как к одной большой дружелюбной семье, – как и вся Россия...

Эта Москва обладает колоссальной творческой силой. Недаром здесь всегда были в почете разного рода интеллектуальные кружки, студии, сборища художников, писателей, поэтов, ученые общества,

клубы разного рода профессионалов, группы высокоумных спорщиков, не вылезающих из дискуссий о высших смыслах бытия. Здесь каждый с бешеным упорством ищет применения личной потенции – творческой, интеллектуальной, художественной. Здесь витальность хлещет через край. Здесь не любят выходные, поскольку они выбивают из рабочего ритма. Впрочем, работать можно и дома. А можно пойти в театр, музей, пройтись по улицам, где сохранилась благородная старина... Здесь презирают бездельников. Здесь свысока посматривают на весь тот гламур, который притягивает к себе искателей приключений из разных концов страны – тот самый, блестящий золото-золотарский... Здесь издавна живут в напряженном ритме, опасаясь «не успеть хоть что-то успеть» в этой жизни.

Иногда кажется, что вторая Москва вся обращена в прошлое. Что она поживет еще немного и модернизируется до состояния питательного бульона для сверхсовременной и сверхбессовестной первой Москвы. Что она вконец истает, ничего не останется...

Ан нет, здесь любят не прошлое, а вечное. И выходя из кривых переулочков Ивановской горки, из приарбатского кружева, из тенистых сонных анфилад между Поварской и Тверской, высшие, вечные смыслы посещают великие проспекты московского юга, забредают на пролетарские окраины, тревожат умы завсегдатаев в кафешках на Бульварном кольце.

Москва-вторая привыкла к величию и жаждет отыскать продолжения тех ампирных коридоров, которые ведут от времен князей-Даниловичей во времена звездолетов. Коридоры эти пресеклись, своды обрушились, выросли какие-то грязные нелепые двери, перекрывающие дорогу. Но тут всё можно вычистить, отстроить заново, снять с петель лишнее. А лишнее это

и есть Москва-первая – скопище ленивого, опасного, подлого люда.

Лучшие символы Москвы-Порфирогениты и ее же концентрированная совесть – монастыри. Не напрасно столько усилий вложено в их восстановление. И скачущий пульс духовной жизни города сплетен с неподвижным монастырским духом, с тягою москвичей к старинным обителям. Обителями истинная Москва укореняется, обителями славится, обителями очищается, обители придают ей вес посреди бессмысленных пустот стяжательской суеты.

В искусстве Москва-вторая выражена через тягу к культурному хранительству. Ее силами реставрируются храмы, особняки, доходные дома в стиле модерн, создаются новые музеи, новые театры, ставятся новые памятники. Среди тех, кто принадлежит духу Порфирородной, любимое развлечение – пройтись по тем улицам, где живы еще прошлые века: с XVI по начало XX, погружаясь душой и мыслями в мир России, «которую мы потеряли». В торжественную ее праздничность, в мощь военную, в кипение торгов и купеческие неохватные затеи, в парение времени между перекличкою стрельцов на кремлевских стенах и гомоном салонов Пушкинской поры.

Порфирогенита отторгает всё, что идет вразрез с ее державностью. И груды современных бизнес-построек воспринимаются ею как нечто неприличное, – большей частью не из-за того, что Порфирогенита отрицает всё новое, а из-за того, что нет в лихорадочном свечении неоновых ламп, в бетонометаллическом месиве абстрактных форм и в утлой роскоши «мерсов» ничего живого. Это не новое, это морок, безвременье, тяжкий хмельной сон, отягощенный кошмарными видениями. Чем тут дорожить? Чем восхищаться? Что продолжает древнюю судьбу Москвы, а не противуречит ей? Пустое отвергается, но ведь на то оно и пустое. Однако лишь

только появится нечто родственное багрянородной душе Москвы, так сразу же становится оно своим, срастается с нею нерасторжимо. Например, когда дворец в Царицыне, брошенный еще при Екатерине II, был достроен, мгновенно стал он частью державной Москвы, мгновенно был ею принят. Храм на Бутовском полигоне – плоть от плоти истинной Москвы. Как, впрочем, и величественный Троицкий храм на Борисовских прудах, посвященный тысячелетию Крещения Руси, выполненный в византийском стиле, расписанный Василием Нестеренко со товарищи. Или нарядные храмы Святой Троицы в старых Черемушках, Иконы Пресвятой Богородицы «Державная» в Чертанове... Или скульптуры работы Вячеслава Клыкова... Или живопись Павла Нестеренко, Ольги Крестовской, Валерия Харитонов... Или подземный музей на Манежной площади...

Миф, который порождается истинной Москвой, принимает образ надежды. Москва христианская, византийско-русская обещает новый рассвет. Обещает мост из прошлого в будущее, пролегающий над грязным болотом настоящего. В этом мифе нет ни тьмы, ни безнадежности. Напротив, он наполнен солнцем, ощущением начинающейся весны, ароматами цветущей черемухи и сирени. И пусть весна эта едва-едва выбирается из грязных, смерзшихся снегов, пусть холодными водами залиты низины, пусть дороги разбрызгли, а все-таки она неостановимо катится к лету, к очередному расцвету русскому. Москва-вторая – навигатор будущей России, прошедшей Второе Крещение и рехристианизирующей мир.

Последние двадцать лет, если не больше, Россия мается толками о конце света. И как великую истину образованные верующие воспринимают известные слова: «Сейчас позднее, чем кажется».

Крушение Советского Союза, отступление России, страшные потери наши в людях, в культуре, в экономике столь многих заставили почувствовать биение апокалиптического пульса... Сегодня. Днем. Может быть, вечером. В крайнем случае завтра на заре! Четыре всадника поскачут над холодеющей землёй, и ангелы вострубят, и кровью обернется вода, и усталые люди увидят торжество справедливости. Тех, кто столько терпел, поведут в Царствие Христово. И пусть еще куражится антихрист, конечное торжество не за ним.

А может быть, уже он среди нас? Может быть, Последний Суд уже идет, и с книги упали печати, и процесс над людскими душами длится десятилетия, если только не века? Ждёте антихриста в гости? Так он на пороге вашего дома! Вот здесь он! Нет, – вон там! И это не человек, это «мысленное обольщение», его и увидеть-то сумеет далеко не каждый, но всякий, кроме истового праведника, покорится.

В глухих старообрядческих деревнях 90-е обновили уверенность в том, что Апокалипсис переместился из будущего в настоящее. И там твердо знали: антихрист явился, двенадцать черных апостолов его сидят по столицам и творят злое дело. Старенькая бабушка, какая-нибудь Елизавета Савиновна или Кавронья Марковна, без страха открывала дверь любому человеку, пусть и глушь, пусть и бродят беглые уголовники, а на вопрос: «Как вы только не боитесь?» – отвечала с томительным желанием быть испытанной, пострадать за веру и получить верное спасение как мученица: «Чего ж бояться? Пророчество уже исполняется».

На наших глазах светлое, благое, дарующее надежду учение о Катехоне трансформируется в кошмар духовного самозапираания. Святая Русь в кольце фронтов! И все ворота на засов! Мы не допустим к себе

врагов! Мы встретим их кличем славных бойцов! А если враги, исчадия ада, уже внутри нашего города, если вошли они в наш дом, не станем есть вместе с ними, не будем вести с ними бесед, молча умрем под их топорами, но только не заставят они нас изменить Отцу Небесному!

Время наше обольщает умных, крепко верующих людей сделаться новыми старообрядцами. Забиться в подворотни, убежать в горы, укрыться в пещерах, молчать и трястись. Будто мы не Церковь, а секта. Или бросить в шикарную иномарку гранатой, откопанной на местах сражений Великой Отечественной, выйти на площадь и обличить густой мрак, давящий на грудь, забивающий легкие липкой слизью... Умрем же за аз единый! За старый советский паспорт и в борьбе против ИНН!

Многие, слишком многие испытывают желание совершить какое-то дикое ритуальное самоубийство. С громким молитвенным пением облиться бензином на Красной площади и попросить друга поднести спичку к волосам. Дабы формально на небесах это не было засчитано за смертный грех самоубийства.

И... что?

Вот так, в глухой обороне, провести всю жизнь?

За страхом Божьим – очень полезной, очень важной вещью, вот только не главенствующей в жизни христианина, – перестать видеть любовь Господню, перестать ощущать благодать Творения, отложить благодарения Богу за Его милосердие и щедрость? А потом страх Божий заменить на какое-нибудь чучело, вроде страха глобализации или страха перед тем, что не спросил у духовника, можно ли есть креветок по постным дням?

Не Святая Русь оказывается в кольце фронтов, а душа затравленного, запуганного христианина, готового уйти в затвор, чтобы в затворе найти светлый

град Китеж, но находящего только вонючий сырой подвал.

В таких условиях Катехон обретает скверное и мутное значение жестокой силы, которая способна лишь ставить высокие стены, сажать на кол отступников, да сберегать последние, крохотные лоскуточки света для ничтожной кучки «истинно праведных».

Но это ли – Катехон?

О Катехоне сказано в том месте 2-го послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам, где говорится о новом пришествии Христа. Тогда, как и сейчас, нашлись люди, которые считали, что конец близок, а потому бросили свои повседневные занятия и труд. Их вразумлял Павел: «Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак: *ибо день тот не придет*, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божиим сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только *не совершится* до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знаменами и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие

пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (Фес. 2: 1-12).

О том, что представляет собой Катехон, написано очень много. Смысл понятия «Удерживающий» толковали на разные лады в эпоху Средневековья, обращались к нему и позднее. Сообщество современных интеллектуалов России постоянно творит тексты, так или иначе апеллирующие к этому понятию, хотя к единому толкованию до сих пор православные публицисты не пришли.

Вот наиболее «классическое», наиболее традиционное понимание проблемы: «Удерживающим, или по-гречески Катехоном, в понимании православной традиции является власть Римской империи, наследницей которой явилась империя Византийская, а за ней – Российская. Катехон будет стоять до последних времен и всегда ограждать не только Церковь, но и нормальное существование человечества, его законное, правовое существование в противовес аномии – беззаконию, демоническому хаосу, несущему смерть не только физическую, но и духовную» (прот. Андрей Новиков).

Большую популярность получила идейная платформа, в соответствии с которой надо ставить знак равенства между российским самодержавием и Катехоном, – во всяком случае, для эпохи новой и новейшей истории. Это значит: в ближайшее время самодержавие следует восстановить. А пока реставрации не произошло, сама Царица Небесная занимает монаршее место в России. Когда же чаемое восстановление произойдет, ничего иного ждать не следует – вплоть до Страшного суда.

Егор Холмогоров предлагает более широкое определение: «Идея “удерживающего” многообразна и

многозначна, не сводясь только к определенной системе власти и к лицу монарха. В некотором смысле “удерживающим” может считаться всё то, что проникнуто Божиим благословением и что препятствует развитию “мистерии аномии” и пришествию вслед за ней антихристового порядка. На одном уровне это может быть геополитический субъект, на другом – государственное установление, на третьем – добрый благочестивый обычай. Однако общий знаменатель всех форм и видов “удерживающего” один. “Сдерживание” антихриста не есть самоцель. Это средство для осуществления другой, стократ важнейшей миссии – спасения человеческих душ. Там, где царит истинный, затронутый благодатью порядок, где не разрушена, по выражению архимандрита Константина (Зайцева), “аппаратура спасения”, там большее число людей имеет шанс уберечь свою душу, спасти ее от растления антихристом... Там, где существует защищенный от аномии социум, в котором люди поддерживают посредством социальных связей благочестие друг в друге, там путь человека к Богу надежно огражден от насильственного прерывания».

«Самодержавная» точка зрения слишком тесно связывает апостольские слова с определенной формой организации политической власти. Да, скорее всего, святой Павел говорил о сильной власти, исходящей из центра Империи и поддерживающей должный порядок. Сильная власть, дающая обществу порядок, предохраняющая культуру и быт от деструкции, преданная идеалам христианства, может принимать разные формы. Центр этой власти, столица Империи, способна транслировать «царственность», т. е. в данном случае священную способность Катехона к этой работе и право его заниматься ею, в другой город. Так «царственность» перешла от Рима к Константинополю, а из Константинополя в Москву –

ради того, чтобы катехоническая власть могла заниматься своим делом.

Но, во-первых, власть первых преемников Октавиана Августа, – так называемый «принципат», – весьма близка к республиканской и соединена тысячами неформальных нитей с политическим устройством Рима, каким оно было до Цезаря. Какое уж тут самодержавие! Что же касается власти византийских василевсов, то она прошла через несколько стадий развития и нередко бывала весьма далека от идеалов самодержавного правления. Неужто те два образца катехонической власти были неистинными? Да и наше, русское самодержавие установилось довольно поздно – не ранее третьей четверти XVI столетия, то и дело претерпевало ограничения, а то и вовсе перерывы в функционировании – как, например, в годы Смуты или же после 1917-го. Что ж, и оно, выходит, какое-то ложное, ибо не соответствует градусу «чистоты», заданному чисто теоретически?

Во-вторых, вот уже несколько поколений русских православных интеллектуалов заморожены пророчеством инока Филофея из псковского Елеазарова монастыря, по которому выходит, что Москва – Третий Рим, а четвертому «не быть». Значит, Москва – последняя в цепи. Филофей – многомудрый церковный публицист первой половины XVI века. Но он не удостоился канонизации, не является пророком и, подавно, не может рассматриваться как автор нового отрезка Священного Писания. Относиться к его словам надо соответственно. Иными словами, их следует воспринимать как красивый образ, фигуру речи, но не более того. Отчего христианскому миру обязательно надобно ждать Страшного суда после того, как Москва в роли очередного носителя катехонической власти до конца исчерпает себя? Бог наш всемогущ, будущее

непроницаемо для простых смертных, а пути Господни неисповедимы. Может, будет четвертый, пятый, десятый носитель катехонической власти, может, она вернется в Москву в виде самодержавия, может, в другом виде, а может, никогда больше здесь не появится. Концепция Филофея – всего лишь теологумен. А ее воплощение в реальность зависит от милости Господней к нашему народу, а также от того, насколько сам народ способен прикладывать усилия к имперскому христианскому строительству. Ничего заранее и твердо установленного, особенно для нашего времени или ближайшего будущего, у Филофея искать не стоит. Призыв инок Филофея – созидательный, мощный, поднимающий на большую работу. Именно призыв, но никак не пророчество.

Определение Егора Холмогорова хорошо тем, что оно демонстрирует простую истину: там, где Катехон выполняет свою функцию, спасение душ возможно; следовательно, территории, подконтрольные Удерживающему, это земли спасительные. За пределами оных земель возможна лишь гибель, мученическое исповедничество или бегство под сень Катехона. Но взгляд на Катехон как на набор сущностей, а не один какой-то феномен (или, может быть, личность), содержит в себе определенный риск. Возникает соблазн всюду видеть маленькие катехончики. На одном уровне катехончик, на другом, на третьем, на пятом и на десятом по штучке... А в Священном Писании речь определенно идет об одном-единственном Удерживающем.

Итак, если Катехон – сильная власть, предохраняющая общество от анархии, атомизации, нравственного разложения и обеспечивающая «территорию спасения» для христиан, то он не должен ассоциироваться исключительно с осажденной крепостью. Парадоксальным образом *Катехон – это еще*

и армия, осаждающая неприятельскую крепость, ведущая наступление.

Рим Первый, Рим Второй и Рим Третий в цветущем своем состоянии не только позволяли христианству «удерживать стены». Нет! Они давали ему возможность невероятно расширить пределы «территории спасения».

В Древнем Риме происходило первичное освоение Христовой верой Средиземноморья. Рим Второй позволил расширить миссионерскую деятельность далеко за пределы Империи. Рим Третий, помимо собственно-русской, коренной территории, проповедовал слово Христово на колоссальном пространстве от Кольского полуострова до приамурских земель, от Печенги до Анадыря. Речь шла не только и даже не столько о том, чтобы не пустить к себе в дом чужое тлетворное влияние – дом был крепок и любое поветрие подобного рода унималось, не успев набрать силы. Но духовенство наше смело шагало в неизвестные края, на дикие земли, в глушь, доселе не знавшую креста, и там утверждало истину.

Что ж теперь, забыть обо всем этом? Оставить несчастному, сжавшемуся, едва живому Катехону функцию простого ночного сторожа с ключами от бесчисленных ворот и берданкой за плечами?

Ни в коем случае.

Ибо у него опять появилась территория, где необходима проповедь, где маленькие «островки спасения» всё никак не сомкнутся в единое пространство.

Христианство изветшало и в России, и в Америке, и, особенно, в старой Европе. Прохудилось, дыра на дыре, и уже не хватает материала на заплату, а потому нужен новый материал на замену старому. Иными словами, *речь идет о необходимости рехристианизировать колоссальные регионы, где вера*

Христовы были проповеданы очень давно, укрепились, прожили многовековую жизнь, порой весьма богатую в культурном смысле, и умерла. Или, во всяком случае, находится в предсмертном состоянии. Теперь нужна ее реставрация, никак не связанная с незначительными «количественными» улучшениями. Нужно очищение, несущее в себе мощный заряд культурных ограничителей, без которых европейское и, шире, европеизированное общество расползается на гнилые тряпки, травится оккультизмом, принимает провинциальных азиатских гуру как великих духовных учителей, кланяется шаманам, заглядывается на прелести вуду... да и просто впадает в состояние варварства. Первобытная аномия всё больше превращается в идеал, и нет средства, противостоящего ей, помимо рехристианизации.

Области Европы, обладающие высокой культурой со времен античности, в том числе земли Франции, Германии, сверхмодернизированного Бенилюкса, с точки зрения веры ныне могут рассматриваться наравне с Амазонией. С тем незначительным отличием, что кое-где всё еще работает полиция (это плюс) и весьма строго взимаются налоги (это минус). И христианскому проповеднику следует действовать в каменных лесах мегаполисов точно так же, как его коллеги действуют где-нибудь в тундре или тропических джунглях.

Рехристианизационная волна может прийти только от православия. Многочисленные деноминации протестантизма и разваливающееся на глазах единое сообщество католиков избрали путь адаптации к варварству, т. е. постепенной собственной варваризации.

Христианство в современной европеизированной ойкумене представляет собой россыпь островов в унылом океане культурной невнятицы, мешанины всего со всем, первобытного магизма. Или, может быть, не

россыпь островов, а, скорее, ожерелье крепостей посреди пустыни.

Возрождение катехонической власти означает прежде всего не «укрепление обороны», а начало наступления. Войско выйдет из крепостей и примется преобразжать пустыню в сады, иными словами, увеличивать ту самую территорию спасения... Как только новый «Удерживающий» окрепнет, ему предстоит миссия, превосходящее всё то, что может быть поставлено в заслугу предыдущим «удерживающим». Речь идет о духовном просвещении Старого Света. Земли, от которых по причине собственного бессилия и общей варваризации отступили католики и протестанты, земли, где кирхи и католические церкви переходят к мусульманам, пестрым сборищам нью-эйджевцев, да просто используются как здания для удовлетворения каких-то светских нужд, эти земли должны постепенно переходить под церковную юрисдикцию православных иерархов. Эра католического прозелитизма исчерпана. Начинается эра неспешного перекрещивания католиков и протестантов в истинную веру, а в первую очередь тех, кто опустился до утраты всякой осмысленной религиозности. Хотелось бы подчеркнуть: успех этой новой глобальной миссии измеряется не только и даже не столько тем, сколько удастся крестить таджиков, китайцев, корейцев или индусов, но прежде всего тем, сколько русских и европейцев окажется в крестильной купели.

Москву часто ассоциируют с теми образами, которые стали частью ее культурного лица еще в XVI веке. Тогда ее часто называли вторым Иерусалимом, видя в Великом городе центр «нового Израиля», т. е. государства, где истинная вера сохраняется в чистоте и неприкосновенности, видя в нем также своего рода каменную чашу, куда перелилась благодать из

Иерусалима древнего и иных городов, претендовавших на эту роль, – например, Киева. Реже именовали Москву Третьим Римом – новым средоточием имперской власти, оберегающей христианство. Впоследствии амплуа Третьего Рима оказалось ведущим. Роли эти красивы, и хорошо будет, если град Москов вернется к полноценному их исполнению. Пока российская столица тянет груз собственного предназначения... слегка. В полруки. Не решаясь впрячься по-настоящему.

Однако сейчас одних этих старинных ролей недостаточно. Помимо гордого звания «Третьего Рима» и «Второго Иерусалима» городу пора становиться «Москвой единственной». А Москва единственная представляет собой Дом Пречистой и город, откуда пойдет великая христианская реконкиста. Соответственно миссия города – создать плеяду конкистадоров, способных повернуть в верном направлении колесо истории, погружающее христианство в закатную мглу.

Кому этим еще заняться, помимо Москвы?

Какой православный центр способен на это?

Уж верно, не Константинополь, первый по «чести» среди восточно-христианских иерархий, но в политическом и экономическом отношении совершенно бессильный. Фанариоты слишком несамостоятельны и слишком далеко ушли по пути подчинения внешним силам, чтобы претендовать на подобную роль. Верно сказано: «В ситуации вызовов различных глобальных идеологических систем современного мира Православная Церковь нуждается в собственном глобальном проекте – проекте мировой православной экспансии, – то есть последовательной борьбы за единственную Истину. Идеологическим, геополитическим и стратегическим центром этого глобального Православного проекта может быть только Россия...» (Елена Малер-Матиязова).

Можно долго, приводя веские аргументы, спорить о том, за каким из центров православия накоплено больше благочестия, больше святости и т. п. Но, во-первых, серьезная государственная сила может сопутствовать усилиям одной лишь Московской патриаршей кафедры. И, во-вторых, Русская церковь на протяжении XX века претерпела такой опыт мученического исповедничества за Христову веру, жизни в столь враждебных условиях, коих Фанар давно не знает. Наши архиереи, священники, дьяконы и простые иноки, умирая за веру, принимая жестокие испытания, теряя всякую надежду, помимо упования на Божью милость, создали духовную основу, на которой всякая ложь и фальшь церковной жизни слишком хорошо видна. И эта чистота, очищающая всё кривое и несправедливое, что может встать рядом с нею, – лучший фундамент для грядущей христианской реконкисты.

Чего не хватает Москве для того, чтобы приступить к исполнению этой новой роли? Не материальной мощи и не веры. Постепенно множится вера, и к тому моменту, когда потребуются действие, её станет достаточно.

Нет. Не в том камень преткновения.

Сегодня Порфирородной требуется одно: уничтожить в себе то странное двоедушие, которое раздирает город. Москва-темная, Москва-пустая, Москва-тень должна сгинуть.

Тогда у светлой ее души хватит сил на самую великую миссию.

Приложение 1. Размышления о смене столицы

Нужна ли другая столица?

Я родился и вырос в Москве. Я люблю наш город. Я хочу, чтобы столица России осталась здесь. Если бы нужды страны требовали перенести столицу в другое место, я бы не стал формулировать липовые контраргументы, я бы не стал врать. Да только нет пока оснований.

* * *

Существует две основных причины, по которым столица России должна оставаться в Москве.

Одна из них имеет сугубо *материальную* природу. Государство способно перенести столицу из одного города в другой лишь в те периоды жизни, когда оно буквально купается в деньгах, не первое десятилетие завершает финансовый год с абсолютным профицитом бюджета, забыло о масштабных социальных конфликтах и даже по большому счету о массовых социальных проблемах. Иными словами, когда ему ничто не мешает вволю побеситься с жиру.

В настоящее время Россия как нищий оборванец сидит на паперти в одном башмаке и дырявом рубище. Массовая нищета принимает чудовищные формы – глазам больно!

А теперь представьте себе: люди с самого верха заявляют: *«Мы вводим особую статью бюджетных расходов на перенос столицы. Будет развернута масштабная федеральная программа...»* – и т. п. Разумеется, она будет развернута за счет школ, больниц, за счет госжилья для нищих офицеров, за счет пенсий, за счет зарплат бюджетникам. Потому что

денег придется вбить в оную программу невероятное количество. На административные здания (а, значит, еще и на электроэнергию и водоснабжение). На инфраструктуру. На обеспечение целой армии чиновников пищей, одеждой, дачами, гаражами. Ни один город России, помимо Москвы и Питера, ничем подобным не располагает, и даже переезд столицы в Питер потребовал бы очень значительных финансовых вливаний.

Таким образом, нищий снимет последнее тряпье.

Оно того стоит? Сомневаюсь.

Есть и другой резон, к грешной материи не имеющий никакого отношения. Россия – самостоятельная цивилизация, один из миров Земли, а не часть абстрактного «общечеловечества». Главной ценностью нашей цивилизации – так уж исторически сложилось – является христианство по православному обряду. Москва с XIV века неотменно играет роль центра русского православия. Это не только административная столица России, но прежде всего духовная, сакральная. *И пока православие является несущей конфессией страны, Москва будет оставаться ее сердцем.* В этом смысле Москва – единственная и неповторимая. Собственно, Администрация президента или, скажем, Канцелярия Его Величества, разнообразные приказы, коллегии, министерства и федеральные агентства в идеале должны рассматриваться как административный придаток Православной цивилизации, а не наоборот, как сейчас. Москва – город Патриаршего дома, город многочисленных древних монастырей, святынь, коренных форм нашей культуры, соборов и священномучеников.

Собственно, суперстолица России – Успенский собор в Кремле, место венчания на царство наших государей. Есть ли хотя бы тень необходимости вывести

православный центр из Москвы на Кудыкину гору? Нет. И это, пожалуй, главная причина оставить городу его столичный статус.

* * *

А вот другой аспект все той же проблемы, проблемы мотивации: *до сих пор не прозвучало ни единого серьезного аргумента в пользу переноса столицы из Москвы в иные места.* Разного рода художественные образы, баловство с постмодернистской эстетикой, абстрактные намеки на связь, скажем, Питера с Европой или на существование «геополитических мостов» (Смоленск, Екатеринбург) больше всего напоминают безалкогольную водку: горечь есть, а градус отсутствует. О водочной сущности продукта говорит лишь красивая философская этикетка на бутылке.

Допустим, существует действительно серьезная проблема – крайне слабая связь некоторых регионов с федеральным центром. Речь идет прежде всего о Дальнем Востоке, Восточной Сибири, Кубани, Подонье, Северном Кавказе, а с недавнего времени умные люди беспокоятся даже об Урале. Но перенос столицы в Питер, Екатеринбург, Нижний, Красноярск, Самару или Смоленск ничуть этой проблемы не решит. Если город со столичным статусом «переедет» восточнее, начнут отваливаться западные регионы России, а если южнее, то северо-западные и все те же восточные. Проблема, видимо, состоит в несовершенстве федерального устройства России. Без малого 90 субъектов Федерации, а значит, региональных боссов, правительств, дорогостоящих административных инфраструктур – явный перебор. Сто лет назад Российская империя более эффективно управлялась из 48 губернских и

областных городов при отсутствии современных средств связи и сколько-нибудь разветвленной транспортной сети. И ничего не «отваливалось» аж до Первой мировой войны, разрушившей систему имперского управления.

Видимо, пора задуматься об укрупнении субъектов Федерации, о «выращивании» целого ряда полноценных субстолиц. Если региональных центров станет в два-три раза меньше, у оставшихся автоматически повысится статус и сконцентрируется побольше средств на решение масштабных проектов в местной экономике и культуре. Пропадет необходимость в содержании чудовищной своры местных депутатов, в финансировании бесконечных выборно-перевыборных процессов. Тому же Дальнему Востоку и Российскому Югу несколько полегчает в их небогатой жизни.

Значительная часть прерогатив регионального центра может быть передана центрам районным, а полномочий районных – локальным.

Кому выгодны нынешние претензии к Москве? Кто рвется пересмотреть ее столичный статус? Региональные элиты. И причина их активности ясна: центр занимается перераспределением доходов, заставляя богатые регионы отдавать средства на поддержание жизни в бедных, убыточных субъектах Федерации, на нужды федерального центра. Что собой представляют эти элиты? Да все то же, что и московская региональная или центральная российская. Те же выходцы из бизнес-структур, та же бывшая номенклатура, те же силовики, а местами те же сотрудники «внешних акторов». Ближе они к народной массе регионов, чем элиты, сконцентрированные в Москве? Да ничуть не бывало. Могут ли они лучше управиться не то что с общероссийским хозяйством, а хотя бы со своим собственным, региональным? В большинстве случаев – нет. Хотят ли они *на самом деле*

перетянуть к себе столицу? Кроме питерцев, реально – никто. Ведь в этом случае вся элита федерального уровня пересядет на плечи нижегородцев или, скажем, красноярцев тяжким грузом, да так, что те и крякнуть не успеют, а ошейник-то уже на них...

Так зачем все эти разговоры?

Очень просто: за ними всегда стоит слабо загромированная *угроза сепаратизма*. Сама сущность этой игры несложна: получить от Центра лишний процентик с бюджета, пугая его ряжеными борцами «за отделение», требуя для своего региона особых льгот. Но, допустим, кто-то по безумию и алчности решится взять быка за рога и на самом деле попытается отделиться от России. Допустим, какой-нибудь нефтедобывающий или алмазодобывающий регион. Допустим. Есть ли свидетельства того, что тамошние бонзы сумеют в отсутствие федерального центра обеспечить даже такой уровень государственной безопасности, как сейчас? Даже такое состояние социальной сферы, как сейчас? Анализируя работу регионального руководства в упомянутых субъектах Федерации, никаких положительных доводов на этот счет найти невозможно.

Нижний Новгород как принц-консорт

В 90-х, да и в нулевых было много разговоров о том, что хорошо бы «поменять столицу». Кто-то кивал на Петербург, дескать, «все равно начальство – оттуда», да и «Европа ближе к СПб., чем ко всей остальной России». Кто-то предлагал Красноярск или Новосибирск, желая укрепить соединение восточных и западных регионов титанической державы. Кто-то намекал на Казань – не попробовать бы нам «исламский вариант»? Ну а кому-то мерещилось «идеальное решение»: рассредоточить министерства, госкомитеты, высшие судебные инстанции, командование вооруженными силами и парламентские структуры по разным городам России; тогда все они будут «чуть-чуть столицами», тогда и большие бюджетные деньги перестанут концентрироваться в одном месте, вызывая к нему жаркую ненависть Соединенных Штатов Провинции.

Дабы никого не вводить в заблуждение, стоит сказать сразу: автор этих строк – убежденный противник всех экспериментов с «рокировкой» столицы или же «размыванием» столичного статуса Москвы. Но все же нет ничего дурного в том, чтобы поговорить о «запасных вариантах» для столь большого и столь уязвимого государства, как Россия.

Так вот, герр Питер в расчет не принимается. Не думаю, что приграничный город, притом столь отличный по своим культурным устоям от всей остальной страны, является хорошим кандидатом в столицы. Это ведь сплошное уязвимое место для внешних факторов – как военно-политических, так и культурных.

Я подавно не думаю, что на эту роль годна Казань. В современной России по-настоящему любимы только две веры: православная и атеистическая. Они могут между собой соревноваться и, надеюсь, циркуль будет повержен крестом. Но ислам... О, сделать столицей России исламский город – значит сконцентрировать на нем ненависть всей страны в десятикратном размере по сравнению с нынешним отношением к Москве. И если Москва или иной крупный христианский центр может претендовать на роль столицы мирового православия, то Казань – никогда. А значит, та глобальная роль, роль державы, рехристианизирующей мир, которая еще может быть обретена Россией, уйдет от нее безвозвратно. Страна просто превратится в задворки мусульманской ойкумены, став ареной бесконечных «горячих» конфликтов.

Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург... что там еще? Тоже в общем-то города без давних христианских устоев. И без инфраструктуры, предназначенной для «бремени столицы». Они, конечно, ближе к российскому Востоку, чем Москва, но... подавляющее большинство русских живет все-таки на западе страны, и отрыв столицы от коренных русских земель может превратить ее во вненациональный мегаполис. Зачем? Что от этого выиграет Россия, стоящая пока именно на русской культуре, пусть и скособоченной на советский манер, а затем поверхностно вестернизированной? Да ничего, помимо головной боли.

Вариант все-вокруг-немного-столицы до такой степени оторван от практических надобностей государственного строительства, до такой степени дорогостоящий, что и комментировать-то его нет резона.

Вот и приходишь поневоле к выводу, что «запасные варианты» надо искать среди городов, подобных Москве, но стоящих несколько восточнее (не до такой

степени, как Екатеринбург) или южнее (не до такой степени, как Астрахань или Краснодар), т. е. в пределах «коренной русской зоны» хартленда. Каждый из них должен быть обеспечен мощной инфраструктурой, являться железнодорожным узлом, располагать значительным аэропортом и в то же время быть городом с мощными историческими корнями, растущими из русской православной почвы.

В таких «запасниках» следует видеть принцев-консORTов, принцев крови. Они не могут претендовать на престол, покуда основная ветвь династии способна давать монархов, но если она пресечется, то у них появляются кое-какие права... Ведь в жилах-то течет та же самая царственная кровь! Ведь предки их родились в порфире! Ведь всё в этих персонах – ослабленная, разбавленная модель правящих государей! Так, после пресечения династии Даниловичей – московских Рюриковичей – роль принцев-консORTов привела на престол одного из князей Шуйских (таких же Рюриковичей, только из другой ветви). Шуйские как раз и были при дворе такими принцами-консортами, они имели право по крови своей претендовать на русский трон, когда последний Данилович (Федор Иванович) не дал наследника державе.

Где же эти города-«Шуйские» на карте России? Владимир? Слишком мал и слишком город-музей. Кострома? Маловата. Красавица-Вологда? Слишком далека от осевых магистралей страны. Саратов, Самара, Ярославль? Может быть.

Но, наверное, ближе всего к идеалу – Нижний Новгород. Рожденный в XII веке, он обрел судьбу, намертво связанную с судьбой русского народа и русского православия. Отбивался от татар. Кормился торговлей. Являлся столицей большого княжества. Более того, был одним из двух столичных центров князя Дмитрия Константиновича Суздальско-Нижегородского,

когда тот правил Русью (пусть и недолго). А значит, уже примерял царский венец. В годину Смуты поднял знамя спасения державы. Славен кремлем, по мощи мало уступающим Московскому. Это город храмов и монастырей, щедро разбросанных по холмам и оврагам исторической части. Это город купцов, делавших колоссальные обороты на знаменитых нижегородских ярмарках и пускавших немалую часть заработанного на храмы, на благотворительность, на покровительство искусству. В то же время это город высокоразвитой экономики, крупнейший транспортный узел. Нижний опалён советской эпохой. Он силен был своими секретными заводами и институтами, принимал ссыльных знаменитостей. И к тому же это пятый по населению город в нашей стране.

Иными словами, Нижний – одной крови с Москвой. Он свое нынешнее величие заработал великими трудами. Он вписан в русскую историю, как немногие другие города. Он красив и богат. Он обладает мощным интеллектуалитетом. Он хорош древними обителями своими... И он сдвинут относительно Москвы далеко на восток, ближе к Уралу.

Если России понадобится искать новое сердце, если какая-то беда случится с Москвой, если Третий Рим все-таки расточится, то ничего лучше Нижнего я не вижу.

Но... дай Бог, чтобы ничего с Москвой не случилось.

Приложение 2. Три эссе о Санкт-Петербурге

Реквием офицеру

Что я такое для Питера? Любопытствующий чужак. Что такое Питер для меня? Мой город. Такой же мой, как и вся Россия. Я русский, мне принадлежит вся земля от Смоленска до Курил, все горы и реки, все города и деревни. В этом смысле Питер – мой. Однако родным он мне никогда не был.

Я испытываю к нему уважение, иногда – восхищение, иногда – любовь. Но любовь – вспышками, этот роман противозаконен для обеих сторон. Есть в нем горсть порока, легкая пудра тьмы. Питер для меня – женщина, облаченная в странный наряд: спереди золоченая маска, ниже авангардное декольте и карнавальное платье, все немолодо, но играет, блестит, колыхается, искрит, самоцветы, серебряные нити, черный бархат, голубая орденская лента, нелепая шпага... зачем она, эта шпага? к чему? сзади – совсем другое; глухая рабочая роба «привет метрострою»... Единожды познав дикое сочетание бархата, брезента и увядающего тела, никогда не забудешь его и никогда не научишься верить такой женщине.

Фонтаны... фонтаны... фонтаны... и Новая Голландия, кирпичная функциональная правда. Милая, почти европейская Петропавловка, провинциальная трезиниевская валюта, черный лед Алексеевского равелина, – печальные и прекрасные легенды. А потом угол проспектов Жукова и Захарова, чудовищный жилой халупник, разрисованный вкривь и вкось обкурившимся рэпером. Роскошный Елагин, темные острова воды между протоками земли, изменчивая стихия, смешивающая почву и влагу в подобие каши (ах, если б не гранит, все бы давно расползлось!) и деревенская свалка неподалеку от того же Елагина в

самом центре Петрова архипелага... Роба – правда. Но и карнавальная маска тоже – правда. Как будто некая аристократка по крови, советский человек по дате рождения и мечтательница по зову души весь день кладет шпалы, вечером идет в клуб, выпивает одну кружку пива и оглядывается в поисках норвежского поэта или, еще того лучше, человека в старинном военном мундире... а видит только рыла.

Ты вожделеешь к этому существу, поскольку ему даровано поэтическое сумасшествие. Оно слабее тебя, но лукавее. Пароксизм гордости – заполучить осколок Серебряного века в постель... Оно безумно. Сначала ты думаешь, что ему нужна твоя сила. Это глупость, это ошибка. Просто пока день светел, существо мягко и человекоподобно. Но только ночь падет, и его мучают сказки с привидениями; ты хорош, пока сливаешься с одним из призраков и овеществляешь живую деталь в невидимом для тебя театре. С утра вы снова добрые люди, но только сделай в ночное время шаг навстречу, и увидишь, как холодно безумие, как мало в нем божественного и как много демонического. Если ты способен окружить себя собственной сказкой и найти в ней роль для души Петербурга, тогда любовь к нему перестанет быть вспышкой и обратится в ровно горящее пламя. Тут и до брака недалеко... Но это будет брак двух сумасшедших.

Зачем она тебе нужна? Ради экзотики? Из-за тщеславного желания добраться и до *этого*? Нет, глубинная причина все-таки в другом. Некрасивый, незаконный роман представляет собой канал к иному миру. Ты открываешь для себя территорию, куда трудно пройти иными вратами. Взгляни, запомни, отойди, и благо тебе будет.

Город перенаселен мертвыми. Младший этаж преисподней наполняет его феерически прекрасными жильцами. Их прикосновения холодны. Их руки

рассыпают по мостовым бессмысленные знаки. Философы пытаются прочесть послания ледяных гостей, но в результате сами превращаются в ходячих мертвецов. Дела людей из плоти и крови им безразличны. Если нужна революция – что ж, пусть свершится. Она всего лишь продолжение философии иными средствами.

Лицо Петербурга. Что это? Мосты и дворцы, наверное. Дворцы обещали парадиз по всей России, они вроде несбывшейся мечты, застывшей в мраморе. Дворцы – добрая часть города, слабость города, его мягкое подбрюшье. Дворцы уютны и человеколюбивы. Здесь чужакам дозволено отмякать душой. В других местах душа не должна выходить из состояния тревоги, тут только местным разрешен покой.

Мосты, в стихах воспетые, слезами умиления умытые, лентами восторгов увитые, страшны. Они приближают всех желающих к злу города, к стихии смерти, от которой трещит гранитная распашонка. Вода – проклятие Петербурга. Проклятие настолько привычное, что к нему притерпелись, научились даже полюбивать его, поэтизировать, чуть только не выдавать за благословение. Но сама она от этого добрее не стала. Как и триста лет назад, безжалостна.

Мосты и дворцы. Черное и белое. Злое и доброе. Кладбищенское и житейское. Известный скульптурный портрет Хрущева, наверное, делался не с генсека, а с натурщика по имени Питер.

Я говорил о сумасшедшей поэтессе. Да! Но не оттого ли она так экзальтирована, что ее мучает внутренняя хворь, болезненная и докучливая? Или, может быть, увечье? Когда едешь из центра по бесконечным проспектам на юг, к пролетарским окраинам, кажется, будто перед тобой проплывает археология смерти. До Обводного канала – Петербург, по внешней видимости мертвый. От Обводного

примерно до Нарвской – Петроград. Мертвый. А потом – чистый, беспримесный Ленинград аж до Екатерингофского шоссе и проспекта Ветеранов. Сначала добротный, регулярный, сталинский, а потом сплошной каменный хаос, неопрятное заводское месиво. Мертвее мертвого. Словно надо было вытолкнуть на окраину чудовищную ораву людей и поселить их там любым способом, хотя бы и самым безобразным, да хотя бы и гибельным, только бы не совались в центр... Умом понимаю, что все это чушь собачья, а отделаться от жутковатого впечатления не могу. Нет, живо все это, смерть еще не пришла сюда. Произошло другое, а именно – увечье. Да, увечье, омертвление некоторых тканей, ставших лишними, отяжелившими тело города. Душа города слишком мала и слаба, чтобы из года в год справляться с невыносимой тяжестью его плоти.

Петербург с рождения был мужчиной. Родился под горн мастеровых и солдатских глоток, – отчаянную медь военного времени. Вырос в щеголеватого гвардейского офицера, романтика и пропойцу, просвещенного в определенных пределах и раба своих страстей, если дело доходит до любви или, тем паче, до невыплаты жалованья. Питер транжирил, но делал это с особенной гвардейской лихостью: легко, красиво... Плескал шампанским в чужие сны и бредил дуэлью за час до переворота. Кушал окровавленный ростбиф и отправлялся в Шлиссельбургскую крепость, то ли из-за девок, то ли из-за политики, то ли по пьяному делу. Какое время было! Страусиное перо на треуголке, а не время! А потом загрустил офицер. Ударился в меланхолию, принялся читать морю лунные стихи, одеваться стал артистически, а не по-военному. Словом, впал в декаданс. Тут и сменил его на время обуховский рабочий, дядя серьезный и здоровенький, а потом явился матрос в пулеметных лентах, горбоносый

комиссаришка при кожанке и пенсне, приспел ясноглазый чекист... Персонажи-то все поменьше, но, так или иначе, видные мужчины. Не гвардейский офицер, конечно, нет, у того была порода, у того крепость была и стиль был, никакой эклектики... Но и преемники его давали себя заметить.

Вот легла абсолютным полюсом ужаса блокада. Мне, как не-питерцу, и писать-то о ней грешно. Лучше воздержаться.

Блокадное усилие было столь страшным, что душа города переродилась. Словно на ней сделали хирургическую операцию. Не дали умереть, но со стола отпустили в увечном виде.

У города поменялся пол. Мужское улетучилось. Мужественность исчезла. В 60-х, а может быть еще в 50-х, город стал барышней. Она плавала на катере по каналам и беззвучно шептала стихи, написанные то ли декадентом, то ли самим еще гвардейским офицером. Предок в треуголке и при шпаге является ей во снах как идеальный муж, но никогда не встретится в реальности. На протяжении 70-х и 80-х романтическая барышня превращается в музейную даму. «Вы понимаете, где находитесь? Немедленно наденьте тапочки!» Музеи стали *самыми живыми* местами города. Именно они концентрируют оазисы, где царит душа-женщина, где она по-настоящему сильна! А мужа для нее все нет. И шпага появляется на ее боку, как символ несостоявшегося брака.

С Москвой нелады, Москва ведь тоже женщина, а значит, соперница...

И вот рождается *это*. Со стихотворным бредом в голове, шпалами и маской. Жить рядом с таким существом трудно. Но приехать к нему и заглянуть в глаза нужно. Обязательно. Заглянуть. Хотя бы один раз.

Там – боль.

Город-призрак ищет новый миф

Пока Петербург был столицей, миф о «городе-призраке», холодном, наполненном злой мистикой, существующим на грани исчезновения – когда все каменные громады сгинут, и восторжествует архей чухонского болота – очень ему подходил. Словно пиджак, сшитый на заказ блистательным мастером.

В роли столицы Невский страж был чужой всем. И не только заемной душой своей отпугивал Россию, но и обликом, и чиновной сухостью, и даже ледяным блеском императорского двора. Болотная призрачность питерского мифа, вылепленная истинными умельцами русского слова, оттягивала на себя злость и раздражение, которые могли бы выплеснуться из реальности слов в реальность самой жизни. Вглядываясь в этот миф, образованный русский человек удовлетворенно говорил самому себе: «Ну-с, умные люди думают одинаково...» Паутина слов улавливала протуберанцы отторжения, которыми Русь то и дело выстреливала в сторону полночной столицы. А уловив, растворяла в стихии литературы.

Не диво: миф либо концентрирует любовь, либо концентрирует ненависть. Одно из двух. Но перехваченная любовь затем передается предмету любви многократно умноженной, а ненависть рассеивается в заоблачных высях образов, метафор, концептов: ей не позволено толкать впечатлительных людей на «прямое действие». Причем миф, собирающий любовь, – как у Москвы – не защищает от ярости, злобы, недовольства. А миф, задерживающий ненависть, – как у Питера – никак не стимулирует проявления добрых чувств. Он просто работает в качестве своего рода словесного громоотвода.

Хуже всего, когда мифа вовсе нет. Ведь тогда нет ни позитивного, ни негативного фильтра...

Перестав быть столицей, Питер сделал попытку обзавестись мифом с противоположным знаком. Он начал медленное превращение в «столицу культуры», «плацдарм цивилизованной Европы в варварской России», «город мастеров, где процветает инженерно-техническая мысль» и, конечно, «колыбель революции» (что так нравилось советскому начальству). Иными словами, произошла смена образного ряда, рокировка знака. Попытка в высшей степени удалась.

В 20-х и 30-х годах это было до крайности затруднительно: страшный голод и экономическая слабость города лишили его повседневной суеты, пестроты, мельтешения толп, но... лишили и силы. Город стал чудо как хорош, слегка обветшав, освободившись от многолюдства и предоставив пустынные улицы матовой вате белых ночей; Ходасевич восхищался им; гул жизни исчез, история и архитектура обрели концентрированную четкость графических миниатюр; дома стали каменными драгоценностями – даже те, что были в эпоху стиля модерн дюжинными постройками... И лишь суетливое пролетарское начальство придавало нелепую, судорожную, лозунговую жизнь каменеющему телу города. Ему всё хотелось чего-то рабочереволюционного, октябрюбилейного. А город был слишком чужим, слишком дворцовым и слишком имперским, чтобы незамысловатая краснота выглядела в нем органично. Местные интеллектуалы чувствовали, как витает над мостовыми дух классической старины, слушали дома и дворцы, вещающие о величественном прошлом, видели призраки поэтов пушкинской эпохи, расхаживающих по набережным, ощущали холод безжалостного моря, затопляющего град Петров штыками красногвардейцев и декретами комиссаров, но... сам город в его

целостности видеть перестали. Миф строился. Строительного материала не хватало. Отпылало зарево Великой Отечественной, люди опомнились от губельного удара блокады, город наполнился новым населением и оно – именно оно! – довершило большую культурную работу: новый миф сошел со стапеля. Город плац-парадов, табачных трубок и портовой ржави обернулся меккой для советской интеллигенции. Триумфальный успех!

Став городом-музеем для приезжих, Ленинбург по-прежнему оставался городом-призраком для своих. Как будто в детстве они... то ли получали какое-то темное посвящение, то ли заражались страшной болезнью, и все вместе знали нечто тайное, храня эту тайну от белого света.

Нынешний коренной ленинбуржец редко уходит корнями в чухонский мрамор ниже третьего поколения. Он либо приезжий, либо сын, реже – внук приезжих. Но он приобщился к тайне черных вод, стиснутых гранитом, и он – хранитель знания о древних фантомах, выходящих из иного мира на площади и переулки Северной Пальмиры. С таким знанием он мог удалиться от начальства, смотреть с презрением на начальство, чувствовать, что понимает куда больше в семантике города, нежели начальство, нервно сующееся в дворцовую Ингрию со своей общесоюзной ерундой. И он по большому счету был прав в своей оппозиционности. Ведь такая оппозиционность возвышала культуру города над культурой страны. Сюда ездили «приобщиться к высокому». Вдохнуть классику, взяв по щепоти из серебряных табакерок. Город не столько противостоял стране, сколько возвышался над нею, звал в какой-то прекрасный, неосуществимый мир. Город играл роль утонченной прелести, томившей души приезжих и питавшей души местных. Ужели не прекрасен он был? Кто посетил его в 70-х или 80-х и не

поддался тамошней мистике, чья душа не вострепетала у порогов тайного, тот бревно.

Аккуратный бриллиант Норд в короне дряхлеющей империи был печальным чудом, пусть и не хватало этому чуду прямого солнечного света.

Старичок из Политбюро с натренированными губами брежневского фасона, косноязычный, слегка малоумный от возрастных причин, слегка малограмотный из-за общесоциальных причин, с серпом и молотом в башке и – Эрмитаж. И – новая Голландия. И – арка Генштаба. Как тут не сделаться вольномыслящим интеллектуалом, оппозиционером, притом не из политических причин, а из чистой безгливости? Город-музей строго поджимал губы... поджимал...

А потом страна опять взорвалась.

Вот только... в 90-х Москва присвоила себе всё, забрав среди прочего и титул «столица культуры». В действительной столице так много восстанавливали старину, так вложились в музеи, столько сил и средств отдали театру, литературе, страстям интеллектуальных дискуссий, что питерские дворцы уже не могли это перевесить... Сыграло свою роль и то, что массмедиа концентрируются на Москве, ибо она – центр. А значит, и всякое культурное явление в Москве имеет в пять раз больше шансов оказаться на ТВ-экране, чем ровно то же самое, но питерское... Инженеры и всяческая техника упали в глазах масс неадекватно низко, страшно низко, губительно для страны. И в общей купели падения мертвеющий «северный предел» державы потерял то, что потеряли все.

Революция превратилась для большинства в антиценность. Ныне оппозиция подсчитывает шансы «национальной революции», т. е. революции русских против всех остальных, от чего упаси, Господь. И кабы «невский страж» был русским городом, то именно там новая революция имела бы шанс начаться. Но...

«отпрыск России, на мать не похожий, бледный, худой, евроглазый прохожий» выглядит хуже некуда в качестве центра борьбы за чистоту крови.

Что осталось? Русская Европа? Да в настоящую съездить дешевле станет...

Развеялся тот старый добрый миф. Его уж нет. Нет великого города-музея, есть город музеев. Не осталось города – хранителя тайны, ибо он не столько второй в державе, сколько первый среди провинциалов. Не та роль.

И вдруг повеяло шепотками: «Столичный мундир вернут на Неву... Слышали? Скоро-скоро. Уже приказ подписан. А как же? Главные люди в стране – оттудашные. “Питерские” же всем вертят, да? Понимают». Интеллектуалитет Ингрии воспрянул духом. Миф потребовалось обновить: а ну как и впрямь? Пришло время сделать новую ставку.

И они попытались.

Но как?

Кто-то возмечтал сделаться Ингрией, получить автономию, а еще того лучше – полную независимость. Оказаться не совсем Россией, скорее, форпостом Европейского мира в России, городом-просветителем, городом-педагогом в отношении азиатской темноты, в отношении миллионных толп русских вандалов, живущих к югу и востоку. Более того, осуществлять эту миссию, пребывая в роли еще-одной-страны-Балтии, т. е. за барьером безопасности, внутри НАТО и Шенгенской зоны. Если нельзя, то хотя бы – жить на особых правах культурной автономии, словно какой-нибудь русский Гонконг (В. Шубинский). Но миф «единственного европейца» в России (Д. Коцюбинский), отторгающий город от московской «начальственной азиатчины», это ведь не полноценный миф: слишком уж похож на политехнологический проект. Слишком мало в нем метафизики, слишком беден образный ряд. Он не

собирает любовь и не рассеивает ненависть, а просто демонстрирует страх и презрение.

Что еще?

Какие-то «моги» и «могущества», от коих доброму христианину надо бы держаться подальше (Александр Секацкий). Свободолюбивая питерская интеллигенция примерила на себя восточную эзотерику в особо тяжелой форме, поиграла в Кастанеду, предложила устроить изящный Рагнарёк...

Узок круг того Тимура и его команды. Гораздо интереснее всех этих игр провозглашение Секацким особой «метафизики Петербурга», в рамках которой любой уют, любые материальные ценности стоят ниже ценностей символических, а эти, последние, ставятся выше жизни. Их и защищать следует ценой жизни, если потребуется. А поскольку нынешнее российское начальство, в том числе и те же «питерские», не понимает таких вещей и лезет «благодетельствовать» город, то для Петербурга становится уместной «добровольная блокада». Иначе говоря, осознанная закрытость местного интеллектуалитета от веяний «новой жизни», преобразующей Россию силой розог и денег. Следует отстраниться от властей; покоряться им нельзя; ввязываться в их проекты – недостойно. Пусть вся Россия во главе с Москвой делает, что пожелает, но Петербург не отступит и не переменится. Логика эта – высшей пробы, дай Бог умным людям осажденного Россией Питера ее придерживаться, авось и на осаждающих перескочит. Но... она вся сплошь – логика борьбы. Останется ли от нее хоть что-то, если власти махнут рукой и снимут «осаду»?

Еще есть неуютная постмодернистская эклектика Натальи Галкиной – обыватели барахтаются, барахтаются в чужой магии, отшибая о стены лабиринтов разум и душу. Рядом с СПб., в том же Комарово, под шепот ручья, под грезы о прекрасном

несбыточном покое для образованного человека, под разговоры о том, как хорошо было таким людям, когда они перестали принадлежать империи – хоть на время! – какая у них случилась идиллия («Вилла Рено»). Но когда действие начинает перемещаться в сам город – как в повести «Свеча» из ее же сборника «Хатшепсут», – вновь воцаряется пронизывающий холод, вновь тьма, вновь мелькают тени могущественных надчеловеческих сил. Здесь из реальности улиц и перекрестков слишком просто попасть в реальность царства мертвых. Население града Петрова к сему обстоятельству привыкло. Тут считают себя «больше Европой, чем сама Европа», и в то же время свое пристанище называют заколдованным местом. Называют, кстати, резонно, ибо устами центрального персонажа Галкина со спокойной усталостью вещает о мрачноватых «чудесах» прежней столицы: «Например, существовали кварталы тишины, гасившие звуки, словно бы вымершие, с редкими прохожими, прорехи в огромном неводе городских шумов и звуков. Дома кварталов этих отбрасывали звуковые тени... Имелись целые районы, менявшиеся исподволь со временем, хотя никто в них ничего не перестраивал, ремонтных работ не вел и благоустройством не баловался... Город славился и своими невидимыми капканами и мышеловками, умением запереть человека в собственном доме, или в чужом, или в больнице, – наглухо и надолго...»

«Архипелаг святого Петра» того же автора сделан с гораздо большей нежностью к городу. На основании этой книги, пожалуй, можно говорить о «Петербурге Галкиной». Горсть островов, над которыми витает сонм призраков – исчезнувшего Зимнего сада, снесенного «Подзорного дворца», повешенных декабристов и других всяких многообразных существ, видов, зданий... «Воздушная среда рифм и поцелуев», всё

происходящее как будто заключено в стеклянном шаре, залитом водой, всё невесомо, всё зыбко, повсюду трепещет «мираж фантома». Смельчаки то и дело переступают границу между явью и тонкими планами бытия, прикасаются к мистике воды, в равных пропорциях смешанной с землей. И время от времени им является прекрасный первообраз города – ослепительная, эзотерически-совершенная Северная Пальмира. Город очень хорош, будто специально приспособлен для пленительно-тонкой любовной игры интеллектуалов. Но... очень мал круг людей, способных посмотреть на Петербург очами Натальи Галкиной. Ее плато для любящих друг друга homo ludens слишком изысканно. Оно, в сущности, предназначено избранным одиночкам. От христианства этот мир столь же далек, как и «моги», но хотя бы ему не враждебен.

Или, скажем, «Петербург Андрея Столярова» – писателя, подвизавшегося и на политехнологической ниве: город холодный, мрачный, чудовищно нетерпимый к людям, по всякий день готовый жителям на горе извергнуть из каменных своих недр очередную порцию адского зверья. В романе «Не знает заката» Столяров приводит эту темную стынь к соединению с большой философской пользой: «Город этот... приподнимает человека над повседневностью. Он открывает ему то пространство, в котором рождается собственно бытие, те бескрайние дали, в которых существование преисполняется смысла. Иными словами, он приподнимает завесу вечности. А в вечности человек жить не может. Человек может жить только во времени. Вечность требует от него такого напряжения сил, на которое он, как правило, не способен. Слишком многим приходится для этого жертвовать... Из такого уютного, такого знакомого, такого приветливого воздуха, образованного людьми и вещами, с которыми уже давно свыкся, выходишь в мир,

имеющий странные очертания. Вдруг оказываешься на сквозняке, от которого прошибает озноб. Оказываешься во тьме – еще до сотворения света. Распахиваются бездны, где не видно пределов, кружится голова, стучит кровь в висках, горло стискивает тревога, мешающая дышать». Дескать, тут жить нельзя, но надо, ибо именно тут из преисподней выползают величайшие смыслы мира. И отсюда бы править правительством, поставляя ему те самые смыслы...

Темную мистику русской Ландскроны весьма сильно подпитали книги Наума Синдаловского. Этот неутомимый собиратель мегаполисного фольклора, коллекционер призраков сложил в аккуратные штабеля материал для мифостроительства.

«Прагматичный, придуманный одним человеком в сугубо практических, утилитарных целях не столько для частного проживания в нем, сколько для выполнения общественных, а еще более государственных административных функций и выращенный искусственным путем в некогда безжизненных просторах непроходимых финских болот, – пишет Синдаловский, – Петербург едва ли не с основания превратился в безупречную чиновничью бюрократическую машину, в безотказный, хорошо отлаженный бездушный аппарат по выработке указов, распоряжений, предписаний, инструкций и директив... Но одновременно с этим постоянно сжимающаяся пружина такой всеобщей казенщины провоцировала в общественном сознании и обратную реакцию, которая выкристаллизовывалась во внутреннюю свободу духа и полет фантазии. В истории официальной духовности это в конце концов вылилось в то, что именно Петербург, несмотря на подавляющие признаки казарменности, стал подлинной колыбелью золотого века русской литературы, музыки, живописи, а в неофициальной, народной, низовой культуре – в живом

интересе к городскому фольклору, в том числе к мистическим легендам о городских призраках и привидениях, метафизическая ирреальность которых каким-то невероятным образом уравнивала и облегчала бремя повседневного реального существования... Упоминания об обитателях потустороннего Петербурга в городском фольклоре появились рано. Таинственные рассказы о неожиданном появлении первых городских призраков, безымянных болотных кикимор, чертенят в человеческом образе с рогами и копытами, шепотом передавались из уст в уста. В народе их появление связывалось с пугающими предсказаниями о скором конце Петербурга и потому решительно пресекалось властями».

И вот призраки, бесы, кикиморы решительно полезли из городской канализации, обещая особенную, холодом пронизывающую духовность, погружение в созидательную тьму... Какая тут истина? Одно лишь соблазнительное лукавство.

Эта ставка – худшая из возможных. Сделать из Санкт-Петербурга город-сфинкс нетрудно. Но ведь это опять миф, концентрирующий ненависть, фильтр-негатив. А ижорский гранит еще не короновали, и ненависти к нему нет. Следовательно, улавливать нечего. Любви же такой миф не прибавит: что тут любить? Провалы в ад посреди града Петрова? Подземное царство, со всем тамошним жаром и со всем тамошним холодом любят лишь идиоты, мазохисты и сатанисты. «Черный пес Петербург»? Кабысдох...

И прямо противостоит Петербургу Андрея Столярова иной идеал – нарисованный Анной Ветлугиной в повести «Направление льва» образ «интеллигентного христианства», пробивающегося в СПб. сквозь толщу темных мистических напластований и великой гордыни. Оно не обещает погружений в inferнальное величие. Оно тихо, но взыскательно: требует веры, любви и

труда. Ни в какой миф встроить его невозможно. Скорее, в нем можно увидеть идеальную противомифовую мину.

Совсем иначе, нежели у Столярова, выглядит и «Петербург Елены Хаецкой». Ни холода, ни мрака, ни мрамора, ни гранита. Квартирки, квартальцы, компании милых чудаков, кобель, роющийся в помойке, церковки и люди, принципиально снятые Хаецкой с котурн. Они веселятся и печалются, выдумывают себе приключения и с трудом вылезают из приключений настоящих, горюют от бедности, строят планы на авось, мечтают о лучшем будущем, но не спешат окунуться в лихорадочную деятельность по его приближению. Время от времени не без гордости поминают хипповую молодость, уважают красивые фенечки и бескорыстие, но обратно к «Сайгону» возвращаться не хотят. Они бедны. И если кто-нибудь делается богат, то это скверный человек. Богачи у Хаецкой, как правило, скверны, грязны. А бедность морозит и обдирает бока, но все-таки позволяет оставаться человеком... Они ставят любовь выше всего на свете. Они бродят по улицам и скверам, затопленным туманами, натываются на дома, то всплывающие в нашей реальности, то исчезающие из нее. Могут набрести на пришельцев из иных миров или даже на мистических существ и познакомиться с ними запросто: Петербург Хаецкой не удивляется странным гостям, он сам большой оригинал и великий коллекционер чужих странностей... Он готов миролюбиво и даже с интересом отнестись к любому чудачеству, хотя бы оно произошло и прямо посреди улицы. Петербург Хаецкой – пестрота мелочей, маленьких неправильностей и верных поступков, дающихся немалым трудом. Он сыроват, этот город, но всё же стократ уютнее хоррор-экстрима в исполнении Андрея Столярова и пр. Там, у Хаецкой, теплее.

Вот только в фундамент «столичности» ряд образов, созданных ею, положить невозможно: они и в сумме, и по отдельности бесконечно далеки от «большого стиля». Собственно, Хаяцкая к нему никогда и не стремилась приблизиться, это совсем не ее амплуа. «Петербург Хаяцкой» убрел от начальства, рассеялся по квартирам, дворам, лавкам, конторам маленьких фирм, по приватным компаниям, не очень-то допускающим к себе чужих. Он перестал быть частью Империи, поскольку люди, его населяющие, перестали чувствовать свою принадлежность Империи. Они – сами по себе. Они не умеют ходить строем, рваться к высотам карьеры, верить в предписания, полученные сверху. В Бога – да! Иногда. Но только не в циркуляры.

И это – прекрасный миф для людей с левыми убеждениями. Пронзительно честный и очень локальный. Его будут воспринимать как родное – немногие, его будут любить – некоторые, им будут интересоваться тысячи и тысячи людей. Но он вряд ли когда-нибудь вырастет до размеров образа, воспринимаемого Россией как обобщенная картина града Петрова.

Итак, мимо.

Настоящего сильного мифа у Петербурга сейчас нет. «Добровольная блокада» – самое интересное из всего созданного современными питерскими интеллектуалами. Время покажет, станет ли этот ответ на «вызов извне» новым мифом, если сам вызов потеряет силу.

Но, если не пытаться втащить его на политический Монблан, может, вновь само собой вырастет нечто красивое, способное приковывать к себе души по всей стране.

«Отпрыск России, на мать не похожий...» Санкт-Петербург как символ Империи

С XVIII века в России продолжается диалог двух городов, поочередно носящих державный венец столицы. Москва и Петербург давно привыкли оппонировать друг другу. И в сознании миллионов образованных людей их спор представляет собой символическое противостояние двух периодов русской истории, более того, двух маршрутов исторического развития. Двигаясь от Москвы к Петербургу и обратно, страна выбирала не просто одну из точек на карте, она выбирала себе судьбу.

В 2012 году Россия отметила странную дату – трехсотлетие переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Юбилей праздновался без той роскоши, с какою обставлялись торжества на 300-летие основания города. Фактически, он прошел едва заметно.

Что ж, отсутствие помпезных затей можно понять. Ведь дата эта очень условна: не существует указа Петра I, где бы шла речь о придании новому городу столичного статуса. Переезд важнейших правительственных учреждений тянулся на протяжении многих лет. Начался он приблизительно в 1710 году, а 1712-й отмечен в этом затяжном процессе важной вехой: Москву покинул царский двор и посольства нескольких западноевропейских держав. Здесь же, в недавно основанном портовом центре, постепенно создавались доселе невиданные ведомства. Положение главного правительственного средоточия после серьезных колебаний окончательно утвердилось за

Петербургом лишь в 1730-х годах, при императрице Анне Иоанновне.

Иначе говоря, 1712 год как дата «смены столицы» не то что бы неверная цифра, нет, скорее, почти бессмысленная.

Технические детали неторопливого перетекания властных функций из Москвы в Петербург интересуют ныне лишь узких специалистов по политической истории XVIII века. Тем не менее эфемерное «трехсотлетие» отнюдь не пустой звук. Оно как минимум дает повод для разговора о том историческом периоде, который называют «петербургским».

Город на Неве сыграл роль живого символа для двух столетий в биографии России. Говоря о нем, всегда и неизменно говоришь еще и об Империи. Притом об Империи не столько русской, сколько европейской...

Форпост Европы

Петербург являлся главным плацдармом Европы в России на протяжении трех веков.

Первое время он был – ворота в Европу, прорубленные государем Петром Алексеевичем, искавшим европейской науки, европейской техники, европейских военных специалистов, моряков, инженеров, кораблестроителей. То самое «окно», о котором писал классик, существовало задолго до царя Петра; при нем у России появились именно что морские врата, раскрытые для волн Запада...

Потом Петербург метаморфировал в нечто иное – канал идей, рожденных европейской философией, европейской общественной мыслью и постоянно импортируемых Россией. Порой идей столь разрушительных, что в конечном итоге сам город-канал

жестоко пострадал от вызванного ими революционного взрыва.

Сказать, что петербургское правительство нанимало на русскую службу европейских офицеров, мастеров, людей искусства, – значит ничего не сказать. Без европейского опыта немыслимо было появление российского боевого флота, адмиралтейства, громадных верфей. Без европейских военных людей не устроилась бы российская регулярная армия. Без европейских эстетических исканий невозможно представить сам облик новой столицы.

Лучшие «импортные» архитекторы на протяжении XVIII и значительной части XIX века работали прежде всего в Петербурге и его окрестностях. По большей части творческий потенциал европейцев, а не русских зодчих реализовывался в чудесных дворцовых комплексах императорской столицы. А вместе с нею – в каменных нарядах Петергофа, Ораниенбаума, Стрельны, Царского Села, Гатчины, Павловска...

Лучшие силы нашей науки – за исключением, пожалуй, Университета в Москве – рекрутируются среди европейских специалистов через «петербургский канал» и оседают близ Невы. Деятельность Академии наук на первых стадиях ее существования воздвигалась в основном европейскими умами.

Академия художеств, возникшая в столице Империи при императрице Елизавете Петровне, не могла бы начать работу без европейских преподавателей. Лучших живописцев, выросших в ее стенах, награждали продолжительной поездкой в Европу для совершенствования их мастерства и обретения нового опыта.

Европейские моды в сфере театра, музыки и даже гардероба мощно влияли на русскую жизнь, вырываясь огненными протуберанцами из петербургского гранитного жерла.

От Петербурга исходила всякая политическая инициатива. Все административное устройство Империи – дитя петербургской власти. Создатель града сего, Петр I, отказавшись от старинной русской организации власти – с Боярской думой, приказами, воеводами – основал традицию «примеривания» на Россию европейских идей в сфере государственного строя. Примеряя то коллегии и комиссариаты, то министерства и канцелярию Его Императорского Величества, страна постепенно привыкала к европейским схемам управления, а потом и к европейским формам общественной жизни.

В образе Петербурга, привычном для всей страны, какую деталь ни возьмешь, всё подвешено на гвозде европейства. Сказал когда-то Александр Бенуа: «Петербург угрюм, молчалив, сдержан и корректен. Он располагает к крайней индивидуализации, к выработке чрезвычайного самоопределения, и в то же время (в особенности в сопоставлении с Москвой) в нем живет какой-то европеизм, какое-то тяготение к обществу».

Москва – до того как поднялось могучее московское купечество – могла состязаться с Петербургом лишь в религиозном благочестии, да еще... в пристрастии к европейской философии. Правда, Петербург предпочитал более умеренные варианты западной философской мысли, а Москва бесшабашно тянулась к наиболее радикальным, а то и прямо крамольным.

В граде Петровом благосклонно относились к антиреволюционеру Де Местру и аристократичному националисту Шлегелю. Их идеи были использованы графом Уваровым, соединявшим православие и самодержавие с национальной идеей. Закат XVIII столетия и первые десятилетия следующего века застают на российском троне двух императоров-мистиков. Их интересы дали работу целому сонму

людей, занимавшихся переводами и толкованиями Бёме, Эккартсгаузена и иже с ними. Для православия их труды – нечто чужое, опасное, но для престола – интеллектуальная игра.

Вечно оппозиционная Москва при Екатерине Великой с азартом приветствовала вольтерьянство. Позднее она возлюбила неистового Шиллера, вдоволь насытилась запретным Кантом и особенно Шеллингом, затем поспешно проскочила громоздкого Гегеля. У Шеллинга, много дававшего развитию научной мысли и эстетики, имелись поклонники и популяризаторы в обеих столицах, но особенно его любили в Москве. Московский университет долгое время был главным «гнездовьем» русского шеллингианства. После Шеллинга Белокаменная, ведомая западническими кружками, быстро, с гиком и свистом, как на резвой тройке по заснеженной дороге, понеслась к атеисту Фейербаху и социалисту Сен-Симону.

В XVIII столетии Петербург абсолютно преобладал в роли центра европейского просвещения. Лишь на исходе века несколько изменила картину бурная деятельность перебравшегося в Москву издателя и журналиста Н. И. Новикова, который стал любимцем московской барственой масонерии. А при государе Николае I, во второй четверти XIX века, Москва быстрее столицы осваивает европейские философские веяния: здесь от престола дальше и «присмотра» меньше, а потому общественная мысль с легкостью выписывает самые безумные кренделя. Чем радикальнее очередная европейская интеллектуальная мода, тем быстрее принимают ее в Москве, тем с большим энтузиазмом делают из нее новое «знамя».

Правда, нарастание «европейства» в Москве сопровождалось сохранением и даже отстаиванием допетровской духовной традиции. Москвичи при Екатерине II не дали взорвать родной Кремль и

поставить на его месте темный масонский замок. В Москве родилось славянофильство. Московская жительница Марина Цветаева посвятила городу цикл стихов, наполненных трепетным христианским переживанием.

Гранитный оплот на чухонских болотах имел особенное значение, а следовательно, и честно заслуженный столичный статус, покуда являлся форпостом Европы в России и России в Европе. Покуда он представлял собой зону соединения и взаимного проникновения двух разных миров. Как только длительный русский «эксперимент» по «присвоению» Европы исчерпался, как только вся территория страны стала проницаемой для Европы, герр Питер в качестве столичного центра потерял всякий смысл.

С этой точки зрения возвращение столичного статуса Москве даже несколько запоздало: со второй половины XIX века, со времен «великих реформ» Александра II, Россия – бесспорно по-европейски устроенная страна. Разве только парламент отсутствует – до 1905 года... Империя моментально усваивает все новинки европейской общественной мысли и философии, большая часть образованного класса просто дышит ими! И в конце XIX – начале XX века естественные неудобства пребывания столичного центра в приграничном районе, да еще на окраине коренных русских земель могут быть оправданы – вернее, в большей степени объяснены, нежели оправданы, – одной лишь инерцией прежнего политического развития.

Город, бедный храмами

Петербургская империя – не только вторжение Европы в Россию. Это еще и секуляризация духовной жизни.

Петербургские монархи и петербургские чиновники берут Церковь под полный контроль, лишив ее той относительной независимости, которой она пользовалась в старомосковские времена. Государство лезет корректировать глубинные устои православной жизни, государство презирает и мучает монастыри, государство держит в черном теле приходское духовенство.

На протяжении всего XVIII века и начала XIX христианское просвещение в России влачит самое жалкое существование. Преподаватели в духовных академиях и семинариях по большей части повторяют зады средневековой европейской схоластики, учат по пособиям, возникшим из опыта иных конфессий, иной этики, иной духовной культуры. Богословская мысль надолго застывает.

Прославление новых святых выглядит в глазах администратора, поставленного над Церковью (порою совершенно неверующего человека, масона, а то и прямо атеиста), сущим анахронизмом, делом смешным и ненужным. Канонизация прекращается на небывало долгий срок.

И лишь то, что трудно учесть, вымерять и унифицировать казенному человеку, – старчество – расцветает. А по улицам и проспектам казенной твердыни, Санкт-Петербурга, бродит, юродствуя, святая Ксения в мундире покойного мужа. И люди поклоняются ей, и вся мощь имперского рационализма обтекает ее, поскольку юродство – явление просто немыслимое для новой культуры, его невозможно понять, невозможно стереть или заморозить, а значит, придется допустить.

Петербургская Империя – опыт государственного устройства, при котором резко понижается градус

религиозности, падает авторитет Церкви, христианство выхолащивается до состояния официально признанной этики. Ну а поскольку свято место пусто не бывает, в тени духовной жизни, которые вынужденно покинула Церковь, пришли многочисленные сектанты, мрачный спиритизм и эзотеризм, а вместе с ними воинствующий атеизм.

Город Санкт-Петербург тут ни в чем не виноват. Его создавали как каменный фонтан, из которого высоко вверх бьет струя главенствующего разума, науки, прагматизма. Из него, как из малого истока, вытекла река Империи, где ratio долгое время ставился выше веры и с верою мирился, как с вещью, полезной для казенного интереса, но не более того. Петербург беднее храмами, чем Москва, да и не только она. На единицу площади там было меньшее количество церквей, чем в любом крупном городе коренной Руси. Но ведь каково время, такова и столица!

Ситуация стала коренным образом меняться лишь при последних двух императорах – Александре III и Николае II. Тогда Церковь и православие испытали настоящее возрождение. Дело не только в мировидении и государственной воле двух монархов. Новая общественная сила начала властно вмешиваться в культурную жизнь – русское купечество: Третьяковы, Карзинкины, Перловы... Слово их, подкрепленное миллионными состояниями, звучало очень веско, когда требовалось строить новые храмы и ремонтировать старые, создавать новое искусство – по сути православное, а по форме национальное, русское.

Религиозно-национальное возрождение тех лет очень мало связано с петербургской Империей. Оно, в сущности, представляло собой отклонение от ее магистрального маршрута. И петербургский храм Воскресения Христова на Крови – теплое, нарядное воплощение христианского *чувства* – чужероден для

петербургского ландшафта точно так же, как глубокая религиозность чужеродна для культурного ландшафта имперской казенной рациональности. Проповеди святого Иоанна Кронштадтского звучали в непосредственной близости к «творенью Петра», к ним прислушивалась вся Россия, но особую силу придавал им невероятный контраст: механический мастодонт державной мощи и – живое христианское слово, живая мистика православная.

Культурный раскол

Петербургская Империя – не только европеизация, секулярность и глубокое вмешательство государства во все сферы жизни общества. Это еще и неравномерность, с которой разные сословия принимали новую культуру.

Аристократия и верхние слои дворянства быстро переоделись в европейское платье, стали говорить по-немецки, по-голландски, по-французски и по-английски, поменяли проповедь приходского батюшки на книги Монтескье, Шлегеля, Шеллинга... Вслед за «благородным сословием» в то же плавание отправились люди свободных профессий, разночинцы.

Купечество оказалось гораздо консервативнее, хотя эпоха «великих реформ» расколола и его. Многие русские коммерсанты, принадлежавшие молодому поколению, отказались тогда от патриархального быта отцов. Они быстро и безоглядно сделали русскими европейцами, покинули веру. Но... не меньшее количество молодых людей решили совмещать европейский опыт, европейскую науку с родным семейным укладом, с ролью добрых прихожан. Еще в начале XX века, при звуках рушащихся стен имперского здания, значительная часть русского купечества

сохраняла верность свечке, лампадке, размеренному ритму старинной жизни рода.

Ну а крестьянство и, само собой, духовенство по большей части прочно держались культуры, уходящей корнями в допетровскую эпоху. Мужiku понятен был «служилый человек по отечеству», уходивший драться с поляками, литовцами или татарами, скажем, при царе Алексее Михайловиче. Такой господин верил тою же верой, одевался роскошнее, но чаще всего в платье того же покроя, говорил на том же языке и в быту следовал тем же обычаям, что и его крестьянин. А кто таков барин в парижском сюртучке, бегло общающийся на языке шаромыжников из наполеоновской армии, храм не посещающий принципиально и государю некоторыми службами не служащий? Чучело. Зачем, за какие-такие достоинства платить ему оброк и таскаться на барщину, коли он не воин, не судья, не чиновный человек, а баловень праздный?

Крестьянская бездна и огромный слой духовенства жили одной жизнью, а дворянские сливки общества да мелкая сыпь разночинской корицы на этих сливках – совсем другой. Понимание между ними от поколения к поколению уменьшалось, а чувство общенародного единства к середине XIX века рассеялось безвозвратно.

Финал империи

«Петербургский период» в русской истории безвозвратно ушел под громовые раскаты Гражданской войны.

Советская эпоха, конечно, связана с предшествующим временем генетически. Это всё тот же маршрут движения, считанный с европейских скрижалей. Это всё то же убывание религиозности. И это всё то же огосударствление 95 % жизни общества.

Но все-таки «страна советов» имеет гораздо больше отличий от Российской империи, нежели черт сходства. Разрыв – да, очевиден! А преемственности кот наплакал.

Петербургская эра – время компромисса. Одни качества в обществе постепенно нарастали, другие ослабевали. Но процесс шел весьма медленно, с уходами в сторону, а то и движением вспять. Не оборвись он, как знать, быть может, на очередной стадии компромисса очередное причудливое сочетание старого и нового оказалось бы жизнеспособным...

Советское время компромиссов не любило, в очах его блистал огонь непримиримости. «Кто не с нами – тот против нас!»

Постепенные, количественные изменения сменились бешеным революционным скачком. Ради него пришлось истребить или изгнать всю старую политическую элиту, почти всю церковную и большую часть культурной.

Результат оказался уже, проще, площе чрезвычайно сложного культурного организма Российской империи; качества, присущие петербургской поре, предстали в концентрированном, а вернее, гипертрофированном виде. Европы стало так много, что вышла пере-Европа, от которой Европа настоящая в ужасе отвернулась, как от карикатуры на самое себя.

Соответственно Империя советская, словно гротескная, какая-то мутантная форма жизни и просуществовала в три раза меньше Империи петербургской.

На заре советской жизни Георгий Федотов сформулировал гениальное предвидение: «Чем же может быть теперь Петербург для России? Не все его дворцы опустели, не везде потухла жизнь. Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени насыщенный испарениями человеческой мысли и творчества, что эта

атмосфера не рассеется целые десятилетия... Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла, – Петербург останется надолго обителью русской мысли». Так и было при начале советского времени. Но постепенно многое из культурных достижений прошлого рассеивалось, расточалось, таяло.

Ни теплое золото «Третьего Рима», ни холодновато мерцающее серебро «Северной Пальмиры» не годятся быть символами советской эпохи. Москва оказалась удобнее для столичного первенства, но древний дух ее столь же неродной для СССР, как и ампиный дух Петербурга. Советский век – стальной. Ему и символ подходит соответствующий: то ли Магнитка, то ли колымская колючая проволока.

О Петербурге много говорят как о «культурной столице» России. Смысл, вкладываемый в это словосочетание, связан опять-таки с изначальным предназначением города. Да, из него, как из колодца, Россия насыщалась Европой. И пока Европы в Петербурге было больше, чем где бы то ни было, пока Россия, отыскивая европейскую этику и эстетику, европейское право и европейскую ученость, смотрела на детище Петра как на кафедру, с которой умудренный профессор читал курс евро-поведения, он мог безо всяких оговорок рассматриваться как «культурная столица».

Но в наши-то дни...

Где у нас нынче не Европа? Что ни город-миллионник, что ни областной центр, то всё – Европа. Скорее, правда, советская пере-Европа обернулась позднее недо-Европой, Европёшкой, искривленной, обнищавшей и покосившейся, но образец всюду проступает, образец всюду легко узнаваем: что на Белом море, что на Каспийском, что на Урале... Везде – Европа. И больше всего ее в Москве. В Москве ее так

много, что Великий город уже стонет от перегруженности Европой. Бизнес-центры, казино, супермаркеты – словно каменные волны со стеклопластиковой пеной, со всех сторон накатывающие на острова монастырей, старинных особняков и тихих парков...

Европа превратилась в сочетание большого бизнеса с великими воспоминаниями. Большой бизнес выбрал для себя новый форпост в России – Москву. Ему тут удобнее: ближе к власти, а значит, к деньгам. Ближе к транспортному сердцу страны. Ближе к величайшим банкам России. Какую особенную роль может играть герр Питер для европейского бизнеса? Да никакой. Просто еще один крупный провинциальный город в стране рискованных инвестиций.

А европейские воспоминания касаются прежде всего тех стран, где они дремлют под спудом нынешней суеты. Чтобы ощутить их, надобно ехать в *настоящую* Европу и ходить по музеям, мостам, бульварам, готическим кварталам, барочным дворцам и ренессансным замкам. Петербург с этой точки зрения – огромный прекрасный музей *русской мечты* о Европе, живой памятник долгому процессу, в ходе которого Россия сливалась-сливалась с Европой, да так до конца и не слилась. Петербург, таким образом, перенаселен Европой старой, Европой мертвой, там очень большое поголовье призраков и очень много творчески одаренных людей, с трудом находящих для себя применение. Этот город ныне – великое воспоминание. Прекрасная дымка ампира, сочащаяся из створок сырой, холодной, неуютной раковины...

Но как «пятно Европы» на карте России Петербург ничем, кроме обилия памятных мест, от других «пятен» не отличается.

«Культурной столицей» он больше не является, поскольку статус города-воспоминания слишком

незначителен, чтобы на этой основе СПб. мог венчать себя малой шапкой Мономаха. Петербург – самый большой провинциальный город России, располагающий мощным интеллектуальным потенциалом и богатейшей коллекцией музеев. Ничего сверх названного.

Соревнование двух великих городов завершено. В России ныне одна столица – Москва. Лишь по двум причинам она все еще именуется «младшей сестрой» и «второй столицей» крупный приграничный региональный центр. Во-первых, по старой памяти. Все-таки экзотичная красота Северной Пальмиры завораживает русский глаз и русский ум, а грохочущая биография Империи беспокоит русское сердце. Во-вторых... в правительстве сидит множество выходцев с Невы. Но, если смотреть на вещи здраво, сегодняшний Петербург в лучшем случае «музейная столица» нашей страны, не более того. Нечто вроде Полоцка для Белоруссии.

И образованный класс Петербурга очень хорошо чувствует новые «правила игры». Именно такова причина, по которой там столь сильны настроения, зовущие к автономии, к положению порто-франко, да чуть ли не к государственной самостоятельности... Быть вторыми – несколько досадно, но все-таки почетно. Быть первыми-из-всех-прочих при такой-то истории – унижительно. Следовательно, лучше быть отдельно, наособицу. Иными словами, за пределами общего строя российских городов.

Остались несбыточные мечтания о каком-то «реванше» и... ревность.

Мрак, ужас и всё такое...

Далеко не все потери Петербурга страшны, трагичны, болезненны. Кажется, уходит в прошлое и то,

что играло роль какого-то темного нароста на образе и судьбе города. Сколько таинственных и зловещих слов было сказано в разное время о черной, чуть ли не демонической сути «Петра творенья»! Город-«призрак», город-«морок», город-«мистический колодец»... Особенно постарались литераторы Серебряного века: сколь часто «прозревали» они мрачные выплески преисподней в потаенных уголках императорской столицы, сколь скрупулезно подмечали ужасающие ржавые пятна крови на камнях Северной Пальмиры! С каким сладострастием выкапывали древние проклятия, особенно не разбираясь, какие из них настоящие, а какие – легендарные!

«Быть пусту!»

И холодный ветер завывает на безлюдных набережных в сумеречный час...

Наверное, всего известнее стихотворение Иннокентия Анненского «Петербург»:

...Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.

То, что у классика дано приглушенно, через эмоции, то у поэта с менее громким именем легко сдвигается к мистике. Вот строки Поликсены Соловьевой:

О, город страшный и любимый!
Мне душу пьют твой мрак и тишь.

Но мрачнее всех, наверное, высказалась Зинаида Гиппиус:

Те пятна, ржавые, вкипели,
Их не забыть, не затоптать...
Горит, горит на темном теле
Неугасимая печать!

Как прежде, вьется змей твой медный,
Над змеем стынет медный конь...
И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь, —

Нет! Ты утонешь в тине черной,
Проклятый город, Божий враг!
И червь болотный, червь упорный
Изъест твой каменный костяк!

Ужас! Ужас! Мрак, демонические игры, трагический фатализм, сладкая отравка, темнота, пьющая душу, неугасимые печати и прочая бутафория из театра столетней давности...

Слава Богу, немногие петербургские литераторы всерьез продолжают эту игру. Редкий марафонец на маршруте петербургской темной мистики еще не оставил свой угрюмый забег, еще не сошел с дистанции. Демонизм и прочая хоррор-атрибутика чем дальше, тем больше превращается в предмет индустрии развлечений. Желаящие могут купить билетик на экскурсию по самым «призрачным местам» Петербурга, детям дается скидка! Осторожнее, не подходите близко к месту сему, на нем лежит таинственное и опасное проклятие, и если кто не разглядел, вон оно, обозначено зеленой краской посередине...

Что ж, с таким багажом не жаль расставаться. От города отлетает всё это мрачное «волшебство» и,

может быть, пустующая ниша наполнится иным, не столь унылым содержанием.

Приложение 3. Маленькая родина

Я много раз слышал выражение: «малая родина». Очень уж оно неласковое. Лучше говорить «маленькая родина». Выходит и нежнее, и правдивее. Она, эта самая маленькая родина, встроена в сердцевину личности. Назвать ее – значит объяснить себя.

Что я вспомню, когда буду умирать? Бог весть. Где мои корни? В Евангелии. Кто моя любовь? Иисус и жена Ирина. Звезды над моей душой устоялись. Но какой груз внутри, под палубой ее, в темноте? Где священная земля, на которой выросло то, что я есть? В Москве, наверное.

Впрочем, сказать «в Москве» – ничего не сказать.

Я сделан в СССР. Все верхние этажи моей личности пришлось медленно, но верно перестраивать, меняя знак пятиконечной звезды, всюду проставленный, на знак креста. Но нижние этажи перестроить невозможно. Что есть, то есть. И, пожалуй, не стоит рушить: там ведь неплохой, прочный фундамент, к чему расковыривать его? Мне лишь хотелось бы знать, где его краеугольные камни, что они такое, чему суждено остаться, если некто произведет со мной злой эксперимент и вырежет из моей памяти все до самого основания. Вот задача: увидеть *самое основание*, назвать его, почувствовать его.

* * *

Я помню много добрых мест. Деревянный домик бабы Пани – моей родни по линии матери – недалеко от

железнодорожной станции Баковка в Московской области. Грядки с зеленью и клубникой, дубовая роща, величаво возвышавшаяся над помойками, сельская плотина и речушка-малютка, спеленутая болотцами, косыми дачными заборами, дощатыми мостками, сараюшками, мелкой ржавью, там и сям торчащей из воды... Огромный деревянный барак, сто лет ему в обед, изображал в пору моего детства вокзал, за ним торговали всякой мелочью, например керосином для старых ламп и для кухонной горелки, заменявшей тогда газовую плиту, да еще мармеладом в форме зверюшек.

Перед станцией собралась в кучку вся поселковая культура. Кирпичная двухэтажная аптека: там в летние месяцы всегда бывало прохладно, а в воздухе висел угрожающе-резкий травяной запах, я никогда не чуял его в других аптеках... Нарядный ларек «Союзпечать» работал по неведомому графику, а потом и вовсе опустел, зачах. Неопрятным, бесшабашным «Продтоварам» противостояли через улицу приземистые, но горделивые «Культ товары». Бабульки, затевавшие вечерами покarteжничать, наизусть знали, какое пятно на какой девятке и какой угол у какой дамы оторван. Время от времени они намеревались идти в «Культтовары» за очередной колодой, да все откладывали. Голосистые, языкатые, любили они детвору и норовили кого-нибудь из нас ухватить за плечо, потрепать за ухо, пригладить волосы и при этом довольно взгыкнуть: ова, мол, бродят! а! бродят, видишь ты... мелочь пузатая! Каждая бабулька – характер. Самая тихая и какая-то кроткая, не от мира сего, была как раз моя баба Паня. Она спокойным своим нравом гасила взбрыки товарок. Трудолюбивый и независимый человек, баба Паня не любила лишнего шума. Другая бабулька, тощая, задиристая коза, вечно совалась в чужие карты, а когда ее подглядывание встречало отпор, заливалась мелким обидным

хохотком: «А што я? Да ништо я. Да иди ты. Да отстань ты. Лучче вон ходи давай!» Могла сказануть и что-нибудь въедливое. Зуб у нее был вроде бы золотой, улыбалась она криво, но очень заразительно, и всем своим видом вызывала мысли о шпане, то ли, может быть, о хитрых вороватых цыганах. Третья бабулька – поосанистей, черноволосая, раскосая, из татарвы, смеялась всем телом, тяжкие складки колыхались, голос извлекал из старушечьего нутра бульканья и переливы. Эта отличалась хитростью, выигрывала она, кажется, больше всех, и за это ее любили и уважали меньше всех. Татаровистая обожала пропустить о ком-нибудь сплетенку посолонее, а рассказав, подмигнуть: вона я чего знаю! Наконец, четвертая, немногословная, суровая, старше прочих. Совиное у нее было лицо, тяжелое, расточенное морщинами во всех направлениях. Глядела четвертая бабулька исподлобья, шуточки и сплетенки не уважала, проигрыш и выигрыш принимала равнодушно. Говорила она реже остальных, но раскрыв рот, могла припечатать основательно и резко. Ее чуть побаивались и уважали. Ходила совиноликая с клюкой, медленно, с трудом переставляя тумбы отекавших ног. Тогда я не понимал этого, не мог понять, но вспоминая ту пору, теперь скажу с уверенностью: печать близкой смерти давала ей незримую власть над остальными... А впрочем, многолетний их подкидной или, если наскучит, переводной, хлесткие падения карт на серый от времени деревянный столик во дворе, бульканье татарки, хохот козы, суровые взоры совиноликой, негромкий правильный говорок бабы Пани – ничего злого и темного в себе не несли. Жизнь обошлась с бабульками по-разному, но без особой ласки; наверное, прежде, годков с полста назад, могли бы они стать соперницами, а теперь дряхлость урядила их гоноры, посадила их рядом и мудро устроила маленький мирок. «Бабульник» заражал тупичок из четырех-пяти домов

тихой веселостью и даже азартом. Он неведомым образом упорядочивал местную жизнь, подвывая к ней ребятню, заезжих взрослых, соседских алкоголиков, неудачливых погорельцев, хорошую колбасу, каковую продавали на Сетуни, хвори, свадьбы, ремонты, расписание электричек и грядущие праздники...

Вероятно, с тех пор я чувствую тягу к местам тихим, к покою, к деревьям над головой, к маленьким домикам. Я мегаполисный житель и к гигантскому вареву городской суеты привык. Роение толп нimalo не стесняет меня. Напротив, на пустынных улочках райцентров я чувствую себя несколько не в своей тарелке... Но Тихое Место давным-давно пленило мою душу, мне кажется, что покой выше, правильнее, что там следовало бы укрыться от неуютной нашей жизни с ее некрасивыми угрозами и ненужными волнениями. Скорее всего, на старости лет я отыщу свою Баковку...

Я вырос в то время, когда большие города расширялись слишком быстро, да и забрали себе слишком много власти. Жизнь наша не тиха. И в этом заключается ее внутренняя болезнь, медленно подтачивающая силы общества. Хаотическое беспокойство мегаполиса запросто превращает человека в нервное, раздраженное, издерганное существо. Большой город всегда недобр. Но я хотя бы знаю, куда бежать, я знаю, что вообще бежать можно и нужно. Пусть ненадолго. Состояться можно только в мегаполисе, иначе в наши дни не бывает. Однако время от времени следует покидать эту среду и лечиться от нее.

* * *

Еще я помню бесконечные кавказские заставы и военные городки, где прошла солидная часть моего

детства. Гильзы, газики, стрельбы, огромные овчарки, дозорные вышки, грибы синявки, и впрямь жутковато синевшие на изломе, но вполне съедобные, грибы берестянки – точь-в-точь поганое семя, но по вкусу напоминавшие курятину, плацы, часовые с автоматами... почему каждый третий из них спешил поведать мне, что некий прапорщик Вдовченко – гнида? Часовым, как я потом узнал, запрещено болтать на посту, но прапорщицкие свойства волновали многих и всерьез. Особенно мне запомнилась 16-я застава в маленьком южном городе Туапсе. Она стояла на горке, и вела к ней витая улица, а выше, еще за парой поворотов, в память о войне поставлена была старая зеленая пушка, наверное зенитная. Пушка меня тогда очень занимала. При входе на заставу росла алыча, в положенный срок осыпавшая землю крупными желтыми каплями. За алычой простирался плац, расписанный белыми линиями для строевых упражнений, тут же, рядышком – турник, брусья и прочая спортивная прелесть, поставленная на мощный слой опилок. В опилках заводились жуки, и, Боже мой, какая прелесть была изловить бронзовку, или темно-синюю прекрасную жужелицу, или даже царственного жука-носорога! Теплыми летними ночами над плацем носились светлячки, а мы, внизу, со всей прытью бегали за маленькими огоньками. Отчего они, крохотные мерзавцы, так редко давались в руки? С одной стороны плаца были склады, обсаженные каштанами и кипарисами, с другой – унылая двухэтажная казарма, с третьей – двойной ряд тополей, в ветвях которых упоительно верещали цикады. Одну я поймал, и мне все завидовали.

На углу стояли маленькие офицерские домики. Мы, например, жили в бывшей конюшне, пол там был, кажется, каменный, а перед окном жила в будке сердитая, но нешумная псина охотничьей породы. За

тополями – автопарк, боксы с грузовиками, обшарпанный туалет, стены которого украшены были закорючками и страшноватыми узорами, оставленными – Бог весть как! – насекомыми. Еще в автопарке была мойка и столы для разборки-сборки автоматов. Оружие с детства оказалось столь близким, что впоследствии я не испытывал от него никакого мальчишеского трепета и восторга. Автомат – штука для патронов и стрельбы, ничего волшебного... Рядом с боксами жил легендарный Вдовченко с семьей и всякого рода скотиной. Не помню его жену, зато помню дочь Галю, темноволосую, с черными вишнями глаз, очень серьезную.

Кроме жены и Гали прапорщик обзавелся курями, и наглый петел, гуляя по двору, неизменно норовил тюкнуть зазевавшегося недотепу в ногу. С особой страстью клювачий гад охотился за женщинами, – их-то икры и щиколотки не были укрыты форменными штанами и сапогами... Курей охранял серый цепной барбос, злой и способный к оглушительному залиvistому лаю. Барбос напоминал старое мочало, из нижней челюсти его росла бесформенная клочковатая борода, придававшая морде нечто козлиное. Фирменный лай барбос неизменно предварял устрашающим хрюканьем, будто оперный певец, за минуту до выхода на сцену пожелавший одновременно прочистить нос и горло. Полагаю, такое животное вполне могло самозародиться в картофельных очистках. Некоторые шутники сравнивали характер барбоса с характером прапорщика, находя множество сходных черт...

От парка вверх, к зарослям ежевики, вела маленькая тропинка, и у самых ежевичных кустов лежала старая лодка. Уж и не знаю, кто ее туда и зачем приволок – так далеко от моря.

У торца казармы неведомый военный архитектор воздвиг небольшой обелиск с советским гербом. Точнее,

не обелиск, а... не знаю, как правильно назвать. Каменная штука о четырех углах: два внизу, там, где камень входит в асфальт, а два вверху, они поставлены косо: один выше другого. Не знаю, что символизирует эта фигура, – то ли знамя, то ли пламя, но по идее тут располагалось торжественное место заставы. Рядом – металлическая штанга с флагоподъемником. Родители не преминули сфотографировать меня у обелиска с игрушечным автоматом в руках. Сбоку от меня на фотографии – препротивная девчонка. Звали ее Аленкой, а больше я о ней ничего не помню.

Этот военный мирок – от алычи до старой лодки – я очень любил и до сих пор вспоминаю его с радостью. Отец, офицер-пограничник, вытащил меня в Туапсе на дозорную вышку. Он же где-то в тех местах научил меня плавать. Сначала с ластами, а потом просто так... Отец вообще выделялся фигурой титанической. Он лазал по горам с парнями в зеленых фуражках, ловил нарушителей, командовал солдатами на учениях и даже получил там, при каком-то неудачном взрыве, осколок в руку. Словом, героическая личность. Сейчас, когда прошло столько лет, взгляд, брошенный назад, картину эту не портит. И впрямь, отец как минимум служил честно, себя не жалел и бойцами не помыкал.

Я знаю жизнь военных городков изнутри, а в 87–89-м годах и сам служил срочную. Грязи и глупости мне там встретилось – ковшом не вычерпать. Но бытие было упорядочено на свой армейский манер, людей умных, добрых, знающих свое дело хватало, да и работала милитарная машина как надо, она была готова при необходимости дать сдачи басурману. Я жил в СССР в так называемую «застойную эпоху», во времена «поздней империи». Была ли она средоточием тупости, нетерпимости, безделья, уголовщины, очередей, солдафонщины? Да и нет. Советский средний класс жил небогато, но комфортно. Очень многое искупал дух

компанейства, все были для всех своими, враждебность не витала в воздухе. И еще одно. Ощущение страшное, неприятное, но оно вернее всего соответствует правде факта: кажется, люди знали больше, с ними было о чем поговорить. Эпоха умных разговоров давно минула, теперь и следов ее не сыскать, общение стало проще, прагматичнее... тупее. Культ книги пропал в конце 90-х. Катастрофы в этом нет, возможно, он принял несколько гипертрофированное обличье в последние советские десятилетия. Хуже другое: культ видео, мультимедиа и TV оказался безобразнее, идиотичнее. И он не плодит умных людей, скорее напротив.

Разумеется, у всех в котятстве вода была водянистее, масло маслянистее, а дерево деревяннее. Я не исключение. Да, дерево было определенно деревяннее, куда нынешнему дереву до того! Сделав такую оговорку, все-таки скажу: да почиет Союз в мире. Уютная была колыбель. В 70-х – 80-х, если только не раньше, СССР дожил до состояния довольно сносного жилья. Относительно благоустроился. И только-только это произошло, как грянул 91-й год. Обидно. Наверное, не позднему Союзу высшие силы вынесли приговор, не столь уж он был плох. Просто в годы с 17-го по 41-й моя земля отяжелела от проклятий и беззакония; последующие десятилетия добавляли в страшную копилку понемногу, тьма прибывала медленно; но еще в «былинных» 30-х «выбран» был слишком большой объем, до критической массы оставалось совсем чуть-чуть. В 91-м капнули последние капельки, и небесный счет переполнился. Грехи прадедов пали в жизни земной на головы правнуков... Ничего политического я не вижу в крахе советской империи, одну только мистику. Что ж, если захотел так Господь, значит, в крушении страны моего детства было милосердие и благо, была справедливость и забота. Следует и за это благодарить Его.

Как знать, не сыграла ли трагедия 91-го роль меньшего зла? Россия хлебнула разора и предательства, но не уберег ли ее Высший Судия от судьбы еще горшей?

* * *

Однако истинная моя маленькая родина – не южные заставы, а Москва. И я точно знаю, в каком кусочке Города бросило якорь мое сердце.

Это дворик, принадлежащий дому 34 по Хорошевскому шоссе, – как домен принадлежит королю, или как дачному коттеджу принадлежит весь участок с дорожками, садом, сараями и гамаком...

А сам я – имущество дворика. По-прежнему.

Чистотой наш дворик никогда не отличался. Иное и невозможно, когда в доме два пахучих магазина: гастроном и винный. Причем гастроном пахуч сам по себе, в силу наличия рыбного отдела, который то и дело норовит оставить бочечку-другую-третью с рассолом во дворе или выплеснуть наружу какую-нибудь пакость. А винный... О, винный – это целая песня. Отстояв очередь, страждущие искали место для уединения и чаще всего находили тенистый уголок во дворе. Там и кучковались. Но особенно настырные лезли в подъезд, надирались до невнятного блеяния, а то и укладывались на ночевку. Они бескорыстно оставляли нам следы своего пребывания: кучки, лужи, содержимое своих желудков. Напротив нас жил вечный завсегдатай винного мелкий уголовник Володя Порутин. Этот во хмелю бывал буен, ловил Белую Горячку за локотки, словно девицу красную, хрипел, ревел, топотал, а разок попытался разнести нашу дверь топором...

Нет, не люблю я Веню Ерофеева. Увольте.

К винному прилагался приемный пункт стеклотары, то бишь неровно сбитый барак, где водились очереди поувесистее незамысловатых водочных.

Не сказать, чтобы дворик выделялся особенной красотой. Да нет, двор как двор, половина Москвы состояла из таких. Неровный, весь в буграх и промоинах асфальт, разломанный бордюрик, помойные контейнеры с целой армией голубей сверху, снизу, повсюду... Редкие – тогда еще редкие – автомобили. Песочница. Две зеленых скамейки с загнутой назад спинкой, грязные зимой и летом, – на них решались присесть, только если находилась подстилка. Убийственно скрипучие сварные качели. Местные добры молодцы любили показать свою силу именно на качелях: оторвать сидение, узлом завязать металлические стержни... Не перевелись же еще богатыри без страха и упрека! С двух сторон двор был огорожен бетонным забором. За забором проходила заводская железнодорожная ветка, тянувшаяся в силикатные джунгли столичной промышленности. Рядом с нею издавало негромкое, но постоянное гудение какое-то закрытое предприятие, как потом выяснилось, – типография. Разумеется, добрые люди проделали в бетонном заборе дыру, и все попытки залатать ее народная мудрость совершенно отвергала. С третьей стороны высился наш дом, бесхитростная пятиэтажная хрущоба о двух подвалах и трех подъездах.

Ощущение неустройства сглаживали деревья. Весь двор был довольно густо засажен тополями, липами, были там и ясени. Впрочем, я, мегаполисный житель, знать не знал, где там ясень, а где тополь, меня это вообще не интересовало. Кусты и траву я называл кустами и травой, нисколько не смущаясь различиями их внешнего вида. До уроков биологии я не ведал имен растений, даже самых распространенных, да и там бы

не запомнил их, если бы мать, сама преподаватель биологии, с редким упорством не вбивала мне в голову судьбоносные отличия сурепки от пастушьей сумки... Ближнюю к выезду и среднюю часть двора изрядно вытоптали, но на задах бетонный забор образовывал подобие кармана, довольно обширного, и там сохранился настоящий маленький лесок. Малышня обожала забираться в самые дебри и там играть. В летние месяцы двор выглядел живописно и умиротворенно, листва шумела над головами, зелень закрывала соседние дома. Старушки выводили своих тявок на многочасовые прогулки и досаждали детской банде придирками и речениями о вреде всего. Высоко над землей гнездились вороны и голуби. Наверное, там обитали и воробьи, но их гнездышек снизу не различил бы, наверное, ни Чингачгук, ни Соколиный Глаз. Голуби вели себя тихо, а вороны – нагло. Рано утром самая громогласная ворона начинала перекличку.

– Ка-а-арр?

Молчание.

– Ка-а-а-а-аррр?!

Молчание.

– Каа-а-а-а-арррррр!!

И в конце ее вопля слышался еще обиженный клекот. Его никакими буквами изобразить невозможно, поскольку человеческое горло этот вороний звук не способно воспроизвести.

– Кар-кар! – бодро отвечали ей.

– Кар-кар! – пробуждалась очередная мерзавка.

– Карр-каррр! – подавал голос серьезный мужчина.

– Каракакаракарра! – вмешивалась какая-то затейница...

Далее в течение пятнадцати минут карканье плескалось над землей неудержимым потоком. Наконец, финальное:

– Карrrrrrr? – мол, все прочистили глотку? все на посту?

– Кар... – кто-то вяло ставил точку.

Все. Перекличка окончена. Дальше весь дворовый экипаж каркал в конвенционных пределах до самого вечера.

То ли дело голуби! Тихонько кружили по асфальту в любовных танцах, мурлыкали друг другу бургерские шлагеры вполголоса... Неугомонные.

По соседству с нашим двориком громоздилась череда ржавых гаражей. За ними скрывался пустырек, заросший высокой травой и с неизменными качелями посередине. Вообще, Москва строилась привольно и никогда не знала слов «не хватает места», ибо места всегда хватало. Леса, луга, деревушки, реки и приречные грязи пронизывались дорогами, а большое начальство потом «обсаживало» эти дороги жилыми районами. Междорожья подолгу пустовали. Десятилетиями. Чуть ли не веками. Здесь никогда не сэкономили пространство, его в любое время можно было отрезать от пустошей, как отрезают маленький кусочек от огромного семейного пирога. Да и теперь еще кое-что осталось – на окраинах... Хорошевка – не центр, но и не примкадные дебренья. Ее в 40-х годах обстраивали «трофейными» двухэтажными домиками пленные немцы. От тех домов почти ничего не осталось, разве что ресторан «Бибигон» у станции метро «Беговая». В 50-60-х здесь понаставили хрущовок да брежневок самого простого разбора и во множестве расселили военных. Я помню 70-е. Тогда это была полуосвоенная земля, и наш зеленый пустырек не мог претендовать на роль какого-то исключения. «Белых пятен», а вернее пятен зеленых, песчаных, глинистых, там оставалось еще достаточно.

За пустырьком начиналось геометрически правильное царство военных: Таманская дивизия,

редакция журнала «Советский воин», городок для офицерских семей. Там, в военном городке, дворы были чище и благоустроеннее нашего. Зелень, тишь, низенькие ограды у газонов, памятник неизвестным оленям или еще какое-нибудь скульптурное баловство в середине каждого из них. Потом, когда я сам служил, задним числом додумался: какая немереная сила по части наведения порядка и мусороуборочных работ – безответный солдатик! По сравнению с военными дворами наш был дик и непричесан. Как грязный бродяга рядом с ухоженным семьянином. Но мне до того и дела было мало, я не задумывался, что тут к чему и почему. Какое диво досталось, к такому сердцу и приросло.

Что ж мы делали тогда? После уроков? Да маялись дурью на всю катушку, но казалось, будто занимаемся значительными делами. Играли в банку, или, иначе, вальта – беспородную версию городков. Зимой ставили снежные форты и бились до разбивания кому-нибудь морды ледяной глыбкой, слегка облепленной для порядку снегом. Катались на досках с ледяной горки, сажая в юные задницы дюймовые занозы. Плавил свинец. О, дворовая металлургия пользовалась в нашем кругу большой популярностью. Где мы отыскивали какие-то, прости Господи, до сих пор не пойму, потрошенные аккумуляторы? А не помню. Вытаскивали оттуда свинцовые сеточки, отбивали о камень мусор, шлак, а потом разводили костерок и над ним ставили консервную банку, накормленную комом из смятых сеточек. Серые некрасивые шмотья понемногу превращались в соблазнительно поблескивающую жидкую массу. Ее разливали по квадратным формочкам на крышке канализационного люка. Полученные толстенькие квадратики ни на что не годились, но получили у нас хождение в качестве твердой дворовой валюты. Впоследствии, разумеется, мы от простых форм

отошли и стали делать нечто поинтереснее. Например, приятно ложившиеся в ладонь стержни, заостренные с одной или двух сторон. Такой свинчаткой запросто можно было раскроить кому-нибудь череп, и осознание этого грело детские сердца. Очень грело.

Что такое поджига, мы не знали. Говорят, сразу за МКАД начиналась держава людей просвещенных, и там подобную пакость мог изготовить каждый шкет. Будто бы. Мы же в лучшем случае доходили до самострелов с прищепочным механизмом и стрелами с пятисантиметровым гвоздем вместо наконечника.

Конечно, в 70-х я был мальчишкой, мальком, шпингалетиной. Но уже тогда чувствовал: мне во всем этом не хватает... не хватает... уж и не знаю чего. Смысла, вероятно. Или красоты. Тогда я мог уловить недостаточность бытия лишь на подсознательном уровне и совершенно не способен был выразить ее в словах. Нет какой-то очень важной составляющей, а какой и где ее искать – Бог весть. В шесть или семь лет я понял, что когда-нибудь умру. Ради чего я умру, почему жизнь мою стоит считать ценной? Откуда взяться в ней ценности, если все прозрачно, и ничего высокого не видно?

И я принялся отыскивать смысл и ценность в иных временах. Прежде всего, в старинных войнах. К книгам меня приохотила мать, она ловко подсунула мне именно то, в чем я нуждался: томик из собрания сочинений Стивенсона с романами «Остров сокровищ» и «Черная стрела». А потом «Белый отряд» Конан Дойла. С тех пор я болею треуголками, шпагами, плюмажами, средневековым рыцарством. Там я почувствовал высоту. Да еще в наших русских дружинах, насколько в возрасте семи или восьми лет можно увидеть смысл их героической борьбы на примере фильма «Александр Невский».

В старине содержалось нечто впоследствии утраченное и очень мне необходимое.

Видимо, то же самое подсознательно улавливали многие. Не было в 70-х никаких ролевых игр. Даже в зародыше. Но луки, пластиковые мечи и фанерные щиты с древними гербами уже существовали. И, когда верховодил кто-нибудь поначитаннее, на нашем пустырьке за гаражами разыгрывалась пышная батальная драма. Например, «Римская империя». Или «Средневековье». Звучали сладкие слова «консул», «претор», «лумарий», «граф», «герцог», «шевалье». Разок были даже «оберсты» со «штурмбаннфюрерами». Узнал бы кто, и сделали бы из школьной пионерской организации мешочек с сухофруктами... Не знаю, откуда это взялось: то ли фильм «Семнадцать мгновений весны» разделил немцев на красивых костюмных героев и бесноватых уродов, которые ранили моего деда на фронте, то ли кто-то из парней прочитал нечто далекое от учебника. Не знаю. Но было.

На красивую игру тянуло многих. Значит, многие чувствовали недостаточность бытия. Уж больно невнятной оказалась эстетика нашего времени. А если эстетика бледна, значит, стерлась сущность вещей, логика, скрепляющая мир...

Когда ты обрезком ржавой водопроводной трубы (она же викингская булава) мнешь графскую корону из жести, косо прибитую к чужому щиту, ты, конечно, находишься в лопуховых зарослях недалеко от дома, но... в другой цивилизации. И там тебе лучше.

Я не хотел *уходить туда*. Наверное, *никто из нас* не хотел уходить туда. Мы не были эскапистами. Напротив, в голове крепко засело: надо нечто изменить в здесь-и-сейчас; у нас, в Москве, должны появиться треуголки, рыцарство, дружины, плюмажи и какой-то неформулируемый устами ребенка дух, сопутствующий всей этой бижутерии. Взрослые люди продолжают свои

детские игры, но всерьез. 90-е отдалили меня от моей мечты, но зато подсказали *формулировку*. Будет крест, будет и рыцарь...

Есть за что драться.

* * *

Моя Москва – маленькая, а не величаяя, не историческая. Моя Москва – тополя, голуби, скрипучие качели, пустырьки, заборы с дырками, гаражи, скудные рощицы на задворках. Высокую красоту Города я открыл для себя только в зрелом возрасте. Переменилось время, переменилась и моя жизнь. Лет в тридцать, может быть, я начал понимать, что есть в Городе нечто помимо кубических монолитов власти, опошленного Кремля и моего двора, размноженного в тысячах вариаций. Только тогда я дорос до Москвы во всем ее великолепии, славе и силе. Но дворик... ах, дворик. Он укоренен во мне глубже всего, прочнее всего. Когда буду отдавать Богу душу, наверное, вспомню его.

Что ж я такое в самой основе? Заглядываешь внутрь и видишь там стопку старых фотографий. У СССР приглушенные цвета. Кора тополя по гамме больше всего подходит для 60-х – 80-х... Страна, кажется, состояла тогда из мириад неустроенных, но уютных осколков. Она еще не разбилась, но уже покрыта была меленькой сетью трещин. Именно трещины задавали эстетику повседневности. Никакого единства. Колоссальная выставка мелочей, фрагментов, эпизодов, ограниченных пространств, деталей, миниатюр – то пугающих, то милых. Вот и я сам вроде пригоршни безделушек. Дитя баковского халупника, туапсинского плаца, хорошевского двора... и «Острова сокровищ» к ним в придачу.

Ну и ладно. По нынешним временам – добротная конструкция.



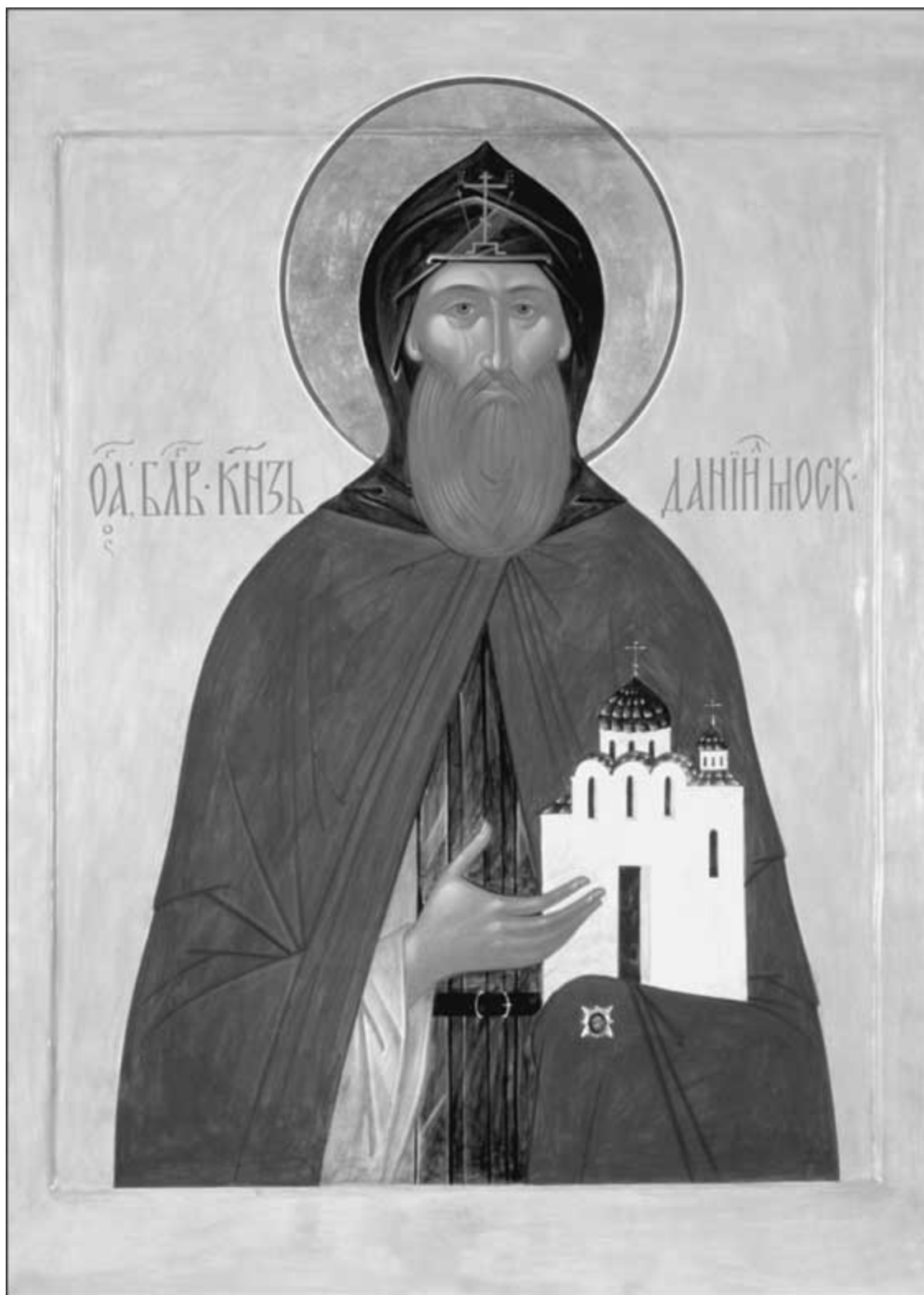
Основание Москвы. Постройка новых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году. Художник А. М. Васнецов



Московский Кремль при Иване Калите. Художник
А. М. Васнецов



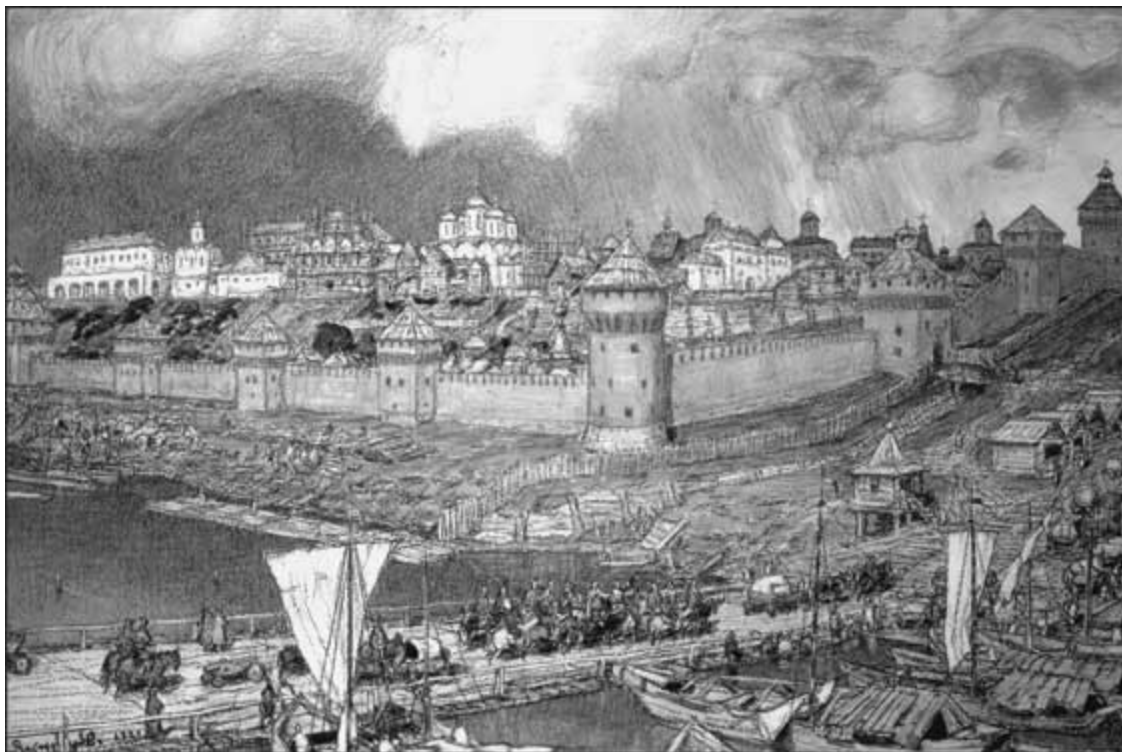
Памятник Юрию Долгорукому в Москве. Скульпторы
С. М. Орлов, А. П. Антропов, Н. Л. Штамм



Святой благоверный князь Даниил Московский.
Икона



Всадник с соколом. Изображение с московских монет и печатей кон. XIV – нач. XV в. Один из древнейших символов Москвы



Московский Кремль при Иване III. Художник
А. М. Васнецов



Изразцы на барабанах под главками храма Григория
Неокесарийского. Фото Д. М. Володихина



Изразцы храма Григория Неокесарийского. Фото
Д. М. Володихина



Церковь Рождества Богородицы в Путинках. Фото
Д. М. Володихина



Храм Троицы в Никитниках. Фото Д. М. Володихина



Резной декор церкви Рождества Богородицы в Путинках. Фото Д. М. Володихина



Резной декор храма Троицы в Никитниках. Фото
Д. М. Володихина



Пенный декор Воскресенского храма в Кадашах.
Фото Д. М. Володина



А. С. Хомяков. Автопортрет



Елоховский собор. Фото Д. М. Володина



Купола Елоховского собора. Фото Д. М. Володина



Покровский собор Марфо-Мариинской обители



В. Я. Брюсов. Художник С. В. Малютин



М. И. Цветаева



Андрей Белый



С. А. Есенин



На Хитровом рынке



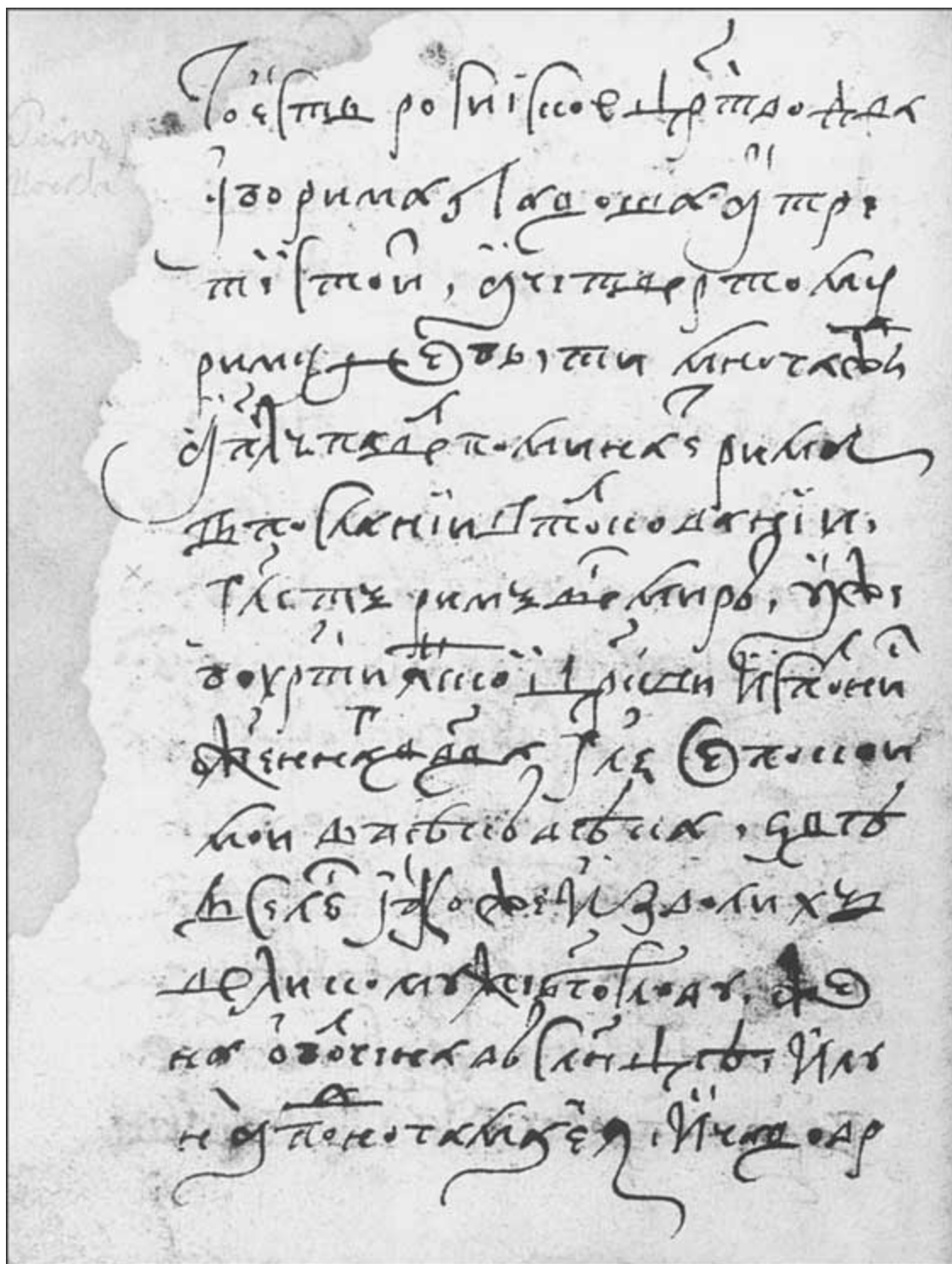
ДК им. С. М. Зуева. Архитектор И. А. Голосов



Дом Моссельпрома. Архитектор Н. Д. Струков



Гостиница «Украина», ныне «Radisson Royal Hotel», – каменный крейсер Страны Советов. Архитекторы А. Г. Мордвинов, В. К. Олтаржевский



«Послание старца Филофея...». Обоснование концепции «Москва – Третий Рим»

notes

Примечания

1

В Смоленске сидел враждебный ему князь.

Пардус – большое кошачье, использовавшееся в охотничьих целях: барс, пантера или леопард.

3

Встреча состоялась в первых числах апреля 1147 года.

Вероятно, имеется в виду, что Юрий одарил старших дружинников Святослава.

Видимо, позднее он вышел из состава Московского княжества, чтобы вернуться туда гораздо позднее.

В другом летописном источнике сказано, что московская рать уничтожила не «татар», подкреплявших силу рязанского князя, а местных «бояр». Но такой поступок вряд ли соответствует политическому стилю Даниила Александровича – князя-миролюбца, князя-богомольца.

На реке Каяле половцы разгромили войско новгород-северского князя Игоря Святославича. И половцы в данном случае ассоциируются с татарами как их предшественники – степные враги Руси.

На реке Калке в 1223 году монголо-татары нанесли поражение коалиции русских князей.

По другой версии, храм был освящен во имя Воскресения Словущего.

Эта статья написана по просьбе выдающегося русского писателя Леонида Ивановича Бородина, высказанной за несколько недель до его кончины.

Ульяновский В. Смутное время. М., 2006. С. 55.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 82.

Шаховской С. И. Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII века. М., 1987. С. 403.

Этот термин имеет позднее происхождение, в XVII веке так боярское правительство не называли.

Были и другие «статьи»: московское правительство хотело оградить русскую аристократию и дворянство от назначений на важные должности иноземцев и от потери русской знатью особого, привилегированного положения в государстве; царю следовало править в «совете» с Думой. В первоначальном варианте эти условия давали гарантию для сохранения национально-культурной самобытности России. Но потом о них забыли.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 103–104.

Хронограф 1617 года // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII веков. М., 1987. С. 351.

Хворостинин И. А. Слова дня и царей, и святителей // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII века. М., 1987. С. 459.

Акты Археографической экспедиции. Т. II. СПб., 1836. № 194.

Дневник Маскевича 1594-1621 // Сказания современников о Дмитрие Самозванце. Т. 1. СПб., 1859. С. 68.

Дневник Маскевича 1594-1621 // Сказания современников о Дмитрие Самозванце. Т. 1. СПб., 1859. С. 69.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 108.

Там же.

Дневник Маскевича 1594-1621 // Сказания современников о Дмитрие Самозванце. Т. 1. СПб., 1859. С. 61-62.

Дневник Маскевича 1594-1621 // Сказания современников о Дмитрие Самозванце. Т. 1. СПб., 1859. С. 64-65.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 108–109.

Хронограф 1617 года // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII века. М., 1987. С. 354.

Акты Археографической экспедиции. Т. II. СПб.,
1836. № 201.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 121.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен
// Соловьев С. М. Сочинения. В 18 книгах. Кн. IV. М., 1989.
С. 659–660.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 124.

Шаховской С. И. Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII века. М., 1987. С. 417.

Будило И. Дневник событий, относящихся к
Смутному времени // Русская историческая библиотека.
Т. 1. СПб., 1872. С. 327, 339.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 126.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 126.

В «трубу» заключена была река Неглинная, ныне текущая под землей.

Акты Археографической экспедиции. Т. II. СПб., 1836. С. 273, 274.

Сказание Авраамия Палицына. Гл. 68.

Шаховской С. И. Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII века. М., 1987. С. 417.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 126; Пискаревский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978. С. 218.

Сказание Авраамия Палицына. Гл. 70.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 127.

Шаховской С. И. Летописная книга // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII века. М., 1987. С. 419.

Акты Земского собора 1612-1613 гг. // Записки
Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР
им. В. И. Ленина. Вып. 19. М., 1957. С. 189.

Новый летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 14. СПб., 1910. С. 129.

Симеон Полоцкий не учил Петра Алексеевича, но мог оказывать влияние на процесс его воспитания.

Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009. С. 115.

Судя по составу школьной библиотеки, о чем см. ниже.

Греческие имена даны в русской записи – по документам 1680-х.

50

Седмица – неделя.

[Поликарпов Ф.] Историческое известие о
Московской Академии // Древняя Российская
Вифлиофика. М., 1791. Ч. XVI. Изд. 2-е. С. 296–297.

Собрание государственных грамот и договоров. М.,
1828. Ч. 4. № 135.

Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009. С. 167–168.

Древнейшее название Заиконоспасского монастыря – Спас Старый на Песках. Так его именуют в документах второй половины XVII столетия.

Российский государственный архив древних актов. Ф. 235 (Патриарший Казенный приказ). Оп. 2. № 122. Л. 279 об.; № 147. Л. 309 об. «Славяно-греко-латинская» – позднее название академии, относящееся к 1775 году. В первые годы ее существования устоявшегося названия не было, в документах, как было сказано, ее просто звали «Акедемия». Историки используют наименования «Эллино-греческая академия» или «Эллино-славянская академия», говоря о первых полутора десятилетиях ее истории.

Имеется в виду стрелецкое восстание.

Иначе говоря, заставляют работать по воскресеньям.

Иначе говоря, не заниматься вымогательством
взятки ни при каких обстоятельствах.

Кремль.

«Склонны к страшному неистовству...» Донесения Генриха Бутенанта фон Розенбуша о стрелецком восстании 1682 года в Москве // Источник. Документы русской истории, 2003. № 1 (61). № 2.

Князь В. Ф. Одоевский возглавлял крупное финансовое ведомство – приказ Большого дворца.

«Склонны к страшному неистовству...» Донесения Генриха Бутенанта фон Розенбуша о стрелецком восстании 1682 года в Москве // Источник. Документы русской истории, 2003. № 1 (61). № 2.

Поденные записи очевидца московского восстания
1682 года // Советские архивы, 1979. № 2. С. 35.

Записки земского дьячка второй половины XVII в. // Исторический архив. Том II. М.-Л., 1939. С. 99.

Животы – здесь: имущество.

Ростовский летописец конца XVII в. // Советские архивы, 1981. № 6. С. 36.

Пискаревский летописец // ПСРЛ. Т. 34. С. 200.

В терминологическом смысле, наверное, правильно было бы говорить не о «колонках», а о пилястрах (т. е. полуколоннах, частично «утопленных» в стене). Но в литературе по русскому зодчеству XVII века так часто используется слово «колонка» и настолько понятен его смысл читателю, что автор этих строк решил не утруждать себя терминологической строгостью.

И отчасти на казенные.

Татищев В. Н. История Российская // Татищев В. Н. Собрание сочинений в восьми томах. М., 1996. Т. VII. С. 175–176.

Чтобы не загромождать текст, стоит перечислить их в сноске: колокольни Новодевичьего и Высокопетровского монастырей, а также Покровская, Преображенская и Успенская церкви Новодевичьей обители, Богоявленский собор Богоявленской обители. Сергиевский храм Высокопетровского монастыря – своего рода переходная форма от «посадского барокко» к «нарышкинскому».

Через несколько лет после написания этой статьи дикий рынок на Ярославском вокзале все-таки разогнали. Сейчас на его месте возвышается памятник-фонтан «Георгий Победоносец». Слава Богу!